

**ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ**

**САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ,  
или  
ДОМ НА НЕБЕ**

**ПОВЕСТИ**

Москва  
«У Никитских ворот»  
2011

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6.44  
С 55

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ, или ДОМ НА НЕБЕ  
повести

Оглянись...

Вперёд, безумцы!

Самая счастливая, или Дом на небе

Исправленное издание  
Оформление автора

**С 55** Сергеев Л.А.  
Самая счастливая, или Дом на небе. Повести. – М.: «У Никитских ворот»,  
2011. – 352 с.

ISBN 978-5-91366-294-1

Прозу Леонида Сергеева отличает проникновенное внимание к человеческим судьбам, лирический тон и юмор.

Автор лауреат премий им. С. Есенина, им. А. Толстого, им. С. Михалкова. Первой премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 г., Первой международной премии «Литературный Олимп» 2011 г.

**ISBN 978-5-91366-294-1**



## ОГЛЯНИСЬ...

То есть посмотри назад, вспомни своё детство и юность. Это рассказы-размышления, прощания... Автор не знает, как лучше их назвать: «Широкий ромашковый луг», или «До свидания, Аметьево!», или «Прощание с друзьями». Пусть читатель сам выберет, что ему больше нравится



Анатолий Владимирович Сергеев

## 1.

Там, где прошло моё детство, было два неба: одно над головой, другое под ногами – там столько росло колокольчиков, что рябило в глазах от синевы. А какой там был воздух! С запахами цветов, и свежескошенной травы, и зелёных бархатных мхов, и выбитых троп, и древесины, и овощей с огородов... А то утреннее солнце! Вокруг посёлка стеной стоял лес, но мы просыпались от солнца. Оно горячими струями просачивалось сквозь ветви, просеивалось сквозь листву и, затопив весь лес, водопадом обрушивалось на посёлок. Оно пробивало стёкла, золотило мебель, наливало свет в корыта и вёдра. В памяти подмосковная станция Правда – бесконечное лето, сплошные жёлтые дни, беспечные, ёмкие, насыщенные жизнью. С той станции идёт отсчёт моего времени.

Я часто вижу отца и мать: они, точно дети, на корточках играют под новогодней ёлкой, перебирают ёлочные игрушки, показывают их друг другу, шушукуются, хихикают... Оттуда, с неба, здесь, на земле, всё кажется играми: белые – красные, левые – правые, и у тех и других свои идолы, знамёна, значки – копошатся люди на шарике, всё не могут что-то поделить, найти места для счастья; и вечно у них, неугомонных, зависть, раздоры, обиды. На небесах легко потешаться над житейской всячиной, а попробуй здесь...

Вот стоят передо мной: кустарник в блёстках паутины... ручей, полный гладких камней, песчинок и ракушек... стебли, розетки и чашки цветов... и среди пływучего зыбкого разнотравья – лица матери и отца. Всё застыло: птицы в воздухе, мальки в ручье, не колышутся травы и шиповник перед домом... Отец в нарукавниках склонился над чертежами, во рту папироса, повисла спираль дыма, в руке карандаш, отточенный «лопаткой». А мать, русоволосая, голубоглазая, смеётся, запрокинув голову, звонким, чарующим смехом, смеётся долго, до слез... От её смеха сотрясался воздух, дребезжали стёкла окон и посуда в шкафу,

и было в этом веселье какое-то неприкрытое осмеяние повседневной суеты. Всё так и замерло: взметнувшиеся волосы, белозубый рот, завихрения воздуха...

Ни отца, ни мать не помню без дела. Отец по утрам, перед тем как ехать на завод, окучивал и поливал овощи в огороде, а по вечерам работал за «домашним кульманом» (чертёжной доской на стопке книг). Он работал даже во сне – бывало, ночью вставал и что-то зарисовывал, записывал... Руки матери всегда были горячими или влажными: то, смахивая капли пота, она колготилась у плиты, у брызжущей маслом сковороды, то стирала бельё в корыте, сдувая волосы, падающие на лоб, и всегда пела – негромко, для себя... Её пение смолкало, только когда она делала форматки на отцовских чертежах или печатала на пишущей машинке...

И отец, и мать уже давно в другом мире. Только и осталось от них – отцовские очки, круглые, с перевязанной дужкой, да простая брошь матери. Родителей я, грешник, и «Там» не встречу; отец был слишком честен и откровенен для своего лицемерного времени, а мать, по всеобщему признанию, – почти святой.

Отец работал инженером на авиационном заводе. Мать за свою жизнь перебрала множество профессий: во время войны работала на хлебозаводе, в столовой, чертёжницей, позднее – проводницей поездов, машинисткой-стенографисткой, киоскёром... Я нарочно вначале о них. Ведь в сущности все мы листья одного дерева, звенья в цепи наложений сотен тканей; нам передаются эстафетные палочки наследственности, прошедшие не одну сотню лет. Короче, всякое настоящее – продолжение прошлого.

До войны мы жили в многонаселённой коммуналке у «Красных ворот», но летом сорокового года на станции Правда авиационный завод построил двустенные засыпные дома, которые предложили живущим в стеснённых условиях. Отец не раздумывая согласился, посчитав, что ему удивительно повезло, хотя ясно: пятнадцатиметровая комната за сорок километров от города не лучше десятиметровой в районе Садового кольца.

В посёлке все спали на открытом воздухе, на сеновалах и чердаках, а мы укладывались в саду – стелили матрацы на траве перед домом и, засыпая в душистой траве, смотрели на падающие звёзды, слушали стрекотание кузнечиков, кукушку в лесу, голоса в ближней деревне и гудки вечерних поездов. А просыпались от солнца, под высокими клубящимися облаками, когда уже всюю заливались птицы и пёс Шарик лаял в уши, стаскивал с нас одеяла... Родителей уже не было. Отец утренней электричкой уезжал на работу в Москву, мать – в Пушкино в магазин и на рынок.

...Так получилось, но только в раннем детстве я просыпался от птичьих голосов; в дальнейшем – от грохота поездов, скрежета и лязга трамваев, а теперь – от более и тревожных снов.

Нам с сестрой повезло – мы были предоставлены самим себе... Увязистая бузина, липкий жёлтый сок, красно-зелёные овощи на грядках, высокие спутанные травы, горячий пышный слой пыли на дороге, шпанские мухи с металлическим блеском, шмели, гусеницы, стрекозы... и бахрома тины в канавах, и серебристые жуки, разбегающиеся из-под камней, точно шарики ртути, – вот что нас окружало. Мы ловили марлей мальков в запруде, срывали бело-розовые граммофоны вьюна и пускали их, как маленькие парашюты... А на опушке, под раскалёнными соснами, среди ржавой хвои собирали землянику, ловили ежей. И подкармливали белок, бегавших прямо у домов, и возились с собаками и кошками – устраивали бесхитростные игры и, как все земные существа, через игру познавали мир.

По утрам из деревни Тишково приходила молочница Аграфена, приносила холодное молоко в бидоне и горячий круглый хлеб. Как-то зашёл муж молочницы дядя Вася.

– Вот что, Анатолий, тебе скажу, – начал он громовым голосом. – Я, пожалуй, твоих детей, этих белоручек, приобщу к труду. Не возражаешь? – подмигнул отцу, посмотрел на нас с сестрой, преувеличенно строго нахмурился.

– Нет, конечно, – отозвался отец. – Пусть немного поработают.

– Ну и добро! Завтра утречком за ними Гришка и забежит. Я их, благородных, с тонкими пальцами, к труду приучу! – дядя Вася погладил сестру по голове, меня шлёпнул по плечу, отцу вновь подмигнул.

Дядя Вася сделал нам грабли по росту, и вместе с его сыновьями, нашими сверстниками, мы ходили в луга. Первую половину дня ворошили скошенную траву, чтобы лучше просыхала, после обеда сгребали сено в валки. Было жарко, и ноги кололи ломкие, пересохшие стебли, грабли зарывались в землю или пролетали мимо травы по воздуху; всё чаще то сестра, то я садились на землю и отдыхали. Дядя Вася посмеивался:

– Притомились с непривычки. Ничего! Я вас, благородных, с тонкими пальцами...

Его сыновья сгребали сено как заведённые. Стоило кому-нибудь из них остановиться и смахнуть пот, тут же слышался громовой голос:

– Не отлынивай, Гришка!

– Ну и лоботряс ты, Митька!

– Хватит бездельничать, Петька!

За ужином дядя Вася хвалил нас с сестрой, особенно сестру (он давно хотел иметь дочку); похвалив нас, распекал сыновей:

– Вот лодыри, так лодыри. Только б им груши сбивать! – и дальше, в форме воспитательной лекции, говорил о пользе крестьянского труда.

После ужина дядя Вася отвозил нас на телеге в посёлок. Первые дни мы валились с ног от усталости, болела сожжённая солнцем кожа и ныли ссадины; постепенно привыкли – сами вскакивали чуть свет. Напьемся молока с хлебом – и в луга.

Вскоре у дяди Васи и Аграфены всё-таки появилась дочка. В то время девчонка выглядела некрасивой, пучеглазой, но родители не могли на неё нарадоваться; когда она возвращалась из школы, встречали с букетом цветов и называли «наша красавица».

Аграфена плела потрясающие кружевные покрывала на подушки – крючком из простых белых ниток вязала накидки лёгкой витиеватой вязи. Мать и другие женщины в посёлке покупали её шедевры. Позд-

нее, в эвакуации, за эти покрывала мать получила в деревне целый рюкзак продуктов.

По воскресеньям приезжали родственники (с бутылками вина, закусками и конфетами «Раковые шейки» для нас, детей). Мать пекла пироги, складывала в корзину, отец взваливал на плечи самовар, брали патефон, гитару и отправлялись на озёра в Тишково. Располагались на пропитанной солнцем поляне, шишками разжигали самовар... На природе всё было вкуснее: примешивались запахи леса и озера... Купались, слушали пластинки, играли на гитаре, пели песни Козина, Лещенко, Вертинского, Руслановой.

Мой дед, высоченный здоровяк, выпьет, но не захмелеет, не обмякнет, не развалится, только покраснеет немного. Откинется – огромный, плечи развёрнуты, в холщовой рубахе – наберёт воздух в широкую вместительную грудь:

– Ну-с, кого побороть?

Он не мог без борьбы. Вся его жизнь была борьбой. За лучшую долю семье, за справедливость... Обхватит моему отца, поднимет в воздух и плюхнет на землю, потом перекидает своих сыновей:

– Слабаки! Что с вас взять-то?! – тихо выругается, перекрестится и попросит прощения у Бога.

Дед работал «почтарём»: начинал с почтальона, закончил начальником почты. Бабка всю жизнь проработала ткачихой на фабрике «Красная Роза». Оба верили в Бога и постоянно твердили матери, что меня с сестрой надо окрестить. Дед считал, что религия воспитывает совесть, зовёт к добру, изначальному человеческим ценностям, что это не только вера, но и свод правил поведения и что вообще нация без религии – безнравственный народ.

В начале войны дед послал письмо брату в Белоруссию, что «в Москве с продуктами плохо», после чего его вызвали на Лубянку и продержали два месяца. Он вернулся весь седой, собрал родню, выкинул иконы и публично отрёкся от Бога.

Чаще всех на Правду приезжал друг отца инженер дядя Ваня, весельчак, остроумный насмешник. Он не входил в наш дом, а врывается,

пропахший хвоей, листвой или дождём, загорелый и улыбающийся, стриженный бобриком и непременно с цветком в кармане рубашки.

– Привет осаждённым семейными заботами! – кричал с порога. – А у меня нет ни жены, ни дома, зато полно приключений. У одиноких всегда полно приключений!..

И он рассказывал какое-нибудь происшествие, которое произошло с ним накануне или прямо сейчас по пути от станции... А потом самым серьёзнейшим образом рассматривал мои рисунки, делал замечания, обозначал то, что я «просто обязан нарисовать», особо упирая на «живописные предметы» в посёлке. В воскресенье с утра я всматривался в дорогу, а увидев дядю Ваню, мчал навстречу. И он ко мне спешил, махал рукой, кричал приветствие. Мы налетали друг на друга и обнимались. И возвращались к станции и пили до икоты газировку.

– Ещё по стаканчику! – смеялся дядя Ваня. – Гулять так гулять! Но, бесспорно, здесь надо знать меру. Художнику на полный желудок скверно работается.

Как-то я нарисовал террасу, бочоночный круг, метлу из ореховых прутьев – больше не знаю, что рисовать.

– А что будет, когда вырасту? – поделился с дядей Ваней. – Всё уже нарисуют, и мне ничего не останется.

– Ты что говоришь?! Ну, пусть нарисуют ваши дома, дорогу, электричку... Как бы охватят эти темы. А цветы чьи? А леса?! Забирай всё! И небо в придачу. И рисуй! И пусть другие рисуют. Не жадничай, на тебя это совсем не похоже! Всем всего хватит, тут и говорить нечего...

«В самом деле, хватит, – думал я позднее, вспоминая дядю Ваню, – ведь каждый открывает мир заново и видит его по-своему, по-новому, вбирает в себя то, что ему близко по наклонностям. И природа ни в чём не повторяется, каждая травинка отличается от другой, каждый цветок, каждая пчела».

Только однажды дядя Ваня меня расстроил. Уже ползли слухи о войне, и, проявляя жгучее беспокойство, я привёл в боевую готовность деревянное оружие, наделал глиняных гранат.

– Дядь Вань! А правда война будет?

– Если будет, я сразу удочки в охапку и в тайгу. Пережду заваруху где-нибудь у реки... А то ещё кокнут, – он надул щёки и запыхтел, как бы раздувая свой позор.

Эх, дядька Ванька! Сильно я тебя ненавидел в те минуты! И презирал, называя трусом, а ты нарочито серьёзно оправдывался, ссылался на болезни, изображал хромоту... Где ж мне было знать, что ты одним из первых, не дожидаясь повестки, придёшь в военкомат, и уедешь на фронт, и в первые же дни войны сгоришь в танке где-то между Полоцком и Минском... Первая моя боль! Первая отметина на мальчишеском сердце... А сколько болей у отца? Сколько его друзей ушло на фронт, и ни один не вернулся!

Странно, дальнейшее, после Правды, – эвакуация и окраина Казани – для меня – заброшенности, картины за пыльным стеклом... чтобы их рассмотреть, я стираю пыль, всматриваюсь, но они всё равно год от года тускнеют, искажаются, покрываются защитной плёнкой, непроницаемым занавесом, только станция Правда смотрится целостно и ёмко – тот короткий ослепительно радужный мир детства. Те дни – словно прохладная родниковая вода, которой никак не напьёшься.

## 2.

Для меня война началась, когда мы играли посреди посёлка и внезапно в небе появились самолёты с крестами; один завалился на крыло, вошёл в пике, послышался нарастающий гул. Самолёт низко пролетел над посёлком и дал очередь из пулемёта. Помню, в те дни в воздухе всё время чувствовалась тревога: тревожно шумели деревья, и тревожно кричали птицы, тревожно сигналили поезда; в смятении люди собирали пожитки, и спешили к платформе, и чуть ли не дрались за возможность поставить ногу на подножку...

В посёлок приехали грузовики. Первую машину перехватили Смеяцкие «за дополнительную плату» шофёру; погрузились и укатили, ни с кем не попрощавшись. Смеяцкие жили по ту сторону шлаковой дороги в доме лесника. Глава семьи, по прозвищу Денежный Мешок

(он копил серебро «на чёрный день»), работал на заводе снабженцем. Его жена и дети с утра до вечера собирали в лесу грибы, ягоды, орехи.

– Одних грибов продали десять вёдер, – хвасталась Смеяцкая.

Они были хозяйственные, бережливые, у них ничего не пропадало – всё шло в дело. Дети Смеяцких бегали к поездам – продавали колокольчики.

В тот же день прибыли ещё две машины. В одну из них мы покидали наспех связанные вещи, мать с сестрой забрались в кабину, отец, я и Шарик – в кузов, и машина покатила в сторону Москвы. По пути шофёр завернул в детский сад, и к нам в кузов посадили ребят с воспитательницей. У ребят на руках были бирки с фамилиями и адресами на случай, если потеряются.

В Москве остановились у деда с бабкой на Чудовке. Бабка начала распределять, кому что взять в эвакуацию, дед посмеивался:

– Всё надо оставить в квартире. Война больше месяца не продлится. Наши в этой борьбе быстро победят.

– Да будет тебе! – вспыхивала бабка и сразу снимала портрет деда со стены. (Она во время ссоры всегда убирала его портрет в шкаф; потом помирятся – снова ставит на видное место).

Но скоро дед перестал усмехаться. Объявили, чтобы все сдали радиоприёмники и замаскировали окна. На Крымской площади появились металлические ежи и зенитный расчёт, над домами повисли воздушные заграждения, к магазинам потянулись длинные очереди – горожане запасали продукты, соль, мыло, спички... Теперь во дворе мы с сестрой собирали осколки бомб-зажигалок и, подражая взрослым, «тушили» их в ящике с песком...

От тех дней остались одни запахи. Запах бабкиных цветов в горшках, которые до войны мы с ней выносили под дождь, запах фарфоровой собаки, причудливого коврика и выцветшего одеяла и подушек из перьев (в эвакуации спали на ватных), запах тряпья и истлевших книг в изломанной корзине на чёрном ходу, запах бомбоубежища и метро, куда бегали во время налётов на город, запах щей из крапивы, которую собирали на Воробьёвых горах.

Началась эвакуация. На вокзале была давка. Плакали женщины, кричали дети. Отец отыскал наш товарняк с вагонами-телятниками. Нам досталась верхняя полка – грубо сколоченные доски. Втиснули тук с бельём, чемодан, саквояж, рюкзак, небольшой ящик из оцинкованного железа, меж них примостилась сестра с куклой и я с Шариком. В вагоне уже разместилось несколько семей, в том числе Смеяцкие.

...Состав дёрнулся, загромыхал и, спотыкаясь о стрелки, покотил с привокзального полотна. Не успели выехать за город, как послышались взрывы бомб; вагон задрожал, заскрипели тормоза, состав встал, раздалась команда – «Выгружаться!». Спрыгнув на шпалы, мы увидели, что два головных вагона горят, а в небе к горизонту уходят немецкие самолёты. Отец побежал к месту пожара. Около часа тушили огонь, но пропитанные мазутом доски разгорались всё сильнее. В конце концов вагоны, объятые пламенем, паровик оттащил на запасной путь, и вскоре от них остались одни тлеющие остовы. Потом оказывали помощь пострадавшим и распределяли «погорельцев» по другим вагонам. Вернувшись, отец сообщил, что в одном из вагонов разместился детский сад, с которым мы ехали в грузовике, а в другом – вывозят часть зверей зоопарка; после бомбёжки несколько клеток открылось, и звери разбежались, но недалеко, в ближние кусты. Переждали налёт, снова поползли к вагонам. Наверное, отец это рассказал, чтобы немного приободрить нас с сестрой, но, может, так оно и было.

Наш товарняк тянулся медленно, подолгу стоял на узловых станциях, бункер паровика загружался углём, в цистерну заливали воду из водокачки, прицепляли вагоны, сажали беженцев. Больше не бомбили. В проёме двери виднелись лесные массивы, луга со стогами сена, унылые деревни. Иногда по несколько дней простаивали на запасных путях, пропускали воинские эшелоны, спешившие на запад. Из вагонов солдаты махали нам и кричали, что вернутся с победой. Молодые пареньки, совсем мальчишки, смеялись и пели песни.

Спустя много лет я смотрел телевизор в Доме журналистов, рядом покуривал гардеробщик-фронтвик, хороший такой старикан. Показывали военную хронику: солдаты возвращались с Победой.

– А из нашей деревни двадцать шесть ребят призвали в армию, а вернулись лишь двое, – сказал старик. – Я да ещё один парень, оба покалеченные.

Когда я вижу военные ленты, передо мной всегда встаёт проём двери товарного вагона и весёлые лица пареньков. И тут же необъяснимо сокращается временное пространство, и за вагоном встают голые стволы лип, которые я увидел позднее в эвакуации, – град сбил листву деревьев, и они погибли.

В нашем вагоне за всю поездку никто не смеялся, не спел ни одной песни. Днём, когда товарняк стоял на каком-нибудь разъезде, мы собирали щепу для печурки-буржуйки, которая занимала середину вагона и, когда её топили, раскалялась докрасна. Отцы приносили кипяток, искали грибы на опушках, ловили раков в ближайших прудах, матери ходили в деревни менять одежду на продукты. По вечерам у буржуйки женщины молчаливо готовили скудные ужины, мужчины угрюмо курили махорку.

Через месяц товарняк встал под Казанью на разъезде Аметьево. На разъезде было тихо; тянулись заросшие травой ржавые рельсы и сгнившие шпалы, на бугре стояли станционные постройки, чуть дальше – будка стрелочника, за ней – овраги с красно-бурой глиной и деревня, за которой виднелся город.

Вначале нас привезли в какой-то клуб и каждой семье отгородили закуток простынями на верёвках, но вскоре переселили в общежитие на Клыковке, окраинной улице, где росли кряжистые тополя, тянулись канавы с мутной водой, а частные дома вместо заборов огораживал колючий кустарник... Сколько я помню, нашу улицу всегда заполняла глубокая грязь; только с первыми морозами грязь костенела, а канавы затягивались хрупким ледком.

Я вспоминаю двор своего детства – место, объединяющее всех независимо от национальности и положения: обшарпанные дома, пожарные лестницы, крапиву, чертополох, громкоговоритель на столбе, и лавки, где обсуждались последние новости, и непременно музыкальное обрамление – патефон с довоенными пластинками, и площадку «пятак», на которой мы допоздна гоняли «мяч» – ушанку, набитую

бумагой. Ничем не примечательный клочок земли, в душные летние вечера пропитанный запахами керосина и копоти, но в памяти – просторный двор со свободной циркуляцией воздуха, где солнце светит в окна, наполняя комнаты жаром, превращая клоповники в приличное жильё. В памяти – добрососедство, душевность, взаимовыручка – всё то, что теперь в новых микрорайонах исчезло навсегда. Моё поколение прекрасно знает воспитательную силу двора, а усвоенная с детства определённая уличная дипломатия помогла нам в дальнейшей жизни.

### 3.

Рассматривая пожелтевшие дымчатые картины, приближая детство, я вновь перешагиваю пороги возраста, событий, воскрешаю людей, с которыми когда-то свела судьба.

Юсупка Абдуллин, мой Абдулла! Умница Алик, общение с которым действовало на нас облагораживающе! И Баба Яга, старуха, похожая на греческую богиню! Со временем многое безвозвратно уходит из нашей жизни, но их помню до сих пор. Настоящее быстро превращается в прошедшее, но оно ещё не прошлое, поскольку не отстоялось, в нём ещё много случайных, несущественных деталей. Только с годами остаётся главное как свидетельство своего времени.

Юсуп был загорелый, с узкими раскосыми глазами, над которыми торчала жёсткая чёлка.

– Из Москвы, что ли? Эвакуированный? – небрежно бросил он и сразу ввёл меня в курс местных достопримечательностей. – За общей подземный ход. Вон в тот замок тянется.

Возбуждая во мне жгучий интерес, Юсуп показал на развалины за полем чечевицы.

– А в речке чёрт живёт. Пойдёшь по берегу – за тень схватит и затащит в глубину... А в замке по ночам привидения бродят... В конце улицы живёт гадалка. Всё точно гадает. И лечит здорово. Болит у тебя сердце – даёт цветок, у которого листья сердечком. Болит желудок – даёт круглые травы. Говорит, Бог всё предвидел... А ещё по улицам хо-

дит Баба Яга. У неё дурной глаз. На тополь взглянет – тополь сохнет... Ей на глаза лучше не попадайся: вмиг болезнь схватишь, или змея укусит.

На Клыковке появилось несколько семей из Ленинграда, все мальчишки худые, молчаливые. Один из них – Алик – рассказал, как однажды они с матерью голодали целую неделю, а потом он полез в шкаф и обнаружил сумку сухарей – их сдавали до войны молочнице, а про те забыли. Алик был начитанным, знал множество историй про мореплавателей, и кто-то из ребят сразу предложил ему быть вождём нашей ватаги, но вперёд выступил Юсуп:

– Главарём должен быть тот, кто знает всё на Клыковке!

– А я думаю – кто ответит на все наши вопросы, – сказал Алик.

Юсуп поморщился, надулся, его узкие глаза совсем исчезли. Алик отошёл в сторону. Я уж подумал – начнётся драка, но они вдруг одновременно вспомнили обо мне:

– Давай ты скажи, как будем выбирать.

Я посмотрел на худых ленинградцев и, пытаясь скрыть очевидную хитрость, сказал, с невероятным напором чувств:

– Кто всех поборет (дед кое-чему научил меня).

Ребята согласились; я быстро перекидал всех мальчишек и начал бороться с Юсупом. Мускулистого напористого Юсупа не так-то легко было припечатать к земле, пришлось попотеть; но в какой-то момент я всё же провёл фирменный приём деда, и Юсуп рухнул на спину. Ребята забросали меня травой и дали клятву верности. Так я и получил огромную власть. Через некоторое время ребята пожалели, что выбрали вождя таким образом, но было уже поздно – мы успели наломать дров.

И всё-таки нашим истинным главарём оставался Юсуп – он был как бы генералом, временно находящимся не у дел. В тот день Юсуп показал нам поле чечевицы и шалаш сторожихи, пересыхающую речку Блу с зарослями тростника и перекатом в кружевах пены. Когда прошли деревянные мостки, Юсуп кивнул на забор, из-за которого пахло горячим мёдом; сквозь щели виднелись дикие розы.

– Брошенный сад. Раньше здесь жил хан. Вон его замок...

Посреди сада возвышалось сооружение с башнями и тяжёлыми чугунными воротами, правда, время уже наложило свой отпечаток: стены потрескались и разрушились, башни покосились, осели, от ворот осталась часть решётки – короче, замок стоял только в вашем воображении, на самом же деле вдали виднелась груда диковинных развалин.

– К замку ведёт подземный ход, – сказал Юсуп и хотел ещё что-то добавить, но я остановил его, как бы напоминая, что он слишком разговорился – забыл, кто главный в клане.

Я решил перехватить у него инициативу и на обратном пути сорвал несколько сухих стеблей чечевицы. Сторожиха заметила и закричала:

– А ну, шалопай, отходи! Щас солью из берданки влеплю!

Стерпеть такое унижение – значило потерять уважение подчинённых, и, как атаман, я приказал вечером совершить набег на поле... Дождавшись темноты, мы подкрались к чечевице и набили карманы стручками. И на следующий день поразбойничали. Сторожиха пожаловалась матерям, и нам грозила расправа. Накануне я собрал своё войско и приказал сломать шалаш сторожихи, Юсуп сказал, что лучше удрать на несколько дней из Клыковки. Интеллигентный Алик предложил нарвать роз и подарить матерям. Приняли предложение Алика – не как разумное, а как наиболее выполнимое.

Я не верил, что цветы замолят мои грехи, но неожиданно розы так растрогали мать, что она прослезилась и только велела мне сидеть дома весь вечер. И остальные ребята легко отделались, только Юсупа мать отлупила подаренным букетом – похоже, была бессердечной.

Первое время мне казалось, будто на Клыковке и не знают о войне, ведь в этом захолустье не раздавались воздушные тревоги, не слышался гул бомбардировщиков, разрывы бомб. Но потом заметил, что после прихода почтальона то в одном, то в другом доме раздаются вопли женщин, а около гадалки по вечерам собирается очередь. И наконец однажды я понял, что и на Клыковке хорошо знают, что такое война.

В то утро под нашими окнами раздался условный сигнал – свист суслика. Я выбежал во двор и увидел запыхавшегося Юсупа.

– Бери скорей рогатку! – забормотал он. – Баба Яга идёт!

Про Бабу Ягу Юсуп прожужжал нам все уши. Мы знали, что она ходит с двумя оборванными детьми, просит милостыню, но ей редко подают, потому что она из крымских татар, которые помогали немцам.

Когда мы выбежали на улицу, там уже собрался весь наш отряд. Ребята целились из рогаток в какое-то тёмное пятно, пылившее вдалеке по дороге. Постепенно пятно вырисовывалось и приобретало очертания старухи с палкой и двух детей. Они были одеты в лохмотья и шлёпали босиком по пыли. Как только нищие поравнялись с крайним домом, из него выскочила какая-то женщина и заголосила.

– Ведьма! Чтоб тебе сдохнуть! Это ты убила моего сына!

Старуха ниже опустила голову, участила шаги. Чем дальше шли нищие, тем больше из дворов раздавалось проклятий.

– Чтоб твоим внукам быть горбатыми!

– Чтоб тебе сгореть на том свете!

Женщины кидали в старуху тухлые овощи.

Старуха приблизилась, и я смог её рассмотреть. Она была тощая, сгорбленная, с крючковатым носом, из-под рваного платка свисали седые волосы; её лицо было серого цвета, в сетке морщин, а взгляд усталый, безразличный. Одной рукой старуха опиралась на палку, другой держала за руку девчонку; девчонка жалась к старухе и испуганно озиралась. За старухой семенил широкоскулый мальчишка с мешком.

Как только нищие поравнялись с нами, Юсуп крикнул:

– Бей Бабу Ягу! – и выстрелил из рогатки.

Мы тоже открыли пальбу, подбадривая себя криками. Старуха прикрыла девчонку лохмотьями и зашагала быстрее. Они удалялись, и наши выстрелы уже не достигали цели. От меня, как от вождя, зависели дальнейшие действия. Я поднял камень и с криком «Огонь по Бабе Яге!» – помчал за нищими. Ребята ринулись за мной. Догнав старуху и детей, я размахнулся и бросил камень. Я не был уверен в своей меткости, но голыш попал прямо в щёку старухи. Она вскрикнула, остановилась и приложила ладонь к щеке; между пальцами потекла тёмная струйка. Мы замерли. Я думал – услышу яростный крик, посыпятся ругань, угрозы, но старуха только посмотрела на меня, укоризненно и долго. Тот взгляд я запомнил на всю жизнь.

Наш воинственный настрой держался весь день: в поисках подземного хода мы перекопали все впадины за общежитием, нарвали ведро чечевицы и назло чёрту искупались около мостков. Холодная ванна не охладила нашего пыла, и, когда Юсуп заикнулся о привидениях, я приказал ребятам расправиться и с ними.

К вечеру, сделав из прутьев шпаги, мы двинули в сторону сада. В сумерках стояла чуткая тишина: было слышно, как на перекате струится вода, а в зарослях лебеды шуршат суслики. Когда подошли к саду, вошла луна, и наши тени заскользили по забору. Я велел Юсупу сходить в разведку, но он попятился:

– Не-ет! Идти, так вместе. Одного сразу прикончат.

Я поёжился, но полез первым.

Как только мы очутились в саду, стало ещё темней и тише, а тут ещё от терпкого запаха роз закружилась голова. Я уже хотел отказаться от рискованной затеи, но почувствовал сзади дыхание свиты, вспомнил про свои обязанности и стал осторожно раздвигать колючий кустарник. Острые шипы цепляли одежду, царапали по рукам и ногам; было очевидно – кустарник не случайное заграждение, и, понятно, он вселял дополнительный страх. Но мы всё же продирались к развалинам. Когда до них осталось с десятков шагов, я вдруг наступил на что-то мягкое и... передо мной выросла Баба Яга. Ребята завопили и бросились назад к забору, а я так одеревенел, что не успел даже вскрикнуть. Стоял, задыхаясь от ужаса, и не мог шевельнуться. Только когда старуха подняла палку и оперлась на неё, я очнулся и заревел...

Около старухи появились дети, с которыми она ходила по посёлку; уткнулись в её подол, заплакали. Старуха обняла их, что-то сказала по-татарски, и они улеглись на тростниковые подстилки; они косились на меня, тёрли кулаками глаза, всхлипывали. Старуха приблизилась и вдруг молча погладила меня по голове. Потом, как бы окончательно помиловав, прижала к себе, а когда я успокоился, дала попить воды из бутылки... То ли мои глаза привыкли к темноте, то ли луна засветила ярче, только сад стал светлее, и запах цветов меньше дурманил, и тишина уже не казалась зловещей. Старуха проводила меня до мостков и тихо сказала:

– До свидания, мальчик!

Эти слова звучали в моих ушах на всём пути, пока я бежал к дому. Звучали и когда я прокрался в дом и юркнул в постель. Меня называли как угодно: пацан, шалопай, сорванец, голодранец, но никто не называл «мальчик».

С того дня со мной что-то произошло, меня стало тянуть к спокойным играм. Я по-прежнему считался вождём, но всё уже было не то. Ребята чувствовали, что нужна замена, но ждали, когда я сам об этом скажу, а мне на это не позволяло решиться самолюбие. И только когда ребята стали надо мной подтрунивать, а потом и откровенно смеяться, я объявил, что больше не буду вождём.

#### 4.

Точно в глубоком колодце, тонут воспоминания, хватаю за последнюю нитку, тяну назад. Только попытаюсь восстановить всю картину, тут же оттягивается, ускользает. Прошлое требует бережности. Приходится вспоминать осторожно, чтобы не вспугнуть призраки. Высвечиваю маленькую деталь, припоминаю запах и цвет, нанизываю подробности – некоторые висают, но ещё зашифрованы, другие сразу не подходят – их отбрасываю, подбираю следующие, прилаживаю, монтирую, делаю связки – размываю переводную картинку. Постепенно что-то вырисовывается, полумрак светлеет, точно проявляется отпечаток со слабого негатива.

Наше общежитие представляло собой полутёмную коридорную систему со множеством продуваемых насквозь комнат. В одном конце коридора находился туалет и раковины с водопроводными кранами, в другом – кухня с буржуйками, трубы-дымоходы, совки с золой. На кухне женщины готовили еду, сушили обувь, стирали, мужчины поддерживали огонь в печках, курили, обсуждали положение на фронте. Двадцать семей, двадцать чайников и кастрюль, два умывальника на всех, но жили дружно – тяготы военного времени, трудности быта сплывали людей, делали отношения почти семейными.

На столбе перед общежитием висел громкоговоритель-«колокол», вокруг росло множество подорожников, их цветы «солдатики» стояли как свечи на именинном пироге. По вечерам жильцы из общежития и соседних домов собирались у «колокола» слушать последние известия. Собирались задолго до сообщений. Одни садились на лавку, другие приносили табуретки. После сообщений долго не расходились, обсуждали события, спорили... Теперь разговоры и не вспомнить, но в память чётко врезались цветы «солдатики» и бой курантов перед сообщениями. От этих звуков после войны я ещё долго вздрагивал; они были как эхо далёкого обвала, как раскаты грома – отголоски уходящей грозы.

И ещё запомнились тени. В общежитии от буржоек и коптилок падали густые тени. Точно развешанные, они дрожали на стенах и казались призраками погибших на войне.

Я вспоминаю, как мы с Юсупом собирали на речке моллюсков, искали в поле невыбранные картофелины, стручки чечевицы – из них наши матери варили баланды...

Теперь я часто вижу, как в булочной подолгу трогают булки, принимают – ночной ли выпечки, не чёрствые ли? А передо мной встают подвальные окна столовой при госпитале, куда мы бегали нюхать запахи (это так и называлось «пошли нюхать»), картофельные очистки, которые мы собирали на помойке столовой и потом жарили на стенках буржуйки, кипяток с сахарином и жмых, заменявший нам сладости...

Помню, мы с отцом отстояли очередь в магазин, где по карточкам выдавали чёрный хлеб. Отец вошёл в магазин, мне наказал ждать его у входа. День был дождливый, ветреный; ожидая отца, я сильно продрог, от голода чувствовал жуткую слабость; поглядывая на дверь, я думал лишь об одном – какой будет хлебный довесок, большой или не очень (хлеб отпускали строго по граммам). Отец всегда давал мне довесок, но в тот день вышел и быстро пошёл в сторону. Я догнал его.

– Пап, дай довесок!

– Отстань!

Я схватил его за руку.

– Пап, дай!

Он оттолкнул меня, и вдруг я увидел, что это не отец, а мужчина, похожий на него. Видимо, от голода у меня ослабло зрение.

Замечательно, что теперь дети не знают, что такое хлебные карточки и жмых, махнушка и расшибалка, но, пожалуй, у моего поколения перед нынешним есть преимущество – мы знаем цену вещам, наш фундамент крепче. И потом, дети военного времени не имели игрушек и оживляли чурки, палочки – «это будет собака, это слон» – через воображение развивали таланты; теперь дети тупеют у телевизора.

На зиму буржуйки перетащили в комнаты и трубы выставили в форточки. В то время топливо экономили, и батареи бывали чуть тёплыми, а морозы начались лютые: трескались кирпичные дома, лопались водопроводные трубы, замерзали на лету и падали воробьи... До сих пор мне снятся керосиновые коптилки с нитями копоти, наше окно с толстой наледью на стекле, скуповатый свет. Я слышу, как за окном, точно тетива лука, гудят заледенелые ветки, ощущаю холодное одеяло, сшитое из лоскутов (уходя на работу, отец с матерью ещё укрывали нас своими одеялами). Прошло столько лет, а привычка спать, накрывшись с головой, осталась у меня по сей день.

Но кое-кто из предприимчивых людей и то суровое время пережил неплохо. У Смеяцких, например, было тепло – они обили стены одеялами. И питались они лучше всех. А сколько скупили за бесценок вещей у своих бедствующих соседей! Ходил слух, что накопленного серебра им хватит на всю жизнь.

– Чтоб их разорвало от богатства, – злился Юсуп.

Теперь у молодёжи модно ходить в потёртых куртках, носить холщовые сумки, но здесь уж первенство точно принадлежит моему поколению: мы носили ватные телогрейки, вместо портфелей – сумки от противогазов, вместо носков использовали газеты (в драных валенках ноги мёрзли нешуточно). Только у Вовки Смеяцкого было зимнее пальто и – предмет постоянной нашей зависти – скрипящая полевая сумка со множеством отделений. Вовка не давал даже трогать её и вообще всячески подчёркивал своё превосходство, но мы не очень-то обижались – в детстве друзей не выбирают, дружат с теми, кто живёт во дворе.

Школу тоже почти не отапливали, и часто сидели за партами в теплогрешках, а те, кто ходил во вторую смену, занимались при свечах. Учебников не хватало, выдавали один на троих. Тетрадей не было совсем, писали на обёрточной бумаге. Тетради появились только в конце войны – красивые, пахнущие типографской краской, с форматками на обложке и белыми страницами в клеточку и косую линейку, с синей полосой – полями. Вначале ими награждали за хорошие отметки, потом стали выдавать всем. Именно с того времени стопка белой бумаги для меня представляет огромную ценность – всякий раз поглаживаю её, перекалдываю, а записывая что-либо, стараюсь бережно использовать площадь каждого листа с обеих сторон. В толстые блокноты и общие тетради) вообще ничего не записываю – складываю их в ящик стола, в надежде использовать для ценных мыслей, которые, возможно, придут в голову.

В школе старшеклассники считали нас, малолеток, безмозглыми, а мы были просто чересчур легковерны. Однажды один парень-татарин подозвал меня.

– Эй, ты! Подойди к своей училке и скажи... (он произнёс фразу на татарском языке).

– А что это? – спросил я.

– Ну, просто «поздравляю вас». У неё день рождения.

Нашей училкой была молодая татарка, которая только недавно окончила педучилище. Я подловил её в прихожей школы и выпалил заученные слова. Училка густо покраснела, отвела меня в сторону:

– Что ты говоришь, негодник?! Кто тебя этому научил?! Никогда больше этого не говори!

Оказалось, парень научил меня безобразному предложению, которое в глаженном переводе звучит как «пойдём в кустики».

После школы катались на колбасе промёрзших трамваев, носились по ледяному жёлобу на каталках, сделанных из железных прутьев, бегали на свалку трофейной техники, которую привозили к заводу на переплавку. На свалке находили каски, пулемётные ленты, патроны. Несколько раз устраивали «стрельбу» – в овраге разжигали костёр и бро-

сали в него патроны; сами прятались в канаве-«окопе», но вскоре за эти опасные игры получили взбучку от участкового.

Но самые лучшие воспоминания связаны с ледником. Его заливали недалеко от общежития и наращивали всю зиму, а летом кололи ломами и развозили глыбы льда в продмаги и морги. По леднику мы гоняли на коньках, прикрученных верёвками к валенкам. Некоторые катались на одном коньке, а кое-кто и просто на рейках; и конечно, играли в «русский хоккей» (мячом служила консервная банка).

У Вовки Смеяцкого была деревянная лошадь. Чтобы посидеть на этой лошади, мы стояли в очереди, а за «сиденье» Вовка брал определённую плату: сахарин или жмых. Один раз мать дала мне кусок сала. Весь день я носил его в кармане, ждал, когда появится Вовка; время от времени нюхал и облизывал кусок, раза два надкусил, но всё же сберёг и «прокатился» на лошади.

Я заметил: взрослые моего поколения не меньше детей любят игрушки – мы недоиграли в детстве. Как-то лет в тридцать я подобрал на улице покорёженную игрушечную легковушку, принёс домой, починил, стал пускать по полу, испытывая невероятный восторг. Соседей подавило это зрелище, они смотрели на меня как на тронутого. Я и сейчас слышу барахольщиком – подбираю у помоек чуть поломанную мебель и всякие штуковины, приношу домой, ремонтирую – не могу смотреть, как выбрасывают вещи, которые ещё могут послужить.

У нас не было игрушек, зато мы играли в чижа, лапту, городки. Жаль, что эти простые народные игры ушли в прошлое! И где теперь самострелы и самокаты – первое, что делали наши детские руки?! Именно тогда в нас закладывалась любовь к труду. Те игры и самоделки доставляли нам радость, мы были по-своему счастливы. Конечно, теперешним подросткам наши радости покажутся смешными, но у всех свои ценности. Я знаю бывших фронтовиков, которые, несмотря ни на что, считают годы войны лучшими в своей жизни – тогда они познали, что такое настоящее мужество и братство; всё послевоенное для них – приложение к тем годам.

## 5.

На третьем этаже общежития жила тётка Груша с дочерью Настей. В их комнате висел оранжевый абажур, от которого струился мягкий свет. Его я особенно запомнил. Его и запах духов тётки Груши, всегда весёлой, носившей яркие платья, будто и не шла война и её муж не был на фронте. А Настя считалась самой красивой девчонкой в общежитии и вообще во всей Клыковке. Их женская школа находилась через улицу от нашей мужской (мы учились раздельно, для моего поколения был создан искусственный барьер), но половину пути мы с Настей вполне могли бы ходить вместе. Только не я один об этом подумывал. За право носить её портфель жёстко соперничали Юсуп и Старик – Лёвка Старостин. Если один из них нёс её портфель, можно было определённо сказать: другой придёт в школу с синяками. Это было позорное соперничество. Сама Настя никому не отдавала предпочтения. Больше того, как опытная блудница, подогревала ревность поклонников: Юсупу говорила, что Лёвка подарил ей марки, а Лёвке – что Юсуп пригласил её в кино. Как только я уловил это коварство, сразу окрестил её «воображалой», и интерес к ней у меня пропал.

Когда играли в прятки или «колдунчики», каждый мальчишка стремился первым найти или «расколдовать» Настю. Только мы с Аликом не принимали участия в этих играх. Мы отправлялись с удочками на Казанку. Настя считала нас никчёмными типами, поскольку мы не уделяли ей должного внимания – известное дело, особы, привыкшие к победам, не прощают таких вещей.

Однажды, направляясь в школу, и Настя, и я вышли из общежития одновременно. Её телохранителей у парадного не оказалось – наверное, где-то дубасили друг друга. Настя посмотрела по сторонам, поджала губы и вдруг уставилась на меня... Надо сказать, в то время я ходил в школу не по улице, а срезая углы, кратчайшим путём: по свалке, дворами, через дыры в заборах; всегда приходил первым, но сторож не пускал, заставлял чиститься, и пока я приводил себя в порядок, моё первенство сводилось к нулю. Вот и тогда я повернул в сторону свалки, но Настя меня окликнула:

– Если хочешь, понеси мой портфель! – и посмотрела на меня выжидательно-нежно.

– Мне нужно стёкла на свалке найти, – заявил я, тупо глаза на неё, ещё не чувствуя себя кандидатом в счастливики. – Завтра солнечное затмение, а у меня нет стёкол. Да их ещё копить надо.

– Стёкла? Затмение? Солнечное? – Настя улыбнулась. – Ну, если хочешь, после школы пойдём вместе искать стёкла. А сейчас – на портфель!

В это время из общежития выскочил Алик.

– Смотри, что я нашёл! – крикнул он, не обращая внимания на Настю. Подбежав, он вообще оттолкнул её (и куда девалась его интеллигентность?) и протянул мне какие-то яркие камни. – Видал? Там в овраге их полно. Пойдём!

Настя презрительно посмотрела на Алика и фыркнула. Шокированный поведением друга, я невнятно изрёк:

– Иди один. Мне надо... ещё кое-что сделать...

Я взял Настин портфель, и мы с ней направились в школу. Алик так и остался у общежития с разинутым ртом, а Настя пошла нарочито близко со мной, как бы выставя напоказ свою победу. По дороге я решил похвастаться Насте какими-нибудь своими талантами, но ни один не пришёл в голову. И тогда рассказал о наших с Аликом рыбалках. Настя слушала с неподдельным вниманием, не перебивая, иногда смотрела мне прямо в глаза и улыбалась. У неё были необыкновенные глаза – они прямо-таки завораживали. Ну а её душа в те минуты мне, естественно, казалась величественным собором. Ко всему тогда, как, впрочем, и позднее, самым ценным качеством у женщин я считал умение слушать.

Я разговорился не на шутку и около школы уже был уверен, что Настя сильно жалеет, что раньше не предлагала мне носить портфель. «Теперь-то она разгонит своих поклонников и будет каждый день ходить со мной», – рассуждал я, давая волю фантазии.

Когда после занятий я подошёл к её школе, там уже околачивался Юсуп. Я предвидел это – Старик явился в класс с фонарём под глазом. Но я не забеспокоился, знал, что теперь мои шансы намного выше.

Я ждал, когда Настя выйдет и объявит Юсупу о стёклах и вообще... Но она оказалась предательницей: подошла ко мне и громко, чтобы Юсуп слышал, сказала:

– Найди, пожалуйста, и для меня стекло. Затмение будет во сколько? В двенадцать, да? Из вашего окна будет видно? Тогда я приду в одиннадцать.

И ушла с Юсупом, вселив в меня испепеляющую ревность.

Часа два я боролся со своими оскорблёнными чувствами, потом вспомнил про завтрашний день, немного взбодрился и направился на свалку...

Я нашёл отличные стёкла, закоптил их над коптилкой и принялся составлять программу на следующий день. Прежде всего решил не приглашать Алика (ещё нагрубит Насте!), хотя мы с ним заранее договорились смотреть затмение у нас. После затмения наметил устроить чаепитие, во время которого намеревался показать Насте свои рисунки и рассказать о шахматах. С этой целью рисунки разложил на видном месте, шахматы одолжил у соседей, причём фигуры расставил таким образом, что было ясно – партия прервана в безнадежном для чёрных положении (белыми, естественно, играл я). Затем у других соседей одолжил две серьёзные книги; одну оставил раскрытой, другую заложил бумагой, после чего, мне думалось, никто не мог усомниться в моей глубокой начитанности.

На другой день я вскочил чуть свет. Подождал, пока родители ушли на работу, и сделал последние приготовления к встрече: занавесил у двери бочонок с плавающими огурцами, протёр в комнате пыль, достал жмых к чаю. Я очень старался, даже покраснел от усердия и всё посматривал на часы, торопил время, точно от этого свидания зависела вся моя жизнь. Теперь-то я знаю, эти приготовления и были самым замечательным в тот день; с годами понимаешь, что ожидание праздника приятней самого праздника.

Основательно подготовившись к встрече, я зашёл к Алику и сказал:

– Знаешь, ты не приходи ко мне сегодня смотреть затмение.

– Почему? – насупился Алик.

– Понимаешь... Ты ведёшь себя как-то не так... Лезешь со своими камнями... Ведь я не один был. Соображать надо.

– Не волнуйся, – ухмыльнулся Алик. – Не приду.

Вернувшись к себе, я положил закопчённые стёкла на подоконник и стал ждать Настю.

До одиннадцати часов сидел как на иголках: то и дело смотрел на часы и выглядывал в окно, но она не появлялась. В начале двенадцатого я подумал: «Могла бы прийти вовремя, всё-таки затмение! Да ещё Алика обидел из-за неё...» Я вдруг вспомнил, как мы с Аликом у чёрного хода общежития кидали камни в пыль, как камни тонули и от них оставались большие воронки, а вокруг них множество маленьких – от пылевых брызг. Потом вспомнил, как с Аликом у Казанки ползали в окученной картошке под спутанной гущей ботвы; как залезли на парашютную вышку в парке имени Горького и оттуда видели верхушки деревьев и маленькие, точно игрушечные, дома; как ветер свистел в ушах и у нас захватывало дух, как потом спускались по лестнице, и всё далёкое приближалось, и сразу становилось спокойно и радостно...

Я вспомнил, как однажды мы налили в Аликиной комнате воды (все-го лишь лужу – устроили воображаемое «море») и стали пускать бумажные кораблики и как пришла Аликина мать и поставила нас в угол, предварительно отодвинув шкаф... Мы стояли за шкафом, отбивали наказание, а он улыбался и толкал меня в бок, такой замечательный мой друг, Алька!.. Я вспомнил, как просил его не приходить, вспомнил его усмешку... и мне вдруг стало стыдно. Я выбежал из комнаты и со всех ног помчался по лестнице, влетел в их комнату, схватил Алика за руки и потащил к себе. Дома я убрал рисунки и шахматы, закрыл книги, усадил Алика перед окном и протянул ему самое лучшее стекло. Мы стали смотреть на солнце...

«А что, если оно скроется навсегда?» – подумалось. Я только на миг представил, что больше никогда не будет лета и наш двор не будет затоплен солнцем, не будут распускаться цветы... и мне стало не по себе. К счастью, солнце скрылось только на несколько секунд, и сразу же показался светящийся краешек – он разрастался, и вскоре появился весь ослепительно яркий диск.

Потом мы с Аликом пили кипяток, заваренный коркой хлеба, грызли жмых и радовались солнцу, сверкавшему в окне. Вдруг пришла Настя и с невозмутимым выражением извинилась, что опоздала. Как и в прошлый раз, она недружелюбно посмотрела на Алика, но мне уже было всё равно. За столом Настя говорила о затмении, о том, как хорошо было бы без солнца.

—...Кругом одна темнота, — таинственно произнесла она. — Светились бы только фонари и светляки. Все жили бы в сказке...

Настя мечтательно улыбалась, танцевала с закрытыми глазами — изображала труднообъяснимую радость. В какой-то момент я почувствовал, что она просто хочет казаться необыкновенной, что её таинственность надуманная, что она только так говорит, а думает иначе. Я посмотрел на Алика, и он подмигнул мне — наверное, почувствовал то же самое.

Внезапно Настя остановилась и надулась. Ей явно не нравилось, что мы молчим.

— Мне нужно идти, — сказала и, обращаясь ко мне, бросила прямой вызов: — Проводи меня.

Я не заставил себя долго упрашивать.

В коридоре она шепнула:

— Пойдём на чёрный ход, что-то тебе скажу...

Это была очередная тайна; я весь загорелся от любопытства и с рабской покорностью поплёлся за ней.

Мы пришли на чёрный ход, сели на узкую лестницу из грубого кирпича, и Настя спросила напрямик:

— Вы что, с Аликом друзья? Или только вместе ловите рыбу?

— Друзья!

— А со мной не хочешь дружить? Я тоже умею ловить рыбу!

Я молчал, не в силах осмыслить её слова. И тогда Настя прибегла к последнему безотказному оружию.

— Поцелуй меня, — она приблизилась ко мне своё лицо.

Я почувствовал, что теряю волю, и торопливо коснулся её мягких горячих губ. Потом я долго не дышал — она совершенно околдовала меня, вызвав целую бурю чувств. Передохнув, я снова приник к её рту. Так продолжалось, пока мы не устали.

– Ты лучше всех целуешься, – тихо сказала Настя с выражением невинности. – А вот твой Алик совсем не умеет...

Тётка Груша по вечерам не отпускала Настю во двор, говорила, «там одни хулиганы». Случалось, к тётке Груше приходил усатый мужчина, и тогда в их комнате играл патефон. Всегда одну и ту же пластинку – «Мы на лодочке катались». Мужчина с усами подарил Насте краски.

– Но я его не люблю, – хмурилась Настя. – Он говорит маме, что нельзя жить как монахиня. Правда, когда он приходит, мама разрешает мне гулять до позднего вечера.

## 6.

Сейчас, вспоминая всё это, раскручивая годы в обратную сторону, я точно иду по ручью времени. Иду назад, к истоку, а мимо проносятся дни, как сорванные ветви. Помню весенний день; уже пригревало солнце, в форточку врвался тёплый ветерок... И вдруг почтальон принёс известие о гибели дяди Вани. Мать плакала, а я не мог поверить, что дядя Ваня погиб, ведь на нём был пуленепробиваемый жилет – его жизнелюбие.

Отец зашёл домой на полчаса – снова спешил на завод. Пришёл усталый, долго отмывал руки под ручкомойником, потом сел за стол. Мать поставила перед ним похлёбку из чечевицы, сказала про известие... Я думал, отец вскочит, начнёт трясти кулаками, проклинать войну, но он только на минуту отложил ложку и опустил голову, потом снова начал есть. Казалось, отец и не переживал за своего друга, сидел и ел как ни в чём не бывало. Доел суп, выкурил самокрутку, глубоко вздохнул:

– Ну, я пошёл!

Мать наказала мне подмести пол, сама ушла на кухню. Спустя какое-то время я потащил мусорное ведро во двор и вдруг увидел отца – он стоял у сарая, уткнувшись лицом в дверь, и плакал.

Шарик был спокойной собакой, никогда ни на кого не бросался, но с того дня с ним что-то произошло – только завидит почтальона,

становится точно бешеный. Я думал, почтальон его ударил, но потом почтальон сменился, а он всё не успокаивался. И тогда я догадался – он понял, кто приносит плохие вести.

Шарик! Мой дружок детства! Ещё одна боль! Исчез, пропал, так и остался для меня вечным бродяжкой. Где только мы его не искали! Говорили, собаколовы забрали на мыло. Ходили мы с отцом на живо-дёрню, но собаколовы клялись, что нашей собаки не было; «небось под машину попала» – заявили. Много месяцев прошло, а я всё не верил, что Шарик исчез навсегда, – на каждый лай выскакивал во двор. Что там месяцев! Много лет ждал его и сейчас иногда перед сном вспоминаю – как известно, душевные раны детства не заживают.

Потом пришла телеграмма о гибели ещё одного отцовского друга... Осунулся отец, плечи ссутулились. С работы стал приходиться поздно, часто выпивал и, пьяный, плакал, говорил, что ему стыдно – друзья погибли, а он уцелел, отсиживаясь в тылу. Отец ходил в военкомат, просился на фронт, но его не отпускали с оборонного завода, да и зрение подводило.

Гибель друзей для отца явилась страшным ударом, после которого он так и не смог оправиться. Стоило ему хотя бы ненадолго остаться наедине с самим собой, как он впадал в уныние.

Сейчас, через десятки лет, когда мёртвым давно воздалось должное (к сожалению, не всем), а живых участников войны осталось не так уж и много, я вижу, как нередко благополучие растлевает души, вселяет в молодое поколение пресыщенность, а то и ведёт к насилию, и я думаю: неужели у каждого поколения должна быть своя война, что, только пройдя через суровые испытания, человек способен понять других людей, научиться дорожить простыми ценностями, неужели без страха и опасностей люди перестанут быть людьми? Я думаю о том, что в природе борьба за существование – естественный отбор всего живого, механизм поддержания жизни, но получается, что и мы, люди, – результат тысячелетней борьбы за выживание!

Теперь-то я по-настоящему ощутил всю трагедию моих родителей, которые только и думали о хлебе насущном. И если мы всего лишь «недоиграли», то они в полной мере «недожили».

...И вот наконец день, когда кончилась война. С утра чувствовалось приближение чего-то необыкновенного. Было солнечно, и неизвестно откуда налетело множество бабочек. Юсуп наделал орденов и медалей из бумаги и «наградил» нашу команду. Кто-то притащил в общежитие бутылку спирта, взрослые выпили, принесли патефон, женщины устроили танцы (после войны и в парке Горького на танцплощадке в основном танцевали женщины друг с дружкой). Все говорили весёлыми, праздничными голосами, а отец сидел в углу, в его глазах стояли слезы.

– Понимаешь, – обнял меня, – как-то неловко перед друзьями... что я остался жив.

Внезапно принесли похоронку тётке Груше, и с ней случилась истерика: она разбила пластинку «Мы на лодочке катались».

– Так мне и надо!.. Меня покарал Бог! – кричала она, обезумевшая. – Он меня так любил, а я вела себя как последняя дрянь!

В городе появились первые демобилизованные: худые, в застиранных белёсых гимнастёрках, с орденами и медалями, с жёлтыми и синими (тяжёлыми и лёгкими) нашивками ранений. Появились и инвалиды: одни с пустыми рукавами, заправленными под ремень, другие – на костылях, третьи – на деревянных тележках с подшипниками.

Около авиазавода начали строить новую дорогу. Её строили пленные немцы, в потёртых шинелях, в рваных обмотках на ногах, худые, небритые и почти все молодые; два-три пожилых в офицерских шинелях держались в стороне. Немцы делали насыпь, возили на тачках шлак; за ними присматривали наши автоматчики. Во время перекура молодые немцы о чём-то весело болтали, а один рыжий даже играл на губной гармошке. Гармошка была ярко-красная с бронзовой окантовкой. Немец играл на ней длинные и грустные песни. Я частенько стоял невдалеке и смотрел на немцев. Иногда немцы кивали в мою сторону и смеялись, а однажды рыжий поманил меня пальцем.

– На кармошку. Дай табак.

Вечером я сказал отцу:

– Пап, можно я отнесу немцу папиросы? Он даст губную гармошку.

– Можно. А гармошку не бери. Пусть он играет. Многие из немцев такие же рабочие, как и мы. Их просто обманули. А этих мальчишек вообще, наверное, забрали из школы.

Я помню, первое время после войны все только и говорили:

– Теперь-то уж никто не станет воевать, теперь-то все будут как братья.

Кто бы мог подумать, что скоро эти слова забудутся.

...Когда я просыпался, с подоконника на меня смотрел улыбающийся мужчина со съехавшим набок галстуком. Это был портрет дяди Вани. Я всё ждал его – он обещал вернуться. Я видел его во сне; шёл по улице, думал – вот сейчас встречу, он выйдет из-за угла, и рассмеётся, и крикнет:

– Привет, мой юный друг! Давай обнимемся, ведь давненько не виделись!

Бывало, отчётливо слышу: он окликает меня, обернусь – никого нет.

...По утрам с Аликом рыбачили на Казанке. Вставали на рассвете, когда улицы ещё были пустынные. Спускались к реке, садились на влажный песок и закидывали удочки. Однажды не клевало. Алик водил протом по воде, смотрел, как на поверхности, точно царапины, остаются следы, я разглядывал противоположный берег. ...Там рассеивался туман, позолоченный восходящим солнцем, и вырисовывался далёкий посёлок. Среди домов я разглядел мелькающую точку. Она быстро увеличилась, превратилась в светлое пятно, затем – в... девчонку. Девчонка подбежала к берегу, и я узнал в ней свою сестру.

– Бегите скорей домой! – крикнула она. – Дядя Ваня вернулся! И не погиб он вовсе!.. Лежал в госпитале!..

Я вскочил и бросился со всех ног по круче. За мной еле поспевал Алик. Я нёсся уже по шумным улицам, лавируя между прохожих, мимо грохочущего завода и очереди в булочную. Влетел на нашу улицу, а там полно людей – все обнимают и целуют дядю Ванюшу. Он всё тот же, тот же загар, та же улыбка! К нему невозможно протиснуться, но он

заметил меня, шагнул навстречу, раскинул руки, я прыгнул, и он, как прежде, стиснул меня в объятиях...

– Удочку перекинь! – вдруг подал голос Алик. – Поплавок отнесло в осоку.

## 7.

Снова сквозь толщу тумана выплывают обрывочные воспоминания, смешиваются события, многократно сдвигаются, находят одни на другие, наслаиваются изначальные и конечные картины, точно гонимые ветром облака. Как во сне, передо мной возникают то реальности, то фантазии, я хочу пристальней рассмотреть их, неторопливо разобраться во всём с высоты зрелого возраста, но они отодвигаются всё дальше и дальше. Я похож на бегуна, который бежит ко всё удаляющейся цели. Ручей моего детства уже стал рекой, разлившейся в половодье и скрывшей многие вехи дальнейшей жизни.

В общезнании устраивали представления по книгам «Золотой ключик», «Хижина дяди Тома». Из обрезков фанеры сколачивали декорации, разрисовывали их акварелью, делали костюмы из разного тряпья. Мать принимала самое деятельное участие в спектаклях: отдавала под реквизит стулья и посуду, гримировала актёров кремом и помадой, осуществляла общую режиссуру. Это придавало нашим постановкам немалое величие, мы запоминали все её наставления и верили каждому её слову. Именно тогда мать посеяла в нас зёрна искусства, расширила наше воображение, дала вполне чёткие ориентиры. С этих «игр» и началось наше творчество, осознание самих себя, и, наверно, поэтому эти «игры» никогда не утратят для меня свою ценность.

Мать же была и самым восторженным зрителем: после спектакля хлопала и смеялась, только это был уже не тот смех, что на Правде, это был отзвук былого звонкого переливчатого смеха. На фоне тех лет, полных невзгод и лишений, наши спектакли – как свет в конце длинного мрачного тоннеля.

Что немаловажно, помимо спектаклей мать рассказывала нам о многих литературных героях, обращала наше внимание на стихи и картины великих поэтов и живописцев в настенном отрывном календаре и на музыкальные передачи по радио (и сама часто напевала довоенные песни и арии из оперетт) и тем самым прививала нам определённый вкус; во всяком случае, многое из того, что я полюбил в детстве, я и сейчас люблю.

Я вспоминаю праздники, когда мы с утра выскакивали из общежития и возбуждённые бежали к заводу, где собирались демонстранты с лозунгами и цветами. У завода играл оркестр, рабочие пели и танцевали. Мы ходили среди знакомых и незнакомых людей, заражались чувством товарищества, общности со всем происходящим. Потом, охваченные массовым энтузиазмом, шли с колонной по трамвайным путям к центру, соединялись с идущими от других заводов... Сложнее всего было проникнуть на площадь Свободы, где на трибуне, в сиянии славы, стояли руководители Татарии. Проныривая меж милицейских оцеплений, через дворы, подвалы и заборы, мы пробирались к площади и с какой-нибудь крыши смотрели на празднество.

Стоит отметить, что в то время в провинции призывы и лозунги ещё не потеряли своего смысла и демонстрации ещё не носили помпезный, показной характер, то есть выглядели вполне достойным зрелищем. Ко всему, в колоннах могли шествовать все желающие, можно было идти под руку, обнявшись, не запрещалось танцевать и петь – не то что сейчас, при добровольно-принудительном методе и строжайшем учёте.

...Я вспоминаю наши с отцом рыбалки, когда по пути на речку отец осторожно входил в лес – «чтобы ничего не нарушить», и меня приучал беречь природу, доходчиво объяснял взаимосвязь всего живого на земле. Отец научил меня разбираться в деревьях, грибах и ягодах, различать пение соловья и жаворонка. Собственно, каждая наша вылазка на природу была прекрасным показательным уроком.

Мы удили на обыкновенные поплавочные удочки. Иногда налавливали десятка два рыбёшек, и я в приливе чувств хвастал, что такого улова на Казанке ни у кого не было.

– Да, нам повезло, – улыбался отец. – Но вот с Ванюшкой, дядей Ваней, на Истре мы и побольше ловили. Раньше ведь ни одной рыбки без него не обходилось. Вот был заводила! Бывало, только приду на работу, а он уже тут как тут, в нашем отделе. «Вечером махнём на Истру? Я уже и пузырёк приготовил», – и вытягивает из кармана бутылку вина и подмигивает. Вот весельчак был, так весельчак! И какой талантище! Сижу, бывало, за кульманом, бьюсь над деталями, а он подойдёт и легко так, мимоходом, обронит находку. И я думаю, как раньше-то этого не видел, ведь лежало на поверхности... Да что там говорить! Он из ничего мог сделать что-то, в пустоту вдохнуть жизнь. Ведь всё истинное – в воздухе, но не всем дано поймать.

Когда начинало припекать и рыба уходила на глубину, мы с отцом выбирали песчаную заводь и плавали... Плавал отец красиво. Он вообще всё делал красиво. И, когда чертил, красиво держал карандаш, и красиво, экономно чистил картошку и резал её на лепестки, и красиво курил, и, собираясь на рыбалку, красиво укладывал снасти, даже рогульки для удилиц срезал как-то красиво. Отец и в воду входил красиво – спиной, рассекая водную гладь ладонями. Входил в воду и звал меня за собой. Потом взмахивал руками и некоторое время плыл на спине, оставляя за собой ровную цепочку пузырьков. Потом переворачивался и нырял и долго плыл под водой, и на поверхности крутились завитки от его невидимых движений.

Мы заплывали на противоположный берег (всего-то в десяти метрах), и, пока обсыхали в белом сыпучем песке, отец открывал мне тайны «походной жизни»: показывал, каким листом потереть место, где ужалила пчела, учил делать дымовое «кадило» от комаров, и складывать туземный костёр пирамидой, и правильно укладывать вещи в рюкзак, и ориентироваться в лесу, и строить шалаши, и многое другое.

Как-то отец сделал из тальника лодку-каное, сделал её без всяких верёвок, и казалось просто невероятным, что она не разваливалась. Но, чтобы доказать прочность своего сооружения, отец протянул мне ветку-шест:

– Прокатись!

Я сел в лодку и оттолкнулся от берега. Под тяжестью моего веса лодка осела, закачалась, но благополучно описала полукруг.

– Здорово! – сказал я, вернувшись.

– Хм, это всё дилетантство! А вот он сделал бы так сделал.

– Кто?

– Ванюшка, кто ж ещё! Он всё делал мастерски, – отец глубоко вздохнул и отвернулся.

Там, на реке, отец, рассказывая о своей работе и друзьях, открыл мне настоящие ценности – объяснил, что такое искренность, порядочность и честность. Взгляды отца стали для меня заповедью, обозначили вполне чёткие идеалы, и чем дальше отодвигается то время, тем больше я черпаю ценного из общения с отцом. Оно стало для меня источником житейских премудростей, спасительной жилой в дальнейших передрыгах, резервуаром непреложных и вечных истин. Позднее, когда я жил один, мне постоянно не хватало отца, я всё время обращался к нему за помощью, ставил его на своё место и думал, как бы он поступил, – по нему сверял свои дела и поступки и во всём старался ему подражать. Я обращался к нему за советом и когда его уже не было в живых, и когда сам стал отцом, и даже когда стал старше его по возрасту.

...Фотографии дяди Вани и отца сейчас на моём столе. Их настоящая мужская дружба – для меня первостепенное в жизни, она помогает мне в минуты неприятностей и хандры.

## 8.

Недалеко от общежития пролегало асфальтированное шоссе; в жару асфальт плавился и блестел, точно полированный, низины казались лужами. На шоссе находилась бензоколонка, закусовая-«обжорка» и мастерская, где стояли покорёженные колымаги как мемориал нерадивым водителям.

За мастерской начинались луга – безграничное раздолье с одиночными деревьями и островами кустарника. Можно было долго бежать

по горячим и прохладным местам полян, под деревьями и кустами, и всё равно оно не кончалось, это буйство цветов и зелени. Там среди деревьев струились ручьи, а дальше протекала Казанка – в неё, точно фонтаны, свисали ивы. Можно было проплыть под ивами и выйти к старой мельнице, где за плотиной в омуте темнел тайник подводных растений. В той гуще совершал чародейства водяной: рыбу уводил с куканов, бредень запутывал, делал в лодках щели и плавающих затягивал в воронки... А на мельнице жил домовый: ночью скрипел половицами, просыпал крупу, задувал лампу, останавливал часы... А в лесу около мельницы обитал леший – шишки кидал, цеплял колючки, паутиной затягивал тропу; заведёт в болото, и гогочет, и стучит по сучьям, и ухаёт. Захочешь отдохнуть и ляжешь под дерево – подсыплет муравьёв, чтоб проснуться от зуда.

По вечерам мы с одноклассником Вишней – Толькой Вишневым – прибегали на мельницу к деду Арсению слушать рассказы про нечистую силу... После дождя повалит пар от деревьев – ясное дело, леший дует чай у самовара, принесёшь из леса корзину грибов – всё он, нечистый, навёл на места. Наловишь голавлей – кто, как не водяной, нацепил. Всё это дед Арсений рассказывал с вялой меланхолией, как само собой разумеющееся. Он приводил убедительные факты, и они производили на нас безотказное действие... Теперь я думаю: это была не просто особая магия шутивого свойства; своими рассказами дед преследовал определённую цель – расцветивал наш детский мир, распалял нашу фантазию.

Как-то засиделись у деда до полуночи. Он постелил на полу мешки из-под муки, на них положил овечий тулуп, и мы с Вишней плюхнулись в мягкие завитки. Стало тихо, только слышалось тиканье ходиков, жужжанье мухи в паутине, да дребезжало стекло от шума ночного грузовика, и с потолка на стены сползали полосы от фар.

– Неужели и черти на свете есть? – тихо спросил Вишня.

– А как же, – хмыкнул дед, сворачивая самокрутку из газеты. – Чёрт, скажу вам, самый что ни на есть бедняк. Живёт на болоте. Негде даже отдохнуть толком. Я уж не говорю, хозяйством обзавестись. А тут ещё поминают его худыми словами. И зря. С чёртом ладить

можно. Поручишь что-нибудь, всегда сделает. Услужливый, старательный.

– Так чего ж их не заставят работать? – наивно спросил я. – Пусть пилят дрова, носят воду.

– Ишь чего захотел! А ты будешь лежать, пирогами объедаться! Тогда, брат, такая лень на землю спадёт, все и вовсе перестанут работать.

Вишня хихикнул. Дед закурил, закашлял, его щеки то надувались, то втягивались.

– А вот леший живёт в добротной избе. Любит выпить медовухи, сразиться в картишки... Все лешие женаты. Лешачихи толстые ужас какие. Потолще моей бабки Пелагеи, царство ей небесное!.. Так вот, лешачихи работающие, стряпают от зари до зари, а мужья ходят по лесу, шалют, каналы. Наклюкаются медовухи и пугают зверьё и людей. Идешь по лесу – подкрадутся, шепнут что-нибудь. Могут и палкой огреть... А так они ничего, не больно досаждают.

Мы с Вишней съёжились, замерли. Дед снова закашлялся, покраснел, растёр грудь ладонью.

– А лучше всех из нечистой силы домовой. Этот мужик, скажу вам, знает толк в хозяйстве. Может дельный совет дать... Вот у нас жил на прежней избе, где щас амбар. Жили мы душа в душу. Бывало, говорит: «Кто меня любит, того и я люблю». Иногда ворчал: «Холодновато у тебя, хозяин. Не жалеи дров-то, не жадничай и шамать побольше оставляй». Прожили мы этак лет десять, не меньше. Потом Пелагея с домовихой начали ссориться. Известное дело, где бабы, там и ссоры. Под Троицу подзывает меня. «Тесно, – говорит, – нам, хозяйюшка, в одной избе. Давай-ка оставь мне эту, а себе новую отгрохай». Вот и срубил я эту избу. Когда расставались, он в три ручья рыдал... Ну да Бог с ними со всеми. Пора на боковую...

Дед потушил самокрутку, прокашлялся и, как бы приободряя нас, закончил:

– Я в них верю-верю, а потом всех пошлю к ядрёной матери... Я ведь и в Бога-то не больно верю. Ежели уж захвораю. Тогда помолюсь, а после пропущу стаканчик первача, хворь и отступает.

Дед Арсений при мельнице разбил сад. Однажды я спросил:

– Зачем тебе столько деревьев?

– Разве ж это мне? – усмехнулся. – Да если б не сад, разве ж я мог спокойно умереть? Ну жил, ну муку молот всю жизнь, и что? Нет у меня ни детей, ни, скажем, не строил я самолеты, как ваши отцы. А ведь каждый должен после себя что-то оставить. Вот я и оставляю сад. Небольшое дело, но всё ж полезное.

Сад деда Арсения в моём детстве – прекрасный пример человеческой щедрости. Как некий зелёный храм я вижу его до сих пор, и среди деревьев – старик, переполненный счастьем...

Конечно, счастье – понятие относительное. Тот, кто живет в благоустроенной квартире и смотрит на мир из автомобиля, считает разных бессребреников несчастными людьми, а те в свою очередь считают его несчастным, ведь у них другие понятия о ценностях.

По утрам над мастерской качались верхушки сосен и в разрывах хвои клубилась яркая синь, а над лугами параллельно земле скользил веер лучей. Мы с Вишней спускались к Казанке, подбегали к плотине, где вода бурлила, и пенилась, и бросалась вниз в шипящие завитки... Уплывали к затону, где разноцветные тыквы служили поплавками для сетей рыбаков, где над травами висели дрожащие стрекозы. Барахтались среди плавающих широких листьев и пахучих кувшинок, тянули тугие, будто резиновые, стебли, которые шумно лопались, поднимая множество серебристых пузырьков.

Возвращаясь с Казанки, заходили в мастерскую, смотрели, как ремонтировали какой-нибудь драндулет, или просто лежали у шоссе, рассматривали проезжающие грузовики и легковушки.

Часто по шоссе на мужском велосипеде ездил тонкая девушка. У неё были светлые волосы, завязанные узлом, но главным украшением являлась улыбка. Эта улыбка была как чудо. И вся девушка, яркая, гибкая, выглядела неотразимо. Она жила в соседнем кирпичном доме. Каждое утро привязывала к багажнику книги и ехала в рабочий посёлок, а в полдень возвращалась обратно. В полдень я всегда стоял у мастерской и смотрел на неё, и весь мой дурацкий вид выражал тихий триумф. Несколько раз она замечала меня, улыбалась и кива-

ла, как хорошему знакомому, и всегда, когда она смотрела на меня, я испытывал какое-то возвышенное чувство. Однажды она подъехала и спрыгнула с велосипеда:

– Что ты так смотришь? Как тебя зовут? Я нравлюсь тебе, да?

Я хотел убежать, но был не в силах сдвинуться с места.

– Если я тебе нравлюсь, почему не подаришь мне цветы? – засмеялась, наклонила велосипед, перекинула ногу через раму и оттолкнулась.

– Смотри, в следующий раз подари! – крикнула, отъезжая.

В романтической приподнятости я стоял с незабудками на шоссе весь день, но её не было. Я расстроился до тоски. Она показалась только к вечеру с парнем из нашего общежития; он вёз её на раме, что-то говорил в самое ухо, и она смеялась. Около закуской они остановились, и парень скрылся за дверью. Она достала из кармана платяной карандаш, стала постукивать им по зубам. Вдруг заметила меня и весело, с неизменной улыбкой, сказала:

– А, это ты, мальчуган? И кого это ты здесь ждешь с цветами? Кому назначил свидание? Ну, отвечай!

От внезапного потрясения я не мог произнести ни слова. Где ей было знать, какую она причиняет мне боль, как унижает небрежность в ответ на любовь. Я протянул ей букет и хотел сказать, как сильно её ненавижу, но тут подошёл парень с бутылкой вина. Она сунула букет в карман, они сели на велосипед и покатали к Казанке. Я бежал за ними, прятался за деревьями, терял их из виду, и выслеживал снова, и задыхался от жгучей ревности. До позднего вечера они бродили в лугах, обнимали друг друга, падали на землю и жадно целовались.

То далёкое время! Струящийся, бьющий свет, разгул тёплого ветра, качающиеся кусты, шелестящие травы, цветочная пыльца, бронзовые жуки, трепещущие крылья стрекоз, шершавая, чешуйчатая кора сосен, красочные тыквы в сетях, лодки, исхлёстанные волнами, удушливый дым в мастерской, побитые колымаги, блуждающие огни на вечернем шоссе... наш зелёный посёлок, заборы из штакетника, увитые вьюнком, на грядках жёлтые граммофоны цветов и за ними пупырчатые огурцы, домашний борщ из свёклы с ботвой, хлеб грубого помола... простые

люди, размеренная бесхитростная жизнь... Почему всё это вспоминается? Что за наваждение?! Так насаждает прошлое, и никуда от него не деться! Ведь если живёшь прошлым, значит, что-то не так в настоящем, а хочется верить, что и в настоящем всё не так уж и плохо.

...Я отправился за этими воспоминаниями, чтобы воссоздать атмосферу того времени, хотел вновь всё пережить, осмыслить и навсегда расстаться, чтобы освободиться от прошлого, как бы расчистить своё пространство, чтобы дальше с открытой душой впитывать новые впечатления. Но у меня получается всего лишь ностальгия по прошлому. И ладно бы стройная хроника – свидетельство сороковых годов, а то ведь одни метания под натиском воспоминаний, тщетная попытка отправить послание другим людям.

## 9.

Перебравшись в Москву, я всё хотел съездить в детство. Я знал: меня помнят – и друзья, и деревья, и кусты, и камни. По еле различимым, стёртым полутонам, по растворившимся, но ещё улавливаемым запахам, по отзвукам прежних голосов я хотел восстановить прошлое, почувствовать очистительное воздействие воздуха детства. И вот однажды проездом на Урал остановился в Казани.

Выйдя из трамвая, я пошёл в сторону шоссе. Раньше от конечной остановки трамвая до мастерской стояли сосны, а теперь их вырубил и построили двухэтажные дома. Около домов пузырилось сохнувшее бельё и гоняли в футбол мальчишки. Когда я свернул с дороги, ещё не было и девяти часов, но уже припекало. Мне казалось, что идти лугами до мельницы довольно далеко, но расстояние оказалось до смешного ничтожным, преодолел его минут за десять; и раньше в лугах был высокий травостой, а теперь виднелись сплошные вытопанные «пятаки». Кустарник у мельницы вырубил, и уже не слышался шум воды, падающей с плотины, – речка пересохла и заросла осокой, а мельница развалилась и осыпалась. Всё оказалось маленьким, почти игрушечным. Всё, кроме кладбища. Оно порядочно разрослось.

Я пошёл мимо крестов и скользких мраморных плит и вдруг услышал лязг лопаты; обернулся и увидел деда Арсения. Я узнал его сразу, хотя он и стал дряхлым старцем.

– Доброго здоровьица, мил человек! – прошепелявил старик на моё приветствие и продолжал ковырять лопатой.

Я напомнил о себе, но старик вдруг забормотал:

– Ничего не помню, мил человек. Ничего не помню.

Он отложил лопату, собрал какие-то щепки и зашагал в сторону дома. Я пошёл рядом.

– В общаге, говоришь, жил? Не помню, не помню.

Подойдя к дому, старик присел на крыльцо. Я снова начал ему напоминать, но он неожиданно поднял с земли палку и шустро зашпешил в сад.

– Куда, куда, черти проклятые! – закричал. – А ну слазь с забора!

С забора спрыгнули двое мальчишек и скрылись в кустах. Старик повернулся и, тяжело дыша, снова опустился на крыльцо.

– Весь сад вырублю, ни одного деревца не оставлю этим дармоедам. Только и ждут моей смерти... А я не умру. Назло им не умру. Долго буду жить... Я их всех переживу. Всех! – старик затрясся и замахал палкой в сторону забора.

Около кирпичных домов не было видно ни одного человека. В неподвижном воздухе вились осы. Было до звона тихо. Здесь прошло моё детство, а в памяти остались другие дома, высоченные, с огромными соснами и яркой зеленью, дома, где никогда не было тишины. Всё, что казалось значительным, оказалось маленьким, жалким.

На двери дома Вишневских висел замок. Соседи сказали:

– Здесь давно никто не живёт.

Я разыскал квартиру той девчужки на велосипеде. Не очень-то надеялся её увидеть, думал, наверняка она вышла замуж и живёт где-нибудь в центре, а то и вообще в другом городе. Но дверь неожиданно открыла она – полная, рыхлая женщина в сарафане. Она, видимо, вышла из-за стола – её щеки горели, губы блестели от жира. Было что-то знакомое в её лице, но в расплывшемся теле уже не угадывалась прежняя тонкая девушка. Она протянула руку.

– Здравствуйте, я вас признала.

Когда-то у неё были большие красивые глаза, а теперь стали маленькими, как дробинки. Она даже не пригласила меня в комнату, разговаривала на лестнице. Узнав, зачем я приехал, рассказала о новых домах у шоссе и какой-то фабрике, которая всё время коптит. Сказала, что живёт хорошо, муж – шофёр и зарабатывает прилично:

– ...На даче террасу новую справили... Клубнику разводим. Очень доходное дело и места мало занимает.

Она хотела ещё что-то сказать, но её окликнули из комнаты.

– Извините, зовут. Всё дела. Заезжайте как-нибудь.

Я прошёл мастерскую, какую-то пристройку и остановился около общежития – оно тоже оказалось намного меньше, чем то, которое осталось в памяти. Отыскал наше окно... Какие-то занавески полоскал ветер... Вахтёрша при входе спросила:

– К кому?

– Да так, просто посмотреть.

– Не положено!

Вызвала коменданта. Тот долго вертел мой паспорт.

– Чего смотреть-то?! – пожал плечами, потом махнул рукой. – Пропусти.

И лестница, и стены, и двери были окрашены в неприятный светло-зелёный белёсый цвет. Раньше был тёплый, коричневый. На стук за дверью раздался девичий голос:

– Входите!

Одна девушка сидела за столом и причёсывалась, другая лежала на кровати и читала. В комнате было три кровати, три тумбочки, на стенах портреты киноактёров.

– Вам кого?

– Никого. Понимаете, в этой комнате я жил во время войны. Хотел просто взглянуть, можно?

– Пожалуйста! – девушка за столом поджала губы и снова взялась за расчёску, её подруга уткнулась в книгу.

Комната оказалась крохотной, и как только мы помещались в ней вчетвером?! Неужели в этой неуютной комнате мы грелись долгими

зимними вечерами?! А в том углу стояла деревянная грубо сколоченная кровать отца с матерью? А у стены наши с сестрой, вплитык одна к одной?! Нет, кажется, они стояли иначе. И не в этой комнате. И даже не в этом доме... Что-то защемило сердце, и я поспешил уйти. Я решил поскорее уехать, чтобы оставить всё каким помнил.

Медленно брёл к остановке трамвая. Было удушливо жарко. «В детство нельзя возвращаться, – подумалось, – нельзя».

Только приехав обратно в Москву, я снова увидел тёплую речку в извилинах, общежитие, и мельницу деда Арсения, и Вишню, и тонкую девчушку на велосипеде... Детство – это страна, где никто не стареет и ничто не имеет конца.

Я точно не могу объяснить, почему одни картины детства отложились в памяти вполне зримо, а другие почти стёрлись. Но что странно: все они не звучат, не пахнут, в них не ощущается пространства. Я собираю те дни воедино, пытаюсь выстроить из них непрерывную цепь, но звенья никак не соединяются. Я напоминаю коллекционера, который собирает красивых мёртвых бабочек и пытается их оживить.

## 10.

Когда несёшься в скором поезде, бывает, за окном мелькнёт переезд, будка стрелочника, три-четыре дома под деревьями, стог сена, собака дворняжка и дети, машущие руками. Вот на таком полустанке я жил подростком.

Наш посёлок Аметьево был в пыли и листьях, в жару сникала листва, плавился вар на крышах сараев, из досок капала смола, в открытые окна и двери текло испарение цветов. Собаки и куры прятались в тени, а поселчане поливали водой полы для прохлады. Всё обволакивала лень, дремота. Иногда тянул ветер и разгонял горячий воздух, потом снова стихало, и начинало парить... Вдалеке прогремывает гром, набегут тучи, стемнеет, деревья зашумят, рухнет ливень – гулко забарабанит по шиферу. Посмотришь в помутневшее окно – всё блестит, точно завернуто в целлофан... А после дождя долго стояла мутная ти-

шина, по размытой дороге плыла трава, сверкали лужи с опрокинутым небом. Появлялось солнце, распускались цветы, и радуга повисала низко – прямо доставай рукой.

Вскоре после войны авиазавод построил несколько одноэтажных каменных домов в двух километрах от города. В один из них переехала наша семья. Дома сдали с недоделками, и мы с отцом неделю цементировали щели в шиферной крыше, засыпали шлаком чердак. Покончив с этой работой, отмерили положенные восемь соток и забили колья, распланировали будущие постройки, при этом отец учил меня «экономить пространство».

– На большом участке каждый развернётся, – говорил. – Выжать максимум, используя минимум средств, – вот задача... И всё надо делать на совесть. Некоторые прибьют что-нибудь на скорую руку, думают – держится, и ладно. Но, как говорится, ничего нет долговечней временных построек, только в неподходящий момент они рухнут. Мы всё будем делать просто, без всяких красотостей, просто и надёжно.

В одном углу чулана отец сложил садовый инструмент, в другом – плотницкий.

– Инструмент не кидай, – поучал меня. – Его надо беречь. И вообще все вещи надо беречь. Ведь их кто-то сделал, вложил труд. Надо уважать чужое ремесло.

В то время в магазинах инструмент появлялся редко (стояли одни лопаты и топоры); тиски, дрель, рубанок мы покупали на толкучке. Вот уж где было множество бесценных вещей! Там продавалось всё что угодно – от подержанных велосипедов и мотоциклов до картин старых мастеров и китайского фарфора, и в избытке всякие самоделки – некоторые с техническим совершенством... До сих пор я люблю барахолки – на них и сейчас продаются вещи, которых не найдёшь в магазинах. К тому же, на этих рынках особая атмосфера – среди продавцов и покупателей немало людей, умеющих ценить вещи, и встречаются истинные мастера своего дела; каждый раз, разговаривая с этими мастерами, я делаю открытия, набираюсь ценных советов.

Отец любил старые вещи – в свободное время что-то ремонтировал, чинил.

– Старые вещи надёжнее, они проверены в деле, – говорил (он и одежду предпочитал подшитую, заштопанную – в новой чувствовал себя «как в скафандре»).

Отец учил меня добропорядочному трудолюбию: копать, экономно расходуя силу, пилить дрова, не изгибая полотно пилы, раскалывать чурбаны вдоль сучьев, укладывать поленья «колодцем», строгать лучины «ёлкой» и разжигать печь одной спичкой. Где и когда отец приобрёл эти навыки, было непонятно. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в огородничестве, и в столярных и плотницких работах. У него был намётанный глаз: что-то где-то подметил, запомнил, а потом его руки просто повторяли те движения. Но вот тайна – повторяли ловко, играючи, точно всё это проделывали сотни раз. И меня отец учил ремёслам в процессе дела.

С каждым днём всё больше обживались на новом месте: ставили сарай, вскапывали огород, закладывали сад; мать посадила в палисаднике шиповник и дельфиниум; отец принёс щенка – оценилась собака при заводской проходной, его назвали Челкашом.

Конечно, провинциалами родители стали поневоле, война поломила их судьбу, обрекла на бездуховную жизнь в захолустье. Они ещё вспоминали прошлое, то и дело слышалось:

– А до войны в театрах... А раньше в Москве...

Но повседневные нужды всё больше «заземляли» их до бытовых забот, постоянных хлопот о заработках... И всё же мать была уверена, что рано или поздно мы вернёмся на родину... Понятно, тот, кто не пил кокосовое молоко, и не хочет утолить им жажду, но кто пил... Мать выросла в Москве, там остались её родные, и она не представляла жизни вне столицы и на Аметьево смотрела как на «временную уступку обстоятельствам».

Скорые поезда никогда не останавливались на нашем разъезде, только притормаживали, и помощник машиниста с подножки локомотива кидал на насыпь «паспорт» – железный обруч – и тут же хватал из рук дежурного по разъезду новый «документ». Это были настоящие цирковые трюки.

Пригородные поезда останавливались на разъезде утром и вечером, а товарняки – по несколько раз в день. Мы с поселковым мальчишкой Славкой вскакивали на подножки товарных платформ, и проезжали мост, потом тоннель, и в том месте, где колея шла в гору и поезд сбавлял скорость, прыгали под откос, и кубарем катились по насыпи, и бежали вниз к Казанке удить рыбу и купаться...

А иногда садились на пригородный и уезжали просто так куда-нибудь. Мимо мелькали горячие сосновые боры, и прохладные берёзовые рощи, и станции: Каменка, Высокая гора, Бирюли. Случалось, по крышам вагонов с другими безбилетниками скрывались от ревизоров, и тогда машинист притормаживал в тоннеле и поддавал пара – «выкуривал зайцев».

Однажды на крыше вагона разговорились с мальчишкой. Он оказался сиротой – его родители погибли на фронте.

– ...Качу на Урал, там можно подработать на стройках подмастерьем, – сообщил этот сорванец. – А на зиму отправлюсь в Среднюю Азию... Там тепло, ночуй где хочешь.

Мы слушали случайного попутчика и сильно завидовали его свободе и совсем взрослому опыту. Наш мир заканчивался пригородами Казани, мир этого мальчишки был безграничен.

Со Славкой на кладбище собирали семена липы, клёна и акации; сбор сдавали в приёмный пункт, а вырученные деньги складывали в копилки-кошки, хотели накопить на... велосипеды! Кажется, мы не накопили даже на одно колесо, но я помню тот азарт, когда мы трясли ветки клёна и с них падали, крутятся, «носики», как обрывали стручки акаций и шарики липы и кричали друг другу:

– Смотри, сколько на том кусте (или дереве)!

Мы словно находились в лесу, вели себя без всякого почтения к усопшим, которые взирали на нас с фотографий. Слово «смерть» ещё не доходило до нашего сознания; погибнуть героически – на это мы ещё могли согласиться, но просто умереть – ни за что. Мы задерживались только у памятника авиаконструктору Петлякову (создателю самолёта «П-2»). На той гранитной плите виднелись осколы – по слухам, в памятник стреляли лётчики, потому что на «П-2» погибло много их това-

рищей (будто бы из-за слишком высокой посадочной скорости самолёта). По тем же слухам, Петляков решил доказать, что создал отличную машину, и сам сел за штурвал, но при посадке разбился.

В жаркие дни со Славкой купались в Шаланге; ныряли под плоты, а вынырнув, забирались на мокрые крутящиеся брёвна и бежали по ним к берегу. Однажды я нырнул, а когда стал всплывать, ударился головой о бревно; проплыл ещё немного, опять ударился. Открыл глаза – вокруг темнота; захлёбываясь, в панике поплыл назад. Уже глотая воду, заметил в стороне светлое пятно – вынырнул в маленьком квадрате среди плотов – два бревна оказались короткими... Я висел на обессиленных руках, чихал и кашлял и глотал воздух, тёплый, сладкий воздух, а надо мной носились ласточки. Денёк был – лучше нельзя придумать, а я чуть не утонул, вот так нелепо, случайно.

Мать не знала о моём безалаберном времяпрепровождении; отец догадывался и всячески пытался приобщить меня к чтению. Особенно классиков.

– Классика – вечные, доказанные ценности, – говорил он и кивал на толстые однотомники Пушкина, Гоголя, Куприна, Лескова.

Эти послевоенные издания (большого формата, с жёлтой газетной бумагой и простыми картонными обложками) стоили дёшево и имелись во многих семьях. Надо отметить, что даже в те нелёгкие годы русской классике придавалось первостепенное значение, и не только в издании книг: по радио передавали целые спектакли и оперы, в настенных отрывных календарях всегда красовались картины и стихи наших великих художников и поэтов. Но самую интересную книгу я моментально забрасывал, как только слышал свист приятеля за окном – обыденная реальность меня будоражила больше, чем книги и оперы. Лет до двенадцати я читал крайне редко и рисовал, только когда не было более «важных» мальчишеских дел.

Мать всегда была хорошим товарищем, с неподдельной радостной готовностью поддерживала любое наше начинание: с сестрой слушала музыкальные концерты по радио, изучала немецкий язык, вышивала; со мной клеила воздушных змеев, играла в городки и лапту. Зимой каталась с нами на лыжах в аметьевских оврагах, а возвращаясь домой,

забирала у нас варежки и подкидывала в воздух, с детской непосредственностью изображала «салют». Она устраивала праздник по каждому, даже самому незначительному случаю. Немногие это умеют. Большинству всё чего-то не хватает, а ей нужно было совсем немного для счастья. Именно это качество – умение быть счастливыми – она и пыталась вселить в нас, давала лекарство на все случаи жизни – своё жизнелюбие, свой оптимизм.

Мать излучала теплоту и бодрость, с ней было интересно, поэтому к ней тянулись люди, шли со своими обидами и горестями. У неё был редкий дар – сопереживать, чувствовать за других, она как бы принимала на себя часть чужих болей, успокаивала, приободряла, вселяла надежду на лучшее.

– Всё будет хорошо! – ежедневно убеждённо говорила она и улыбалась. Не смеялась, только улыбалась.

После смерти матери я долго хранил её вещи: пишущую машинку, пальцы, некоторые вышивки, медальон, брошь, цветные открытки, которые она дарила нам на праздники. Все эти вещи пропали во время моих переездов, скитаний по квартирам. Сохранилась только брошь и несколько любительских фотографий, в основном довоенных, со станции Правда: мать танцует с дядей Ваней, на втором плане – им аплодирует отец; мать держит на руках сестру; обнимает и целует Шарика... Есть фотокарточка, которую сделал я в Аметьево: мать стоит под цветущей яблоней. На всех довоенных снимках мать смеётся, на последнем, моём, – только улыбается, да и то как-то печально.

## 11.

Когда я думаю об отце, перед глазами мелькают заливные луга Займищ и озеро Аракчино, мелькают подсолнухи, пух одуванчиков, шишки... и высоченные чертополох и полынь, и вереницы кузнечиков и бабочек, и тропы, которые, точно ручьи, пересекают цепочки муравьёв... Я вижу, как мы бежим с рыбалки – отец и я. Чуть в стороне – деревня,

и дальше сквозь колеблющийся воздух – пёстрое разнотравье с перезвоном кос и женским смехом. Мы подбегаем к косцам и пьём из ведра тёплую, пахнущую жостью воду. Потом идём к станции, и отец говорит о том, что скоро мы разделаемся с долгами и начнём строить катер, чтобы можно было путешествовать. Он подробно обрисовывал будущую посудину, намечал маршруты плаваний.

–...А вообще, – говорил, – особенно намечать маршруты не стоит, чтоб было побольше неожиданностей. В путешествии самое главное – выйти из дома.

Отцу так и не удалось осуществить свою мечту, но он заразил ею меня. Через много лет, когда я строил катер и потом отправился на нём в плавание, отец был рядом – я ощущал его присутствие и даже разговаривал с ним.

В последние дни недели отец собирал рюкзак, подготавливал снасти для ловли рыбы, втайне от матери покупал четвертинку водки, и в субботу вечером мы направлялись к пригородному... Мы рыбачили на всех станциях до самого Арска и ездили на Волгу в Юдино и Зеленодольск... Мне удивительно повезло, что именно там жил подростком. В те времена весь Арск утопал в зелени, от буйных садов ломились заборы, фрукты не успевали убирать, и они падали, перезрелые. Прямо на дороге валялись груши, яблоки, сливы, по ним ползали липкие осы... И Юдино было красивым. Светлым и чистым. Улицы пахли Волгой, на заборах сохли сети, поблёскивая чешуёй, как монетами. Над улицами нависали берёзы, рябины, тополя – идёшь, как в зелёном тоннеле, и от шума листвы кружится голова. И очень красивым был Зеленодольск, с сыпучими обрывами, трёхпалубными пароходами на Волге и высоченным мостом, по которому бежали зелёные вагоны поездов. И было много других красивых городов под Казанью... В детстве всё огромное, почти неправдоподобное, и чем дальше отдаляется то время, тем больше Арск тонет в зелени и выше поднимается мост Зелёного Дола, а верхушки деревьев Юдино совсем исчезают в небе. Стираются детали, размываются лица, обволакиваются сказочностью. Всё хорошее с годами становится ещё прекраснее. У кого не так, у того нет привязанностей, его корни в воздухе.

Отец вставал в шесть утра, чертил за доской – подрабатывал на других заводах. Сквозь сон я слышал, как он затачивал карандаши, шелестел калькой, шуршал рейсшиной, бормотал цифры... Уходя на работу, отец оставлял мне записку: «Поставь на чертежах стрелки». И понижее что-нибудь такое: «Вечером приходи на стадион. Наши играют с «Локомотивом». Или: «Просмотри удочки. Завтра махнём на рыбалку». Но всё же чаще по утрам отец недолго работал в огороде, а чертил в основном по вечерам и перед сном ещё успевал читать книги, которые брал в заводской библиотеке.

Многие годы – в сущности, всю жизнь, дома отец выполнял заказы для других заводов. В то время он работал для компрессорного завода, для завода пишущих машинок, для медицинского и сельскохозяйственного институтов, а позднее для фабрики спортивных товаров, для кондитерской фабрики и фабрики игрушек. И сейчас можно увидеть в магазинах вещи, сделанные по чертежам отца.

Некоторые называют левую работу халтурой. Это неверно. Халтура – работа на скорую руку, работа так себе. Отец всё делал неспешно, добросовестно и отдавал работе все силы и способности. Он говорил:

– Работу можно считать законченной, только когда весь выложился, вложил в работу всё умение.

Он-то «выкладывался» всегда: от самой первой своей работы до самой последней, и за всю недолгую жизнь ни разу не был в отпуске.

Особенно отца любили в цехах.

– У твоего отца не голова, а дом советов, – слышал я от слесарей и литейщиков. – Его чертежи не только точный расчёт, но и сделаны красиво, как картинки. Всё просто и ясно.

К тому же отец выпивал с рабочими, а, известное дело, это тоже сближает.

Мы с матерью помогали отцу. Мать чертила форматки, я ставил стрелки. Я увековечил себя на многих отцовских чертежах. Вначале у меня получались стрелки жирные, точно вороны, а через несколько лет, когда я отшлифовал мастерство, – уже тонкие, как индейские дротики. Я был уверен, что они придадут отцовским чертежам немало важную окраску. За эту помощь отец обещал купить мне фотоаппарат

и велосипед. Он всегда держал слово и никогда не забывал своих обещаний: купил мне в комиссионке дешёвенький фотоаппарат «Комсомолец», а позже на толкучке и подержанный велосипед.

Это были счастливейшие моменты. Я помню, какой испытал восторг, когда под красным светом карманного фонарика, обёрнутого галстуком, в миске с проявителем появлялись первые фотоснимки – как вначале изображение было мутным, еле различимым, но быстро, прямо на глазах, словно по волшебству, становилось всё более чётким и спустя несколько секунд превращалось в законченную конкретную картинку.

Помню чувство свободы и ощущение скорости, когда гонял на велосипеде по городским окраинам; гонял по извилистым тропам и утрамбованной колее с островками травы, где через колёса мне передавались все вмятины и бугорки на дороге и от каждого камня подбрасывало в седле. Иногда я влетал в лужи или песчаные наносы, велосипед резко притормаживало, но я не сдавался – сильнее налегал на педали – препятствия только закаляли мой спортивный дух. Я любил ездить по всяким покрытиям – по узким дощатым настилам, когда требовалось особое равновесие, и по мощёным мостовым, когда трясло всё тело, но особенно – по гладким асфальтированным улицам – вот уж где можно было показать класс! Я разгонял велосипед до предельной скорости, обгонял не только телеги, но и тихходные полуторки, и, бывало, даже трамвай и каждый такой обгон причислял к мировому достижению.

Став обладателем фотоаппарата и велосипеда, я запланировал приумножить свои богатства – к фотоаппарату решил купить настоящий красный фонарь и ванночки для химикалий, а к велосипеду – фару с динамкой и спидометр. Мне не удалось приобрести эту дополнительную атрибутику (в семье наступила очередная полоса безденежья), но и без неё я считал себя счастливецем.

...С работы отец шёл медленно, заложив руки за спину, и была хорошая рабочая усталость в его неторопливой походке. Я и сейчас вижу, как он подходит к посёлку, идёт вдоль лесопосадок и вглядывается в наш двор; заметит меня, помашет издали рукой...

Что особенно важно, отец передавал мне свой жизненный опыт без нудных нравоучений и подзатыльников, только личным примером и ненавязчивыми советами. Некоторыми из них я пользуюсь до сих пор: «общаясь с людьми, ставить себя на их место», «в споре с друзьями видеть и свою неправоту, а в ссоре первому идти на примирение».

Некоторые советы отца были довольно спорными. Будучи крайне скромным, он, например, советовал мне никогда не выпячиваться, оставаться в тени, а ставя перед собой какие-либо цели, предполагать, что они могут и не осуществиться, чтобы потом, если ничего не получится, легче пережить поражение. Эти советы я принимать не собирался, поскольку от матери унаследовал уверенность в себе и дух лидерства. Но с годами, каким-то странным образом, эти советы отца всё же победили материнскую наследственность, и, когда я серьёзно занялся живописью, постоянно сомневался в том, что делал. А сейчас сомневаюсь и во многих других своих работах и вообще сильно недоволен собой.

Летом отец брился наголо, ходил в белом полотняном костюме и в белых парусиновых ботинках, которые чистил зубным порошком. Галстуки не носил, брюки гладил редко, вообще одежде большого значения не придавал. А мать царственно пренебрегала своим внешним видом. Конечно, основную роль играли деньги, которых постоянно не хватало, и перед каждой получкой влезали в долги, а то и сидели на хлебе и картошке.

– Пустяки! – неунывающим голосом восклицала мать. – Это временные неприятности. Скоро наш глава семьи, Анатолий Владимирович, заработает кучу денег, кое-что я получу, и мы устроим чудесный обед с шампанским и выпьем за то, чтобы скорее вернуться в Москву.

– Не знаю, не знаю, – подавленно откликнулся отец.

Он уже смирился с жизнью в захолустье и всё чаще приходил домой выпивши. Втайне от матери говорил мне:

– С завода меня не отпускают. Есть приказ: эвакуированные заводы оставить на местах и расширить... Да и никто нас не ждёт в Москве. Никому мы там не нужны. Мы там всё потеряли.

...Долгое время я хранил вещи отца, дорогие мне мелочи: очки, готвальню, линзу, пенал с огрызками карандашей, перочинный ножик со стёртым, от долгого употребления, лезвием. Потом, как и вещи матери, всё это куда-то пропало. Остались только очки.

Есть фотография: отец сидит в плавках на огромном валуне посреди реки. На обороте смешная надпись: «Анатолий изображает Нептуна. Снимок сделал его закадычный друг, фотограф высокого класса Иван. Истра. 1939 г.».

...Несколько лет назад я прошёл по Истре на байдарке и на всём протяжении реки обнаружил только один валун. Судя по местности, это был тот камень, на котором дядя Ваня запечатлел отца. Был знойный полдень, и с валуна в воду с гиканьем прыгали мальчишки; они мешали мне сосредоточиться, я никак не мог вызвать образ отца. Смотрел на отполированный временем камень и думал: «Надо же, прошло почти сорок лет, а исполин не разрушился. И сколько он повидал на своём веку, и сколько ещё повидает! И как быстротечна и коротка человеческая жизнь – вот и я мимо него плыву, а когда-нибудь, вслед за мной, проплывёт кто-нибудь из моих потомков...»

## 12.

Я смотрю на послевоенные фотографии и вспоминаю Волгу, горячий песок отмелей, и лодки, пахнущие дёгтем, и наш дом, весь в черёмухе. Где-то там, в рощах подсолнухов, в буйных зарослях лебеды и крапивы, с самокатом и деревянным ружьём, затерялось моё детство. Убежало босиком по тёплым дождевым лужам туда, где скрипят телеги во ржи и на перекатах плещет рыба. Его уже не догнать.

В детстве мне всегда не хватало времени, и я постоянно бегал: к друзьям – через огороды и дыры в заборах, на базар – по разошедшимся мосткам, в керосинную лавку – по шпалам и мостовой. Бегал и когда совсем не спешил. С утра, как только просыпался, обегал всех соседей и узнавал, кто что делает, потом прибежал на речку, шатался среди рыбаков, лазил по лодкам. Днём носился по лугу и догонял тени облаков

или бегал вдоль шоссе, пытаясь сравнить свою скорость с машинами. Иногда мне хотелось узнать, что находится за лесом, и я убежал далеко от посёлка и возвращался поздно, взмокший и запылённый.

Помнится, всё хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, только что именно никак не мог придумать и все силы тратил в бег. Я торопился жить и не задумывался над тем, что дни один за другим уходят безвозвратно, навсегда. Целыми днями я носился как очумелый и не уставал от ошеломляющей гонки, только когда нужно было бежать в школу, чувствовал себя уставшим и переходил на шаг. И всегда опаздывал.

– Что ж ты всё время опаздываешь? – сказал как-то учитель. – Вчера на улице так бежал, чуть меня не сшиб. Даже не заметил. А в школу еле плетёшься. Ты, конечно, способный, но очень несобранный, и, если не возьмёшься за ум, плохи будут твои дела.

Когда я немного подрос, то заметил, что не так уж много дел и людей, к которым надо спешить. И я стал редко бегать. Только, когда я это понял, кончилось моё детство. Но то небольшое, что отфильтровалось временем, с годами для меня приобрело настоящую ценность. Это прежде всего нравственная чистота и доброта в людях, трудолюбие, влюблённость в своё ремесло, любовь к растениям и животным...

Станция Аметьево была дощатая, в пыльных струйках солнца. Тонкие доски просвечивались насквозь. Доски были красные, с тёмными прожилками смолы. Было хорошо сидеть в тени станции и смотреть на убегающие рельсы. Прислонишь ухо к горячему рельсу и услышишь, далеко ли поезд... Прогромыкает товарняк, упругий ветер ударит; считаешь вагоны, на последнем парень с зелёным и красным флажками – подмигнёт, улыбнётся. Товарняк мчал в Юдино, потом в ВРП и дальше, через станцию Обсерватория, в город Зеленодольск.

Нам со Славкой казалось, что там, за Зелёным Долом, начинаются большие и шумные города, где жизнь гораздо интереснее, чем в нашем захолустном посёлке. Долго мы собирались отправиться в путешествие, и вот однажды утром, когда родители ушли на работу, набили в сумку еды и зашагали в сторону Юдино... Вначале спешили, почти бежали, боялись, что догонят, но, когда посёлок скрылся за поворотом и полотно углубилось в седой ельник, пошли медленней. Постепенно

ельник сменили сосны, они подступали к самым рельсам, и дорога была пружинистой, устлана хвоей. Вскоре показалось Юдино. Одноколейный путь веером разбежался на запасные пути, где стояли прокопчённые платформы и цистерны; из депо выходили паровозы, гремели буфера, горели тормозные колодки, разнося запах жжёного железа. Некоторое время мы смотрели, как на разогретых механизмах маневрового шипит масло, вдыхали запах сладкого пара и смазки.

...Паровозы моего детства! Красноколёсные трудяги с блестящими латунными свистками! Они доживают свой век в заброшенных тупиках, ржавые, поломанные. И никому не придёт в голову отремонтировать их, поставить на пьедестал... Не так давно в Мытищах на старом запасном пути я заметил полуразобранный паровик; подошёл, покурил, вспомнил детство... И машины «Победа», и старый декор в квартирах – этажерки, абажуры, патефоны, круглые будильники с блестящим звонком и многие другие символы прошлой эпохи всегда возвращают меня во времена детства и юности, я подхожу к ним, поглаживаю, люблю добротной работой.

...После Юдино мы со Славкой шли по тропе вдоль железнодорожной колеи, среди берёз – они пахли свежестью и слепили белизной. Недалеко от ВРП на одной из полян заметили парня в соломенной шляпе; он рвал траву и бросал в корзину; увидев нас, кивнул:

– Привет, ребята! Ну-ка помогите собрать пастушью сумку.

– Какую сумку?

– Пастушью. Эта трава называется пастушья сумка, – парень показал на растения, у которых листья были как зелёные капли. – Она лекарственная. Я собиратель лекарственных трав.

Мы со Славкой присели, стали рвать траву.

– А вот этот цветок – иван-да-марья, – парень поднял тонкий стебель с жёлтыми цветами. – Его не рвите, ядовит. Если у коровы горькое молоко, значит обьелась иван-да-марьи...

Когда корзина доверху заполнилась травами, парень сказал:

– Ну спасибо, ребята, подсобили! В благодарность покажу вам растения-хищники. Хотите?

– Ещё бы! – выдохнул Славка.

– А разве есть растения-хищники? – спросил я.

– Сейчас увидишь, – парень махнул рукой. – Пошли!

Мы бросились за ним по тропе; на ходу он говорил:

– Эти растения питаются насекомыми. Растут у болот, где полно насекомых, и выделяют липкую жидкость, похожую на росу. Завлекают любопытных букашек... Эти хищники красивые. Их даже выращивают в оранжереях. Но, не питаясь насекомыми, они растут плоховато, иногда совсем чахнут... Вот здесь!

Он остановился у болота, присел на моховую кочку и показал на круглые листья с вереницей красных ресниц.

– Видите? На конце каждой ресницы блестит капля слизи, как роса. Потому растение и называют росянкой.

Над росянкой запищал комар. Увидел каплю, захотел, наверно, пить, сел и прилип. И ресницы сразу стали сгибаться над комаром, одна за другой, как застёжки-молнии. Комар отчаянно барахтался, но ещё больше увязал в слизи. Скоро и края листка свернулись, совсем комара закрыли.

– Ну вот! – вздохнул парень. – Через день-два листок раскроется, а от комара останутся одни крылышки. Растение всосёт его... Иногда и жуки попадают. Сильный ещё вырвется, а маленький так и погибнет, – он бросил на соседний лист песчинку, и лист сразу свернулся.

– За насекомое принял, – засмеялся парень. – Но скоро распознает обман и раскроется.

Мы со Славкой сидели потрясённые, ведь стали свидетелями удивительного зрелища. Почему-то сразу расхотелось идти в большие города. Мы вспомнили, что и в аметьевских лугах есть такие же травы, только раньше мы и не замечали их.

Это было моим первым и самым лучшим путешествием. Тогда я впервые понял, какое это счастье – познавать мир, тогда в меня вселилась непроходящая жажда к странствиям. И теперь, когда мне надоедает всё окружающее, когда приедается привычное, когда перестаю замечать предметы, понимать их назначение и смысл, я отправляюсь путешествовать и каждый раз, возвращаясь, нахожу много необыкновенного в обыкновенных вещах.

### 13.

В нашем посёлке никто не отгораживал свои участки, только у стариков Табалаевых стоял высоченный забор и на калитке чернела надпись: «Осторожно! Злая собака!». Сквозь решётки на их окнах виднелись хрустальные тюльпаны на люстре и красно-синие ковры. В то послевоенное время многие переживали за родных, без вести пропавших на фронте и потерявшихся во время эвакуации, но у Табалаевых были переживания другого рода – им всюду мерещились грабители. По посёлку они ходили вкрадчиво, на соседей смотрели то недоверчиво, подозрительно, то елейно улыбаясь. Они напоминали осьминогов, постоянно меняющих окраску от всяких врагов. Для охраны грядок от наших набегов Табалаевы держали низкорослую собаку Кармен. Когда мы проходили мимо их забора, Кармен бросалась на рейки и яростно лаяла, разбрызгивая слюну.

– Маленькие собачки злее больших, и едят меньше, – говорил Табалаев, сухопарый старик с редкой бородой, в которой пряталась ухмылка.

По утрам мы со Славкой рыбачили в Займище. Как-то пришли на озеро, но не успели поймать и по одной плотвичке, смотрим – недалеке причалил лодку Табалаев с невероятным уловом: на верёвкееккане сверкали крупные лещи. Табалаев подошёл к нам, поздоровался, приподнял лещей, чтобы мы их лучше разглядели, и, ухмыляясь, направился к посёлку.

На следующее утро мы встали до рассвета, дома в посёлке еле угадывались в тумане. Когда пришли на озеро, ещё не взошло солнце, но лодки Табалаева уже не было. Он появился к полудню. Ещё издали с невообразимым пижонством приподнял кукан, и мы оторопели – лещей было больше, чем в прошлое утро.

После этого мы ещё несколько раз встречали Табалаева, и всегда с неправдоподобным уловом; он явно рыбачил в каких-то таинственных, удачливых местах. Мы представляли, как он с вечера чем-то подкармливает рыбу, а утром, задолго до рассвета, закидывает удочки с разными насадками и смачивает их всякими маслами для запаха.

Мы были уверены: Табалаев – великий рыболов. Однажды, чтобы выследить его места, заночевали у озера. С вечера разожгли на берегу костёр, напекли в золе картошки; перед сном, подражая таёжникам, сдвинули костёр в сторону, постелили куртки на горячий песок и задремали.

Проснулись засветло от холода, но не успели запалить костёр, как показался Табалаев. Он шёл вдоль берега с удочками и садком из прутьев. Поравнявшись с нами, поздоровался, стал складывать в лодку снасти. Мы тоже отвязали свою плоскодонку. Табалаев ухмылялся, поглядывал на нас, что-то бормотал о хорошей погоде; он не подозревал про наш отчаянный план, а мы делали вид, что просто хотим половить с лодки. Налетел ветер, гладкая поверхность озера сморщилась и задрожала. Оттолкнувшись от берега, Табалаев пожелал нам удачи и повернул в сторону. Увидев, что мы тоже разворачиваемся, нахмурился и налёг на весла.

На середине озера Табалаев остановился и стал разматывать удочки. Мы нахально встали в пяти метрах и тоже приготовились удить. Было ясно – Табалаев нарочно остановился на глубине, чтобы не показывать свои места, а мы ждали, как он будет выкручиваться из ситуации; сдаваться мы не собирались и запаслись бесконечным терпением. Табалаев несколько раз перекидывал удочки, но на них ничего не было. У нас тоже не клевало. А солнце уже поднялось высоко над горизонтом. Наконец Табалаев не выдержал: подъехал к камышам и начал что-то нащупывать в воде. Мы привстали. Вначале показался край сетки-верши, потом сильно плеснуло, и в руках у Табалаева сверкнул огромный лещ, потом ещё один. Выбрав рыбу, «великий рыболов» опустил вершу, посмотрел на нас и усмехнулся.

– Вот так, молодые люди. А иначе нельзя. Вывелась вся крупная рыба, а та, что осталась, жуть как осторожная... А удочки для отвода глаз, поняли? Но смотрите, никому ни-ни...

Стало жарко. Поплавки наших удочек отнесло в сторону, и они потерялись в осоке. Мы сидели в лодке и никак не могли осмыслить стариковскую хитрость. Назад плыли молча, плыли в опрокинутом небе, прямо по облакам.

Озёра Займищ! Озёра-блюдца, соединённые протоками, – прозрачные воды, плавающие острова с живописными травами... До сих пор я помню запахи влажного песка, прибрежных ив, ракушек; перед глазами проплывают серебристые плотвички с ярко-красными плавниками, над водой висят стрекозы с сетчатыми крыльями... А какие колоритные деревни были на косогорах! Страшно подумать, что ничего этого уже нет. Всё исчезло под водой, после того как построили гигантскую плотину. Кое-где в затопляемой местности даже не удосужились разобрать дома, спилить деревья, отловить и вывезти зверей... Теперь на месте Займищ бескрайняя акватория, из которой торчат мёртвые верхушки деревьев как памятники экологической катастрофы. В солнечные дни с пароходов сквозь толщу воды видны погибшие деревни, купола церкви. Волга теперь мутная, с пятнами мазута, в ней редко встречаются лещи, а стерлядь можно увидеть лишь в краеведческом музее... А была Волга сине-жёлтая, с песчаными островами...

Мы со Славкой все дни пропадали на Волге: ловили голавлей в зато-не, плавали к плотам. Домой прибегали лишь к обеду, да и тот съедали на ходу и снова мчали к волжскому обрыву, прыгали в глубокий песок и бежали по берегу, усыпанному хрустящими ракушками, в Шалангу. Не было лучшего места на свете! Там над обрывом в зелёном шуме тополей не смолкая кричали птицы и солнце хлестало по волнам и слепило, отражаясь от воды, как от зеркала. Там буксиры тянули баржи, а на фарватере встречались трёхпалубные пароходы, приветствовали друг друга гудками и шли дальше, не останавливаясь на нашей пристани. Там у старых свай в луже расплавленного дёгтя лежала плоскодонка – мы ходили на ней, представляя себя пиратами.

Вставали на рассвете, когда дрожала листва деревьев и высоко белела луна; отвязывали лодку и, отталкиваясь вёслами о дно, скользили по мелководью. Вода просвечивалась насквозь: на песчаном дне, как драгоценности, сверкали створки моллюсков, и стайки мальков неподвижно держались против течения. Мы выходили к месту, где на дне колыхались травы и лежал ржавый якорь, похожий на мёртвого осьминога. В том месте пологое дно обрывалось, и дальше темнела «чёртова яма». На её поверхности крутились водовороты – бешеная вода

даже в жару была холодной. Говорили, в «яме» бьют подземные ключи и что они сводят ноги и затягивают в воронки. У «ямы» мы забрасывали в воду сеть. Пользоваться сетью запрещалось, но какой подросток не хочет столкнуться с опасностью?!

Недалеко от Шаланги находился остров Маркиз, где, по словам рыбаков, водились целые косяки рыб, но на острове жил бакенщик Макар, гроза браконьеров. Однажды мы решили подплыть к острову и забросить сеть с наступлением темноты...

Стерляди попало много, и, пока её выбирали, пошёл дождь, по воде захрустели тугие плети. Мы уже повернули к берегу, как вдруг послышалось тарахтение мотора и по воде стал шарить луч прожектора; скользнул по нашей лодке и замер. Мы неистово гребли, стараясь уйти с освещённой поверхности, но сноп света точно прилип к лодке и слепил сквозь сетку дождя – мотобот приближался. Внезапно наша посудина накренилась и, зачерпнув бортом, стала быстро погружаться.

Мы плыли в темноте. Течением сносило куда-то в сторону. Я несколько раз хлебнул воды, и меня тошнило. Потом отяжелели руки, и я стал сдавать, но рядом плыл Славка и кричал, что до берега осталось немного...

Нас подобрал бакенщик Макар, бородатый мужик с крепкими пальцами, потемневшими от долгой работы на реке. Он развешивал над печкой нашу одежду и ворчал:

– Что ж вы, пираты... С водой шутить нельзя. Так бы и пошли плотву кормить, если бы у меня не бакен на перекате. Мигает, чёрт его подери! Всё езжу его поправлять.

Бакенщик поставил на стол кастрюлю с ухой, дал нам ложки, закурил и, как бы разговаривая с самим собой, усмехнулся:

– Ох уж эти браконьеры, чёрт бы их побрал! Вчера один захохотил килограммов двадцать, и всё стерлядка... Около ямы, подлец, оханил. Знаете Чёртову яму?

Мы кивнули и нагнулись к тарелкам.

– Не дело это, – Макар строго посмотрел на нас. – Ведь наша, волжская, стерлядь во всём мире ценятся... Благородная рыба. Её ж разводить надо, а не губить...

Макар постелил на полу телогрейки, и мы легли, прижавшись друг к другу. Было тихо, пахло илом и солёной рыбой, где-то басил пароход.

Когда мы проснулись, в избе Макара не было; чуть дымила потухшая печка. Дверь открылась, и на пол плеснуло солнце.

– Вставайте, пираты! Катер на посёлок сейчас пойдёт.

В двери стоял улыбающийся Макар, весь в песке и рыбьей чешуе. Мы выбежали на крыльцо. Дождь давно кончился; белые отмели сверкали на солнце, в небе, точно рыбёшки в гигантском аквариуме, играли ласточки. Мы бросились вниз, к Волге; бежали наперегонки к катеру, кричали и размахивали руками; бежали изо всех сил по мелководью, поднимая брызги, разгоняя мальков. Нас заметили, подождали, помогли забраться; катер рванул с места, и пласт воды, зажигаясь пеной, понёсся к берегу.

Я вспоминаю ещё одну рыбалку, где-то около станции Дербышки. Ничего особенного не произошло, просто была тёплая ночь; разогретое за день сено пахло клевером и луговой клубникой, где-то далеко урчал буксир, и оттуда-то слышались грустные вечерние песни.

Мы со Славкой лежали на стоге и смотрели на звёзды и, когда падала звезда, загадывали про себя желание. В ту ночь был настоящий звездопад, и мы загадывали столько желаний, что нам казалось, если осуществится хотя бы часть из них, будем невероятными счастливцами. Я смутно помню те желания, но, по-моему, они осуществились все, только счастливец я не стал и до сих пор кое-что загадываю, только теперешние желания несоразмерны с теми, мальчишескими.

С тех пор прошло много лет, но иногда я снова вижу тот звездопад, слышу те звуки, ощущаю те запахи, как будто унёс с собой частицу той ночи. Это память цвета, звуков и запахов. Замечательно всё же, что в памяти можно вернуть прошлое. Особенно детство – страну самых широких рек, и самых высоких деревьев, и дней, наполненных до краёв событиями.

## 14.

Когда я окончил седьмой класс, мы с отцом съездили в Бирюлинский зверосовхоз и купили пару ангорских кроликов. В скором времени кролики расплодились, но одна крольчиха всё время устраивала подкопы под выгоном и убегала в огород. После её набегов с грядки исчезали отборные овощи. Что только я не делал с этой свободолюбивой крольчихой! Сажал в отдельный выгон, запирали в клетке – она всякий раз одурачивала меня, находила лазейку и убегала.

Однажды, заметив проказницу на грядке, я, изловчившись, запустил в неё голышом. Она пискнула и долго трясла ушибленную лапу, а я испытывал злорадное ликование. Мальчишеская неосознанная жестокость! С того дня она не убегала, сидела, как все, в выгоне. И вот тут-то, я точно помню, мне вдруг стало в ней чего-то не хватать. Понадобилось немало лет, пока до меня дошло, что я убил в животном самое ценное – индивидуальность.

В четырнадцать лет, начитавшись книг про ковбоев, я решил стать охотником. Отец дал деньги на подержанную одностволку, и я стал упражняться в стрельбе. Первое время стрелял по консервным банкам и в воздух – отпугивал коршуна, кружащего над садом и высматривающего крольчат. Но однажды, когда в семье совсем не было еды, я заметил, что на поле опустилась стайка диких голубей, и уговорил мать выступить в роли загонщика. Она согласилась, обошла птиц и вспугнула, подгоняя к моей засидке. Я выстрелил «бекасником», и две птицы упали на землю. Дома их ощипали, опалили соломой и сварили. В тот день я почувствовал себя настоящим охотником-добытчиком.

Мне нравилась сама охота, нравилось выслеживать добычу, подкрадываться к ней... Вышагивая по заболоченным перелескам, я ощущал себя неким завоевателем, покорителем новых земель, но убивать мне никого не хотелось, хотя и было стыдно признаваться в мягкотелости. К счастью, мои трофеи можно пересчитать по пальцам.

Я вспоминаю первую убитую утку. Над озером летела пара чирков. До них было далеко, и я не очень-то надеялся, что дробь долетит, – выстрелил, просто чтобы разрядить ружьё; после выстрела чирки про-

должали лететь рядом, но потом одна утка начала медленно снижаться и упала на середину озера. С полчаса её прибывало к берегу, и всё это время второй чирок кружил над водой. Я нашёл упавшую птицу в камышах; вокруг неё расплывалось тёмно-красное пятно. Утка смотрела на меня снизу и тихо крякала, точно просила о помощи.

Как-то Славка прибежал ко мне и выпалил:

– Пойдём покажу, кого я подстрелил! (Он стал охотником раньше меня).

В их сарае на полу сидел огромный филин с перебитым крылом. Меня поразила необыкновенная красота ушастой птицы и особенно её горделивая осанка, несмотря на беспомощно оттопыренное крыло. Мне стало не по себе, и я стал отчитывать приятеля за то, что он покалечил полезную птицу ради своей меткости, а про себя решил больше никогда не брать ружьё в руки.

Я вспоминаю толстых рыжих сусликов, которые пересвистывались по утрам, и вижу их наполненные страхом глаза, когда они плыли из затопленных норок. Вспоминаю нашего поросёнка Мишку, который радостным хрюканьем приветствовал и кроликов, и Челкаша, и всё наше семейство, а в день, когда его должны были зарезать, отказался от своего лакомства – моркови; стоял, прижавшись к забору, тревожно сопел и пугливо косился по сторонам.

Одно время у нас кроме кроликов и поросёнка была ещё коза Катька с козлёнком. Зимой в морозы на ночь животных приводили домой. Помню, как они долго и шумно топтались на кухне, а потом засыпали у печки вповалку, при этом Челкаш, на правах хозяина, занимал лучшее место – носом к порогу, где в щель из-под двери тянул холодный воздух; рядом ложилась Катька с сыном, кролики пристраивались между ними. Последним, приветливо похрюкивая, осторожно, боясь на кого-нибудь наступить, протискивался в середину Мишка, но, когда плюхался, всё равно кого-нибудь придавливал – слышался писк, сопенье, ворчанье, потом всё стихало.

Я помню всех дворовых собак в посёлке, всех наших животных.

– Животные должны быть в каждом доме, – говорила мать, – ведь они делают нас добрее.

Именно мать вселила в меня любовь к «братьям нашим меньшим», причём ко всем, даже к самым невзрачным на вид. Как-то, задолго до охотничьих «подвигов», мы со Славкой поймали паука «косиножку», оторвали у него ногу и долго пялились на её подёргивание. В этот момент сзади подошла мать и дала мне подзатыльник.

– Живодёры! Ему ведь так же больно, как и нам!

Эти слова я вспомнил в тот день, когда решил навсегда покончить с охотой, и в дальнейшем вспоминал не раз, а став взрослым, прочитал у Брэма, что ни один зверь не охотится ради забавы, это делает только человек. Сейчас, вспоминая раненого филина и убитых уток, я думаю, что человек может многое сделать, но живую птицу не сделает никогда.

Как известно, многие животные предчувствуют смерть. Как-то под осень мимо школы гнали на бойню коров, и стадо было охвачено паническим страхом: коровы ревели, металась из стороны в сторону; погонщики, выкрикивая ругань, неистово щёлкали кнутами...

В другой раз из двора за станцией мальчишка хворостиной пытался погнать гусят на убой. До этого он ежедневно выгонял гусят из загона, и они, весело гогоча, переваливаясь с боку на бок, торопливо шлёпали к озеру. А в тот день сбились в кучу и испуганно кричали...

Повзрослев, я стал таким сентиментальным, что даже перестал удить рыбу, а однажды собрал всё охотничье снаряжение и утопил в озере. С тех пор я подкармливал воробьёв, ворон и галок, прижигал лишай бездомным кошкам, нескольких собак вылечил от чумки, не раз выкупал дворняг у собаколовов... А сейчас стараюсь быть вегетарианцем... Недавно в мою комнату влетел голубь со спутанными леской лапами – видимо, вырвался из силка. Голубь плюхнулся прямо на стол и, пока я распутывал леску, спокойно стоял, не дёргался. В этот момент я наконец понял своё истинное призвание – быть ветеринаром – и стал подумывать о домишке на окраине, чтобы лечить бездомных бедолаг...

Сейчас я думаю, что и мыши, и пауки, и тараканы – все, за исключением кровососущих, в сущности, равноправные жильцы в домах, и по какому праву мы выживаем их? Подумаешь, съедят корку хлеба! Когда

я делюсь этими мыслями с приятелями, они ухмыляются и крутят согнутым пальцем у виска.

...В летний полдень в посёлке некуда было спрятаться от зноя, но приходилось пилить и колоть дрова, носить воду для полива грядок. По вечерам, когда жара спадала, поселчане работали в огородах, перекидываясь через изгородь словами с соседями. Позднее взрослые занимались домашними делами, а ребята собирались на волейбольной площадке в центре посёлка. В вечерней тишине до городской окраины доносились тугие удары мяча, а с окраины слышались пластинки Виноградова, Утёсова, Шульженко...

Ночевали под открытым небом, как когда-то на Правде. Крышей нам служили облака, стенами – деревья в саду; пахло сухой землей и травами, слышался далёкий городской гул, изредка подрагивала земля от грохота ночных поездов.

Летние дни пролетали быстро, и в памяти они как радужные мыльные пузыри, но что запомнилось – широкий ромашковый луг за нашим посёлком. Это было настоящее половодье цветов. До сих пор они стоят перед глазами – яркие, крупные, колеблемые невидимым ветром... За свою жизнь я много поездил по средней полосе России и бывал на Севере и в Сибири, много видел красивых лугов, но такого, как тот, не видел нигде. Может быть, потому что он луг моего детства...

С чем с чем, а с цветами мне повезло: где бы мы ни жили, они были неотъемлемой частью пейзажа. На Правде росло множество колокольчиков, перед общежитием цвёл подорожник, Аметьево окружали ромашки. Странно, но позднее, посетив места своего детства, я нашёл многое не тронутым временем, но цветы исчезли всюду, как будто и не росли там никогда.

## 15.

Зимы в Аметьево были метельные. Случалось, так заваливало снежной массой, что отрезало дома друг от друга. После таких снегопадов посёлок становился невидимкой: поезд проносился, пассажи-

ры его и не замечали – так, два-три окна, робко выглядывающие из-за сугробов. Но вот зажётся один огонёк, на мёрзлом стекле появились оттаявшие пятнышки, из трубы потянулась струйка дыма, ещё вспыхнул огонёк, ещё одна труба закурилась. Из посёлка потянулась первая цепочка следов, потом ещё – утрамбовалась тропка, перекликнулись школьники, залаяли собаки, ожил посёлок.

В тёмное морозное утро в комнате было холодно, и не хотелось вылезать из-под одеяла, но отец будил, и мы откапывали замурованную дверь, засыпанные проходы к сараю и туалету, копали траншеи деревянными лопатами, выпиливали огромные снежные кирпичи. С коромыслом и ведрами по колено в снегу тащились на колонку, наливали воду в бак и раковину, приносили из сарая тяжёлые, налитые льдом поленья, растапливали печь, из промазанных глиной щелей просачивался дым, ел глаза, но постепенно дрова разгорались, печь начинала гудеть, в комнате становилось теплее... Я залезал на сеновал, доставал для кроликов летние запасы – сладко пахнущие осиновые веники, потом спускался в погреб за овощами, из которых мать варила борщ. После завтрака отец спешил на завод, мать – на рынок, мы с сестрой – в школу.

В шестом классе я учился во вторую смену, и в ту зиму, если к вечеру начиналась метель, отец встречал меня у школы – на всякий случай, чтобы я не сбился с пути и не обморозился. Представляю, каково ему было после работы, уставшему, прийти в посёлок, поужинать и снова тащиться по сугробам в город.

Однажды после школы мы со Славкой встретили странного мальчишку; он крутился около будки стрелочника, пугливо озирался и прятался от каждого проходящего мимо взрослого. Заметив нас, подошёл.

– Пацаны, принесите чего-нибудь поесть.

Первое, что мы подумали, – он какой-то воришка, но, когда принесли еду (варёную картошку в мундире, хлеб, овощи), мальчишка рассказал, что сбежал из детского дома и добирается в деревню к бабушке.

– Хочу сесть на пригородный, – пояснил мальчишка, расправившись с едой. – Да он только утром пойдёт... Надо где-то переночевать.

Мы со всей серьёзностью вошли в положение бедняги и предложили соорудить эскимосское жилище. Мальчишка усмехнулся, посмотрел на нас как на идиотов и, не попрощавшись, направился к станции. Второй раз (после мальчишки, с которым ехали на крыше пригородного) я столкнулся с сиротой и задумался над его сложной судьбой. Вечером об этой встрече рассказал отцу.

– Что ж не пригласил паренька к нам? – пристыдил меня отец и, помолчав, как бы размышляя, добавил: – А сколько сейчас, после войны, бродит по стране таких подростков?! Остаться без родителей – трагедия. Я это знаю, ведь тоже рано потерял отца и мать...

Тогда ещё в нашей семье всё складывалось более-менее благополучно, и это благополучие я считал само собой разумеющимся и только в зрелости, потеряв родителей и сестру, понял, какое это счастье – иметь крепкую дружную семью.

Особенно запомнились зимние воскресные дни, когда я просыпался позднее обычного, когда сквозь щели в ставнях комнату пересекали узкие солнечные лучи; потом слышался скрип снега под окном – отец открывал ставни, и в комнату врывался водопад света. Я вскакивал с постели, надевал валенки, рассматривал затейливые узоры на стёклах; бежал в чулан к рукомойнику – обжигаясь, плескал на лицо холодную воду; выходил на обледенелое крыльцо – утро было яркое, звонкое; на сугробах искрился пухлый ночной снег; меж домов, как гирлянды, провисали провода, покрытые мохнатым инеем, среди кустов мелькали синицы...

К Новому году готовились за месяц: красили акварелью бумагу, нарезали ленты, клеили цепи, корзинки, хлопушки... Украшение ёлки был скромный и трогательный обряд: кроме самоделок на неё вешали конфеты и печенье, отец приносил с завода металлическую стружку – она заменяла серпантин.

Мы вообще всё делали сами: ещё в общежитии из швейных катушек вырезали шашки и шахматы, из тряпок сшивали кукол для домашнего театра, из осколков зеркал склеивали калейдоскопы, из фанеры выпиливали хоккейные клюшки, из подшипников и досок мастерили самокаты, из коробок и линз – фильмоскопы, а ленты к ним рисова-

ли красками на кальке – получались настоящие цветные диафильмы с титрами. В Аметьево мы собирали детекторные радиоприёмники, из оптических стёкол делали подзорные трубы, и строгали лыжи из досок, выгибая носы в кипятке. И делали многое другое. Моим сверстникам был присущ интерес ко всему новому, жажда преодоления, открытия...

Сейчас у ребят пластмассовые механические игрушки, у подростков – велосипеды с тремя скоростями, магнитофоны, роскошные коньки и клюшки, но нет у них навыков к ремёслам, уж я не говорю о том, что ёлка, украшенная самоделками, теплее и дороже ёлки с магазинными игрушками, так же как и всё другое, сделанное своими руками...

Иногда я вижу – ребята бросают на помойку чуть надтреснутые лыжи, погнутые санки и тут же катят с горы на листах фанеры. Это от пресыщенности. Ведь и среди взрослых встречаются люди, которые в полном благополучии выдумывают себе трагедии, но в несчастье все мечтают о сказке с хорошим концом.

Теперь молодые люди раскованные, у них современные интересы, они опустили многие условности, у них новая философия – свобода во всём. Глядя на них, я чувствую, что безнадёжно отстал, даже выпал из жизни – так далеко они ушли вперёд. Я не знаю, чего они хотят, против чего протестуют, к чему призывают. Наверное, они правы. Ведь каждое новое поколение не согласно с отцами, ломает устоявшиеся ценности и выдвигает свои. Но ведь поколение – это не новый биологический вид, а люди, носители своего времени, сделавшие определённый вклад в культуру. И вот здесь я не понимаю теперешних молодёжных идиологов – парней с гитарами, которые подпрыгивают и завывают кастратами. В их оглушающих ритмах две-три ноты и повтор одних и тех же слов, которые, кстати, и не нужны. Но слушатели, охваченные ажиотажем, воют и топают и, подчиняясь каким-то законам мимикрии, превращаются в дикую, неуправляемую толпу, в которой человек перестаёт быть личностью. Я не против этих ритмов, пусть каждый играет, что хочет, но мне жаль этих ребят – не интересуясь другой музыкой, они обедняют свою жизнь.

Сейчас я задаюсь вопросом: неужели людям надо одуреть от отупляющей массовой культуры, чтобы потянуло к классике; пресытиться распутством, чтобы вернуться к благочестию; дойти до вопиющего богатства, чтобы довольствоваться скромным образом жизни?

Наверное, эти воспоминания выглядят старческим ворчанием – возможно; но, когда видишь на улицах нагловатых, самоуверенных парней, которые крутят на пальцах ключи от иномарок, жуют жвачку и болтают о том, где можно заколотить деньги, думается: что из них получится? Возможно, они станут неплохими специалистами в своей области, но я не знаю, будет ли в них та человечность, которая отличала моих сверстников. Я даже не знаю, полезны ли обеспеченность и возможности, которые теперь у многих подростков. Я не могу объяснить, только чувствую, что всё как-то не так. Может быть, я оправдываю своё обделённое поколение, но, по-моему, каждому в начале пути не мешает познать невзгоды и лишения. Я смутно догадываюсь, какой станет теперешняя молодёжь, не испытавшая наших бед. К тому же сейчас у многих молодых людей изначально нет чётких убеждений, их основа рыхлая. Им не нравится мир, но как его переделать, они не знают. Они разучились думать, анализировать то, что происходит, различать настоящее и фальшивое.

## 16.

Мои школьные товарищи! Пареньки послевоенного времени. Они исчезли в тумане, растворились в дорожной пыли – сразу же после школы разъехались по всей стране, точно стая волчат, выпущенных на свободу. Припоминаю несколько школьных дней, но и они еле просматриваются, как выцветшие чернильные записи. Воспоминания – это след на воде от уплывшей рыбы, шум крыльев от улетевшей птицы, тепло от зашедшего солнца. Вот и друзья мои, молчаливые призраки, то подходят ко мне, то отходят. Так трудно их вызвать в теперешний мир. Чтобы просто обняться. Пусть даже не поговорить – хотя бы обняться.

От Аметьево до школы было три километра, мы со Славкой их проходили за полчаса. Одноклассники вечно над нами посмеивались: осенью, когда от дождей размывало тропы, мы приходили забрызганные грязью и долго отмывались в лужах, а зимой, прибежав в школу на лыжах, счищали подлип, стаскивали друг с друга валенки, из которых вываливались слежавшиеся лепёшки снега.

В классе я дружил со Стариком и Вишней. Старик, красивый, без всякой слащавости, подросток, жил с тёткой в двухэтажном деревянном доме. Отец Старика погиб на войне, мать после этого сошла с ума и постоянно лежала в психбольнице. Каждое воскресенье Лёвка навещался к ней, а в понедельник классный руководитель, не блещущая умом женщина, отзывала его в сторону и спрашивала:

– Узнала тебя мать или нет?

Старик с тёткой занимали верхний этаж, куда вела лестница со стёртыми ступенями. В одной комнате стояла мебель из грушевого дерева, в другой – печка, выложенная белым кафелем. Я любил тот захламленный дом с расшатанными дверями, с паутиной и липучками на окнах – он был какой-то обжитой, со множеством закутков. В доме жил старый сенбернар с седой мордой и мутными глазами; он, как телохранитель, провожал Старика до школы и встречал после занятий.

Старик был самым способным в классе, и, главное, нам всем не хватало его выдержки; всегда спокойный, он даже во время ссор не повышал голоса, и, соответственно, остальные говорили тише – одно его появление действовало отрезвляюще.

Сохранились две фотографии. На одной Старик и я в лыжном походе: стоим, обнявшись, замёрзшие, среди заснеженных елей; на другой – мы на рыбалке по колено в воде. Как ни силюсь, не могу припомнить те дни. Зимний лес предстаёт безжизненной декорацией, озеро – некой неподвижной студенистой средой, в которой застыли стеклянные рыбы и улитки; и подростки какие-то кукольные, вроде лубочных поделок, но не ярких, а однотонных, как бы под белёсым светом луны. Далеко не всё можно вернуть из прошлого.

Со Стариком сбегали с уроков, через туалет пролезали в кинотеатр «Вузовец» на трофейные фильмы: «Тарзан», «Долина гнева», «Охот-

ники за каучуком». Странное дело, несмотря на изоляцию от внешнего мира, эти ленты не просто наглядно показывали другую жизнь, но и вносили существенные поправки в официальные версии газет и радио, вселяли смуту в наши головы.

С Вишней мы сидели на одной парте. Его семья обитала в полуподвале недалеко от школы; половину маленькой комнаты занимал рояль. Отец Вишни ушёл из семьи к женщине, которая, как он сказал, «понимает» его. У матери Вишни была водянка; целыми днями она лежала у окна и читала с гримасой напряжения.

Старшая сестра Вишни Катя оканчивала музыкальное училище и давала уроки музыки. Невыдержанный Вишня часто затевал с сестрой перепалки, он считал себя главой семьи, поскольку являлся мужчиной и выполнял всю тяжёлую работу, а сестра, по его понятиям, всего лишь зарабатывала деньги, да ещё уроками, которые ей доставляли удовольствие. Вишню задевал назидательный тон сестры, которым она перечисляла, что следует ему, Вишне, сделать по дому. Если при этом присутствовали мы со Стариком, Вишня злился:

– Без тебя знаю, – обрезал он сестру и тихо добавлял: – Дура!

Катя преувеличенно снисходительно улыбалась и продолжала:

–...Ещё сходи на рынок, купи картошки и почисть её. Я приду, сварю суп. И тише возитесь, мама спит.

Она брала папку с нотами, прощалась с нами и выходила во двор. Красный от злости, Вишня открывал форточку и кричал ей вслед:

– А ты не русская!

– Ты что это кричишь, чертёнок! – приподнималась с постели мать Вишни. – Ты понимаешь, что ты кричишь?! Что ж это такое?! У всех дети как дети, а у меня не знаю что!

Раз в месяц Вишня ездил к отцу за деньгами. Как-то и я увязался с ним. Его отец жил у новой жены в центре города. Нам открыла молодая женщина и, источая добросердечие, проговорила:

– А-а, это ты, Толя! Ой, как ты подрос! А это твой приятель? Здравствуй! Много о тебе слышала. Так вот ты какой! Настоящий мужчина. Ну проходите, проходите.

Отец Вишни оказался мрачным, неразговорчивым; увидев нас, кивнул, закурил и вышел в коридор, а его жена усадила нас пить чай с печеньем.

– Как вам, мальчики, нравится у нас? Правда, красивый вид из окна? Белый кремль, башня Сююмбике?! И чай правда вкусный?! А хозяйка вам нравится? – она улыбнулась и вдруг обратилась ко мне: – А как Толина сестра? Говорят, она красивая?

– Очень, – кивнул я.

– А ты, Толя, как считаешь?

– Не очень.

– Почему же? – женщина засмеялась и угостила Вишню конфетой, а со мной больше не разговаривала.

Провожал нас отец Вишни; на лестнице сунул сыну конверт с деньгами и глухо буркнул:

– Как мать-то?

Вишня серьёзно занимался живописью, готовился поступать в художественное училище и регулярно со своими работами ходил на консультации к известному художнику.

Общение с Вишней было решающим моментом в моей судьбе. Он дал мне начальные уроки подлинного рисования, научил видеть натуру, отбрасывая всё несущественное и выявляя главное. За несколько бесед он открыл мне тайны, над которыми я бился не один год, которые мучительно пытался разгадать самостоятельно. С Вишней мы писали этюды, ходили на выставки картин в краеведческом музее.

В то время в меня вселилась какая-то непонятная тоска; я вдруг заметил, что у нас на окраине слишком однообразная, временами попросту скучная жизнь, и меня стало куда-то тянуть; я не осознавал, куда именно, и мучился от этого непонятного влечения. Видимо, срабатывали гены, зов предков – всё-таки они были горожанами, и может быть, давала о себе знать внутренняя связь с местом рождения. Меня стали тяготить унылые будни и даже тишина в посёлке; не раз после школы я уходил в город и бродил по шумным вечерним улицам. Как-то набрёл на публичную библиотеку, заглянул в зал, увидел занимающих-

ся студентов, подошёл к полкам с книгами и... наконец открыл для себя самое увлекательное занятие на свете – чтение.

Чуть позднее мы стали устраивать у Вишни чаепития; говорили о книгах и живописи, под конец чаепития мать Вишни просила Катю что-нибудь сыграть. Катя с улыбкой подходила к инструменту и играла Моцарта, Чайковского... И вот тогда я понял, к чему меня тянуло, к какой среде, к какому духовному общению.

## 17.

Из учителей запомнился историк Лев Иванович, всегда гладко выбритый, наутюженный. Многие учителя следовали чёткой программе, а Лев Иванович вёл урок в форме беседы, размышления. Он успевал дать и учебную тему, и рассказать о писателях и художниках той или иной страны. Это были лекции по общей культуре, необычное ассоциативное преподавание; мы узнавали, что создавалось у разных народов в одно и то же время. Развивая нашу интуицию, Лев Иванович советовался с нами, ставил задачи. Он отличался беспредельным пониманием наших душ: снисходительно относился к нашим закидонам и был терпелив, как всякий хороший учитель. Он учил нас не зубрить материал, а мыслить самостоятельно, проявлять инициативу и, главное, многочисленными примерами давал прекрасные уроки нравственности, направлял наши неясные устремления в нужное русло. Подобранный метод обучения приобщал нас к творчеству.

Много лет спустя приехав в Казань и узнав, что Лев Иванович ещё учительствует, я заглянул в школу.

Он сильно постарел, но по-прежнему всё спешил выговориться, по-больше рассказать ученикам. Меня «прекрасно помнил», крепко пожал руку, расспросил о жизни в столице.

Толстяк Игорь Петрович выглядел колоритно: пёстрый галстук, короткие брюки, жёлтые ботинки, да ещё лысый, с едкой усмешкой на лице. Он появился у нас в середине учебного года и стал вести фи-

зику и астрономию. Вообще-то он преподавал в институте, а в школу устроился по совместительству и сразу завёл институтские порядки.

– Можете на мои занятия не приходить. Мне всё равно, – объявил торжественно-загробным голосом. – Но спрашивать буду, пеняйте на себя!

На первом уроке по астрономии он сказал, что сейчас начертит схему Земли. Взял кусок мела, подошёл к доске и, вытянув руку, одним движением провёл огромный, идеально точный круг. Класс ахнул. Он обернулся и притворно вздёрнул брови:

– В чём дело? – и усмехнулся, довольный произведённым эффектом.

Потом повернулся и моментально, не отрывая мел от доски, рядом провёл второй круг, такой же точный. Посыпались вопросы.

– Всего лишь простор воображения и тренировки, дорогие мои, – поджимая губы, растолковал он. – Ежедневные тренировки в течение десяти лет, только и всего.

В тот день он поставил три двойки. Кого ни вызовет, небольшая ошибка – стоп!

– Идите на место, дорогой. В следующий раз сделайте одолжение, выучите этот пустяк.

На втором занятии он вкатил ещё штук пять двоек. Ему было всё равно, какие отметки ставили до него. Вызвал отличника Чиркина и за малейшую оплошность влепил двойку. Обстановка на его уроках накалилась. К директору зачастили родители, пришла комиссия из Отдела образования. Как правило, при комиссиях директор давал учителям указание: вызывать отличников, чтобы общий процент успеваемости выводил школу в передовые. А Игорь Петрович вёл урок как обычно, точно и не сидела на задних партах дюжина мужчин и женщин с блокнотами. Демонстрируя определённое мужество, он с неизменной усмешкой вызывал тех, кого давно не спрашивал, и ставил двойки. Многие считали его завышенные требования садизмом, но он добился своего – к окончанию учёбы мы все хорошо знали физику и астрономию. В аттестаты он поставил только четвёрки и пятёрки.

Химию и биологию преподавала спокойная, добродушная женщина с усами, в которую был влюблён учитель математики, бывший артил-

лерист, всегда немного выпивший, но державшийся артистично, напоказ, точно перед кинокамерой. Про этот безгрешный роман знала вся школа. Частенько кто-нибудь из учеников, как бы невзначай, спрашивал у химички про математика, и та краснела и сбивчиво тараторила:

– Не говорите глупостей.

Когда же про химичку намекали артиллеристу-математику, он надувался и бурчал:

– Это к делу не относится... как и многое другое. Перед вами здесь учились одни – курили, с уроков сбежали, но учителей уважали...

Он начинал урок с того, что вызывал к доске какого-нибудь отличника вроде Чиркина:

– Давай решай задачу, ты у меня молоток.

Сам подходил к окну и смотрел, как на пришкольном участке химичка с учениками разбивала грядки. Чиркин решит задачу, математик посмотрит на доску.

– Молоток! Давай иди на участок. Помогай.

Он преподавал и в младших классах. Там на его уроках стояла невероятная стрельба из рогаток, но он её не замечал, только время от времени доставал из кармана пузырёк и, сделав глоток, мрачно пояснял:

– Не подумайте дурного. От сердца!

По совместительству он преподавал и в женской школе. Как-то при мне на улице к нему подбежала одна девчонка:

– Спросите меня. Я хочу исправить отметку. Обещаете?

– Я женщинам никогда ничего не обещаю, – он повёл в воздухе рукой и подмигнул мне, как бы в поддержку своего остроумия.

У нас был на редкость предприимчивый директор. Он сумел отвоевать у соседнего предприятия приличную территорию под спортивную площадку и пришкольный сад; на какой-то автобазе выхлопотал допотопную полуторку завозить дрова для отопления школы; на сэкономленные деньги, выделенные на ремонт школы, купил эмку, как бы для выездов в Отдел образования, на самом деле шофёр развозил его и завуча по домам.

Наш завуч был жёстким человеком, замкнутым и неприступным; ученики называли его «дубоватым». Завуч особенно нажимал на нор-

мы БГТО и ГТО, сам инспектировал начальную военную подготовку, сам ставил отметки в журнал – всегда одни тройки: «три», «три с плюсом», «три с минусом». Тем не менее благодаря завучу мы делали основательную физзарядку и в конце концов почти все получили значки, которыми гордились, как орденами.

А в «дубоватости» завуча я убедился случайно – однажды услышал, как он сказал нашему историку:

– Что вы расхваливаете итальянцев? Не понимаю, как можно столько говорить о чуждой нам культуре!

– Потрудитесь выучить итальянский, и тогда вам станет понятно, – усмехнулся Лев Иванович.

Известное дело – невежественный человек всегда ненавидит то, чего не понимает.

Как ни натягивали отметки учителя, наш директор так и не смог вывести школу в передовые по успеваемости. Тогда он взял и ввёл новшество – установил в классах кафедры, а уж здесь-то мы точно переплюнули все школы.

С годами учебные дела совсем перестали интересовать директора, он их полностью свалил на завуча. Сам осуществлял «общее руководство», неустанно вводил новшества и говорил о наших «неограниченных возможностях». Во всех школах самым грозным наказанием считалось «доложу директору», у нас – «пойдёшь к завучу».

Директор создал и наш школьный хор. Позднее хоры появились во многих школах, но первый появился в нашей. Для музыкальных занятий пригласили бывшего оперного певца Анатолия Васильевича, человека страстного, энергичного, сумевшего нас увлечь хоровым пением... Я никогда не забуду наших репетиций и выступлений, и его, Анатолия Васильевича. Он не дирижировал, а прямо-таки священнодействовал – на глазах свершалась оптическая иллюзия: от напора звуков стены класса раздвигались, и песня вырывалась на улицу, останавливая, завораживая прохожих. Трудно передать ту возвышенную, приподнятую атмосферу, то состояние, когда в многоголосье ощущаешь себя важным нервом единого большого организма...

Наш хор действительно звучал неплохо; мы даже несколько раз выступали по городскому радио и тем самым прославили свою школу. Помнится, некоторые наши солисты (в том числе и отличник Чиркин) не на шутку возгордились, почувствовали себя масштабными фигурами. Но на наш выпускной вечер Анатолий Васильевич пришёл с женой, тоже певицей, и они так пели дуэты из оперетт, что сразу стала понятна разница между способностями и талантом. После выступления супругов ко мне подошёл Чиркин и сникшим голосом сказал:

– Так я не смогу спеть никогда.

Понятно, в подростковом возрасте часто меняется самооценка; достаточно какого-либо случая, чтобы разувериться в себе или, наоборот, – почувствовать могущество. По слухам, Чиркин всё же стал певцом, и довольно известным.

Кстати, на том вечере, вернее, когда мы со Стариком и Вишней сбежали с него, я впервые выпил водки. Мы купили бутылку в магазине и распили её в школьном саду. Домой я пришёл вдрызг пьяный. Мать перепугалась, а отец с профессиональным спокойствием вывел меня во двор и «протравил» марганцовкой; потом помог раздеться и лечь в постель, а матери дал рецепт для похмелки:

– Утром неплохо бы ему крепкого чая.

На следующий день отец прочитал мне серьёзную лекцию о вреде пьянства и в заключение сказал:

–...Больше всего ты огорчишь меня, если пристрастишься к вину. Возьмёшь худшее от своего отца.

К сожалению, именно это я и взял. К положительным качествам отца только приближался, но и приблизившись, сравнивая себя с ним, видел, что мне до него ещё далеко: там, где я заканчивал, отец только начинал.

## 18.

Вот выплывают из тумана дом, терраса, сарай, пристройка, еле различимые, ещё неконкретные предметы. Возникнет что-то, качается,

зыбкое, – нет, кажется, было не то; появляется другое – вроде близкое к реальности, плывёт в сторону, встаёт на свое место, вырисовывается отчётливей, обрастает деталями. Из земли, точно из пара, вырастают деревья, отцветают, и вот уже светятся, как лампочки, тёмно-красные вишни. Быстро вымахали до человеческого роста кусты крыжовника, и повисли прозрачные ягоды. В палисаднике буйно полезли цветы, поглотили забор, стол и скамейку в саду; на террасу двинулись вьюнки – разрастаются, скрывают весь дом. От цветов нет спасения, на их терпкий запах летят жуки со всей окрестности.

Когда я перешёл в девятый класс, рядом с нашим посёлком построили четыре двухэтажных дома из бруса и в округе появились новые поселенцы. Вечерами они прогуливались по посёлку, заглядывали в палисадники. Помню, гуляла странная женщина лет сорока, она густо красилась, и одевалась на какой-то старомодный лад, и, когда вышагивала по дороге, крутила в пальцах прядь волос; в её ломаной, вычурной походке виднелось желание покрасоваться, отчаянные потуги на изящество. Она напевала весёлые мотивчики, в которых проскальзывали запрещённые для наших ушей слова, такие как «любовники», «хахаль», «кряля». Это было оскорблением поселковых норм приличия. Заметив кого-нибудь из парней, женщина заговаривала по-соседски о будничных делах, но потом вскользь намекала на своё одиночество. Кое-кто называл её «женщиной вечерних профессий» и «угрозой семье», но позднее я понял, что она действительно одинока, ведь половина мужчин её возраста погибла на фронте, а остальные были женаты, и ей ничего не оставалось, как искать знакомств с людьми моложе себя.

А на нашей волейбольной площадке появилось совершенно замечательное существо – четырнадцатилетняя девчужка, невероятно худая, в светлом ситцевом платье. У неё были прямые чёрные волосы и серые глаза. Только увидел её на площадке – стало жарко. Она была опрятна и приветлива, говорила мало и тихо и, несмотря на невероятную худобу, блестяще играла в волейбол – казалось невозможным так сильно посылать мяч тонкой рукой. Её звали Галя.

Эта Галя ни днём, ни ночью не выходила у меня из головы, в те дни я только из-за неё и приходил на площадку, а если она не появлялась,

игра для меня теряла смысл. Но, когда она играла, в меня вселялся чёрт, я не прощал ей ни малейшего промаха. Бывало, покрикиваю на неё (правда, приличествующим тоном), а она улыбается и смотрит на меня просто и нежно. Она неприкрыто романтизировала меня. В ней было врождённое благородство, утончённость и великодушие – качества высшего порядка, не достигаемые для меня. Я помню точно, мне всё время хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но было стыдно проявлять свои чувства.

Однажды поселковые ребята и девчонки отправились купаться на Казанку. И она пошла с нами. Я не показывал вида, но украдкой наблюдал за ней: и как она разговаривала с девчонками, и как вбегала в воду, и как плавала.

– Ты прекрасно играешь в волейбол, – сказала она мне на обратном пути, и это признание сразу придало мне невероятные силы; её разящая искренность моментально обезоружила меня.

Нормальный парень не мог не влюбиться, если ему говорили такие вещи. Как-то само собой мы ушли вперёд, и ребята не окликали нас. Впоследствии это наше уединение получило широкую огласку, причём с невероятными добавлениями, но мне уже было всё равно... Мы не заметили, как миновали посёлок, Клыковку и очутились в парке Горького. Заглянули в избу-читальню, полистали журналы, сбегали к фонтану, где из пасти дельфина вырывалась длинная струя воды, прокатились на маленькой бесплатной карусели. Был жаркий день, и мы то и дело подбегали к киоску и пили газировку. Шипящая вода приятно обжигала горло, покалывала ноздри. У Гали искрились глаза, она смеялась и, обливаясь, продолжала пить воду. А я совсем обалдел от её смеха и от запаха её загорелой кожи; у меня кружилась голова, я что-то бормотал заплетающимся языком и ничего не понимал, что говорила Галя, только видел её смеющийся рот... За свою жизнь я перепробовал всякие напитки, и в немалом количестве, и, бывало, выпивал с симпатичными, даже красивыми женщинами, но никогда не пьянел так сильно, как в тот день от простой газировки.

А потом аллеи заполнились отдыхающими, и мы услышали, как на открытой эстраде заиграл оркестр. Перебежали газон и увидели

ряды скамеек, заполненные слушателями, а ещё дальше – эстраду, на которой играл духовой оркестр.

Мы пробрались к самой эстраде. Из семи музыкантов пять дули в медные трубы. Особенно старался один, игравший на тубе, похожей на гигантскую сверкающую раковину, – он сильно раздувал щёки, краснел от натуги. Барабанщик тоже неистово лупил в барабаны – казалось, хотел устроить как можно больше грохота: закатывал глаза, стискивал зубы и наносил один удар за другим... Шесть музыкантов играли так, словно выполняли тяжёлую работу, и только седьмой – трубач – играл необыкновенно легко. Это был полный парень с взлохмаченными волосами, которые всё время спадали на лоб, и парень то и дело встряхивал головой. Он стоял впереди всех, высоко держал трубу и без малейших усилий, даже чуть небрежно перебирал пальцами клапаны, при этом уголки его губ подрагивали от улыбки. Звук трубы тонул в общем грохоте оркестра, только иногда, в паузах, когда оркестранты на секунды смолкали (как мне казалось, чтобы отдышаться, а потом ещё больше оглушить), слышались нежные звуки.

Закончив соло, трубач улыбался, благодарил слушателей за аплодисменты, прикладывая руку к груди, и, поправляя волосы, отходил в глубину сцены.

Он нам сразу понравился, с первой минуты, как только мы его увидели. И он нас заметил тоже. Отыграв последнюю вещь, даже подмигнул нам, а сходя с эстрады по ступеням, шепнул:

– Приходите завтра в это же время, поиграю только для вас.

На следующий день мы с Галей опять пришли в парк, но на эстраде оркестра не было. Мы уже хотели повернуть назад, как вдруг в глубине сцены увидели трубача. Он репетировал какую-то вещь. Заметив нас, улыбнулся, подошёл к краю эстрады, присел на корточки.

– А-а! Мои влюблённые!

Его слова произвели должное впечатление. Мне стало и приятно, и неловко, я покраснел, а Галя только улыбнулась. Музыкант поздоровался с нами за руку, спросил, как нас зовут.

– Вы мне сразу понравились, – сказал. – Вы слушаете по-настоящему.

Мы с Галей попросили его сыграть знакомую мелодию, потом ещё одну. И он не отказывался, играл всё, что бы мы ни попросили.

– А почему вы играете здесь, а не дома? – спросила Галя.

– Дома у меня больная мать... Но ничего! Настоящий музыкант никогда не унывает. Я вообще-то работаю лаборантом, а по вечерам учусь в музыкальном училище. А в парке это я так, подрабатываю. Но скоро буду играть в большом оркестре... А сейчас это так, временные неудачи, – он подмигнул и запел что-то зажигательное.

Мы с Галей заходили в парк ещё раза два, но трубача больше не видели. «Наверно, поступил в большой оркестр», – решили мы. А потом начались занятия в школе, и нам с Галей стало не до прогулок.

Но однажды поздней осенью мы всё же заглянули в парк и внезапно, ещё издали, услышали знакомые звуки.

Он стоял на эстраде в пальто, перевязанном у воротника шарфом, и играл. Перед ним были пустынные ряды, но он играл так сосредоточенно, как будто выступал на концерте. Заметив нас, помахал рукой, а когда мы подошли, торопливо сказал:

– Куда же вы пропали? Сколько приходил, вас всё нет и нет.

– А мы решили, – начал я, – вы играете в большом оркестре.

– Нет, пока не играю. Но послушайте, какую я пьеску сочинил. Специально для таких, как вы, влюблённых. Вот только ещё название не придумал...

Он высоко поднял трубу и заиграл, как прежде, тихо, легко и красиво.

К выходу из парка мы шли втроем. Мы шли мимо карусели, перевязанной цепью, мимо засыпанного листьями фонтана, мимо заколоченной читальни; шли через пустынный парк, и мне и Гале было необыкновенно радостно, оттого что рядом с нами был этот замечательный человек.

Подходя к посёлку, мы с Галей встретили Славку.

– Иди помоги своему отцу добраться до дома, – буркнул он и махнул в сторону будки стрелочника. – Он лежит там, у семафора.

Галя ничего не поняла, а я сразу догадался, что отец пьян.

– Ты иди, – густо краснея, сказал я своей спутнице и свернул к железной дороге.

– Я с тобой! – Галя догнала меня.

Отец лежал на склоне оврага, рядом в пыли валялись его очки.

Это был первый случай, когда отец не дошёл до дома; тот случай сильно поразил меня, я понял, что отец серьёзно болен. Помню, как тормозил его, помогал подняться и готов был провалиться сквозь землю от стыда перед Галей. Но она, молодчина, ничуть не смущаясь, помогала мне, отряхивала костюм отца.

Через несколько дней Галя с родителями уехала в другой город, куда-то на юг, и больше мы не виделись...

Многое время отсекло, но вот надо же! Ни с того ни с сего всё чаще я стал видеть тонкую черноволосую девчушку. Она являлась неожиданно: стояла, смотрела на меня и улыбалась. Я вспоминал нашу застенчивую дружбу, и в груди начинало что-то щемить. Хотелось встретиться с ней, поговорить. Какой она стала, как сложилась её жизнь? Может, тоже вспоминала обо мне?! Ведь она была чувствительная, тонкая. И главное, между нами сразу возникло таинственное притяжение, нас связали какие-то невидимые нити. Это не так часто бывает. Наверно, они, эти нити, связывали меня с ней всю жизнь, и кто знает, вдруг последнее время они снова натянулись, и за тысячу километров отсюда она почувствовала, что я думаю о ней.

Сейчас я нередко встречаю влюблённых: идут обнявшись, размахивая магнитофоном, и с осоловелыми лицами, со жвачкой во рту слушают резкий набор звуков. Идут и молчат. Похоже, им не о чем говорить. Только изредка перебрасываются жаргонными словечками. Наверно, так проще, я не знаю. Я только догадываюсь об их бедном словарном запасе, убогой внутренней культуре; догадываюсь, о чём они думают, слушая эти антимилодии...

Быть может, я просто старею, и мне уже не угнаться за современным бешеным ритмом. Быть может, и нет ничего плохого, что теперь отношения между молодыми людьми стали более конкретными, без всяких условностей. Я точно ещё не разобрался, что лучше: то наше простодушие или свойственная теперешней молодёжи уверенность

в себе. Но я вспоминаю свою юность, пятидесятые годы, и как мы, трое парней, плыли на надувной лодке по вечерней Оке. Где-то под Серпуховым пристали к берегу, чтобы разбить палатку, и вдруг услышали звуки аккордеона – кто-то замечательно играл популярную в то время песню Лолиты Торрес. Раздвинув кусты, мы увидели сидящую на берегу девушку, перед ней стоял парень и вдохновенно, запрокинув голову в небо, перебирал пальцами клавиатуру инструмента; захватывающая мелодия лилась над всем притихшим вечерним пространством. Так в моё время объяснялись в любви.

Те мелодии, те романтические влюблённые до сих пор согревают мою душу. И хочется верить, что и сейчас всё-таки существуют настоящие, чистые чувства. Ведь в конечном счёте в жизни всё построено на любви. На любви к природе и животным, к работе и увлечениям и, естественно, на любви двух людей. Хочется верить, что эта любовь всё же возьмёт верх над жестокостью.

И ещё: я заметил – в обществе происходит определённая цикличность идеалов, и рано или поздно будет возврат к старым нравственным ценностям, к старой морали и семейному укладу. Молодёжь станет менее цинична и более сентиментальна, к ней вернётся идея романтической любви. Не случайно даже в искусстве уже появился стиль ретро.

...Я вот-вот должен был окончить школу. Мать всегда хотела, чтобы я пошёл по стопам отца, поступил в авиационный институт. Отец долгое время не спешил определять моё будущее, пускал всё на самотёк:

– Сам решит, кем быть... Призвание рано или поздно даст о себе знать. Пусть пока познаёт жизнь, набирается опыта.

Но, когда я окончил десятилетку, сказал:

– Мне кажется, из тебя вышел бы неплохой художник.

Я тоже так считал и даже подумывал, что отец принижает мои возможности. Я решил поехать в Москву, поступать в художественное училище. Мать одобрила моё решение.

– Поезжай. Я уверена, ты поступишь. А как только мы выплатим за дом, тоже приедем, вернёмся на родину.

Получив аттестат зрелости, я сложил в папку рисунки, мать дала денег на дорогу и как напутствие сказала:

– Я верю в тебя, ты пробьёшься... Ты энергичный. Весь в меня.

Мать явно преувеличивала. Конечно, мне передалась её энергия, но в гораздо меньшем объёме, чем она думала.

Меня провожал отец. Он стоял на платформе в изношенном пальто и, явно испытывая чувство неловкости, непрестанно курил папиросу.

– Уж ты прости меня, если что было не так. Что я... выпиваю. Может, я сам виноват, может, война... Уж ты не сердись на отца. Знай, я очень хотел бы, чтобы ты в нашей семье получил высшее образование, – он крепко обнял меня, поцеловал в щёку, небритый, пахнувший табаком. – Будь счастлив!

Поезд давно покинул привокзальное полотно, а он всё стоял на платформе и махал мне кепкой. Таким я и запомнил его.

...Рушится картина Аметьево, распадаются детали, сползают, увядают цветы, обнажая наш дом, террасу, стол и скамейку в саду. Дом уменьшается, исчезают листья деревьев, скрываются под землёй стволы. Наплывает сизая муть, обволакивая сарай и пристройки. Мои родные становятся крохотными, они улыбаются, машут мне руками и растворяются в дымке.

*1975 г.*



**ВПЕРЕД, БЕЗУМЦЫ!**



Кому не позавидуешь, так это безумцам – кто, как не они, доставляют массу неприятностей окружающим, и прежде всего самим себе? Ну не безрассудство ли отказаться от благополучного настоящего и многообещающего будущего, забросить родных, друзей, привязанности и ринуться в неизвестность – уехать в огромный шумный город, где нет ни пристанища, ни знакомых? Благоразумие подсказывает: сумасбродство чистой воды. Тем не менее я был одним из таких взбалмошных оригиналов: после окончания школы в захолустном посёлке под Казанью вздумал – с некоторым вызовом – катануть в Москву и – вот шальная голова! – решил без специальной подготовки поступать в художественное училище.

Доехав до столицы, я вышел на привокзальную площадь и остановился, ошеломлённый гулом большого города. Взад-вперёд сновали прохожие, катили тележки носильщики, лоточницы предлагали цветы, мороженое, цыганки бесцеремонно совали в руки парфюмерию.

Был обычный летний день, наступала жара, и столбик термометра на вокзале неумолимо поднимался к новым высотам. Я стоял на площади со связкой рисунков и десятью рублями в кармане и не знал, куда податься, – в городе не было ни одного знакомого; где-то на Фрунзенской набережной обитала тётка, но со времён войны она ни разу не ответила на письма моей матери; на всякий случай решил её разыскать. «Вперёд!» – сказал себе и вошёл в метро. И вновь застыл, поражённый – передо мной открылся яркий сверкающий мир: залы с колоннами и мозаикой, множество лестниц, переходов, голубые поезда.

Я представлял москвичей предупредительными, вежливыми, но на эскалаторе сразу получил толчок в спину:

– Встань справа!

В вагоне никому не было дела до какого-то приезжего парня, но мне казалось, все только и разглядывают мою кургузую одежду, драные ботинки – чувствовал себя прямо-таки чучелом.

Вышел на станции «Парк культуры», и вновь перехватило дыхание – Крымский мост и Комсомольский проспект подавляли своим величием. «Как бы не спятить от впечатлений, – мелькнула в голове

не совсем собранная мысль, но я тут же взял себя в руки. – Не раскисай! Держись! Вперёд!»

Тётка жила по прежнему адресу в девятиметровой комнате; каким-то сверхъестественным образом в крохотной комнате помещалась металлическая кровать с блестящими шарами на стойках, стол, два стула, трюмо и массивный шкаф, в нижнем отделении которого лежала одежда, в верхнем – посуда; на подоконнике теснились горшки с цветами, стены украшали тёткины вышивки-аппликации, на трюмо среди флаконов и коробок возвышалась чёрная тарелка репродуктора, который, как я заметил позднее, никогда не выключался.

– Он у меня вместо будильника, – объяснила тётка. – Да и как-то веселее с ним. А Фёдор всё равно глухой.

Тётка накормила меня, расспросила о родных, посмотрела рисунки и один взяла себе то ли как подарок, то ли как аванс за проживание. С работы пришёл её муж Фёдор, кивнул мне, буркнул что-то, выпил в один приём стакан водки, поставленный тёткой на стол; громко чавкая, съел миску супа и завалился спать. Мы с тёткой ещё поговорили немного, потом она расстелила мне матрац под столом и погасила свет.

В квартире не было ни ванной, ни горячей воды, но на кухне красовалась эмалированная раковина с латунным краном, а на полке лежало душистое туалетное мыло (в посёлке ходили за водой на колонку и пользовались мылом хозяйственным). На кухне впритык друг к другу стояло три стола – по числу семей в квартире, плита с газовыми горелками и счётчиком у потолка. Коридор был тёмный, со множеством вешалок, чемоданов и коробок, с синей лампой над входной дверью и чудом техники на стене – телефоном.

Утром к умывальнику выстроилась очередь. Дольше всех плескался мужчина в подтяжках. Вымывшись, он ещё минут пять перед зеркалом выдавливал прыщи, зачёсывал волосы на лысину; потом подал условный сигнал – постучал в стену и, когда к умывальнику подошла полногрудая гибкая женщина с огненно-рыжими волосами, объявил возмущенной очереди:

– Мадам занимала за мной, так-то.

У «мадам» была такая большая грудь, что, когда мы столкнулись в проёме двери, мне пришлось наклониться, чтобы пройти в тёткину комнату.

– Жуткий тип, этот лысый, – объяснила мне тётка. – Люди на работу опаздывают, а он нарочно долго плещется. Он член домового комитета и строит из себя большого начальника. А я возьму и выступлю на собрании, и его турнут оттуда как миленького. А его фифочка вообще нахалка, каких свет не видел. Ей-то куда спешить?! Она ведь не работает. Сейчас умоет свою рожу и снова завалится. Полдня валяется на тахте, журналы листает. Да ещё похудеть хочет! Корова! В своё дежурство даже квартиру не убирает – муженька заставляет. Как тебе это нравится?! Да ещё у меня подсолнечное масло отливает... Он идиот, и она идиотка, хорошая парочка. На ком же, как не на идиотке, жениться идиоту, кто его лучше поймёт?

Как только жильцы ушли на работу, в тёткину комнату постучала жена члена домкома; она вошла в полупрозрачном платье ядовито-зелёного цвета.

– Можно? Хочу познакомиться с племянником Ксении Фёдоровны... Я вижу, вы симпатичный молодой человек, думаю, мы будем друзьями. Приходите к нам смотреть телевизор (у них был чуть ли не единственный в доме телевизор с линзой).

Она села на кровать, замедленно провела рукой по огненно-рыжей гриве, представилась, расспросила, откуда я и зачем, похвалила рисунки, попросила нарисовать ей букет цветов.

– Я тоже в юности должна была стать художницей или актрисой... Я артистическая натура, но рано вышла замуж за чёрствого человека и погубила все свои таланты. Он, увы, оказался посредственностью. У него голова только для того, чтобы носить шляпу. В жизни сплошь и рядом королева живёт с водопроводчиком и... – она, видимо, хотела сказать: «и наоборот, король с кухаркой», но подумала, что такого всё-таки не бывает.

– Вообще-то у меня удобный муж. Ни в чём меня не стесняет, – она улыбнулась и, как бы невзначай, расстегнула верхнюю пуговицу платья – её груди почти вывалились наружу.

Меня прямо обожгло; в страшном волнении я опустил голову.

– Ведь всегда так: кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить, – она откинулась на стойку кровати. – Так вот, мой муж сразу был поставлен в известность, что я только позволяю... Ведь женщина без любви увядает...

– Вы не знаете, где в Москве художественные училища? – спросил я.

– Это можно узнать в справочном бюро. Вы не спешите. Отдохните с недельку, – она потянулась, давая понять, что готова скрасить мой отдых.

– Но уже открылись подготовительные курсы... И потом тётя сказала, нужно идти в милицию, оформить гостевую прописку (такие нелепые правила существуют до сих пор).

– Идите, – она поджала губы, удивляясь скудности моего умственного багажа. – А что касается вашей тётки, то папиросы и спиртное увеличивают её агрессивность, – она хмыкнула и, тряхнув гривой, вышла из комнаты.

По словам тётки, «фифочка» была не только «первостепенной лентяйкой», но и «дурёхой с претензиями».

–...Изо всех сил подражает актрисам, ежедневно меняет платья, одно нелепее другого, омолаживает лицо льдом.

Тётка рассказала, что во время войны «фифочка» приводила к ней разных женщин и просила погадать на их мужей, которые были на фронте. Надо сказать, тётка любила карты и гадала всем, кто бы ни просил, и никогда не брала за гадание денег – очевидно, рассматривала свою способность как драгоценный дар, посланный небом, и надеялась за бескорыстие получить определённое божье вознаграждение (гадала тётка и по руке и не без гордости показывала свои ладони, испещрённые линиями, как топографические карты, что, по её словам, говорило о «сложной жизни»). Тётка гадала, как никто другой, все её предсказания имели благополучный исход – эта особенность и притягивала женщин. Мне тётка сразу нагадала, что поступлю в училище, и, кажется, я настолько в это поверил, что перестал готовиться к экзаменам (но всё-таки через неделю одумался). После войны

добросердечной тётке досталось: при встрече многие поносили её за неправильное гадание. Вдобавок она узнала, что «фифочка» брала деньги с её клиенток.

В квартире жила ещё семья шофёра скорой помощи, которого звали Бордюк, – он частенько употреблял это слово как ругательство; впрочем, кажется, просто не знал его значения, как и многих других слов, потому что однажды спросил меня:

– Вот у вас будильник называется «Аллегро». Это кто такой?

Жену лысого шофёра называл «волнительной женщиной» – «разволнует и уйдёт». Лысый, в свою очередь, жульнически-вкрадчиво следил за женой шофёра и называл её «Красная Шапочка» (она действительно по квартире ходила в вязаной шапочке).

– Интересно, – поделился он со мной, – снимает она её на ночь или так и спит в ней?

Оба мужчины проявляли жгучий интерес к жёнам друг друга, и у меня мелькнула захватывающая идея – чего бы им не поменяться благоверными?

Меня прописали у тётки на два месяца, как гостя, и я, бесшабашный, подал заявление в лучшее художественное училище на Сретенке (нет чтобы выбрать что-то попроще). Стал готовиться к экзаменам: писал маслом натюрморты, изучал импрессионистов в Музее им. Пушкина, ездил на станции Левобережная и Фирсановка на этюды (Фёдор сказал: «Там красивые берёзы»).

В последних классах школы я рисовал много, но профессиональной подготовки не получил, и в моих этюдах сказывался рыхлый рисунок и боязнь цвета; этюды выглядели зализанными, замученными, беспомощными – явно не хватало ремесла.

Тётка вела монотонный (попросту унылый) образ жизни: больше двадцати лет работала упаковщицей на кондитерской фабрике «Ударница»; двадцать лет пребывала на одном и том же маршруте – дом, фабрика, магазин; за двадцать лет ни разу не выбралась на природу, не видела ни восхода, ни захода солнца и только один раз была в театре; правда, фильмы изредка смотрела в кинотеатре «Отдых», благо он находился в соседнем доме. За время моего проживания у неё тётка

два раза ходила в «Отдых» (смотрела какие-то индийские мелодрамы) и оба раза возвращалась жутко расстроенная:

– ...Она его так любила, а он оказался негодяем, бросил её. Вот вы все, мужчины, такие!

Мне приходилось отдуваться за всё мужское население.

Тётка выпивала. Позднее я узнал, что она начала выпивать ещё в молодости от несчастной любви к какому-то врачу; будто бы этот врач бросил её, «очень красивую и очень порядочную» (слова моей матери). С отчаяния тётка вышла замуж за Фёдора, парня из деревни, прописала его у себя, устроила проходчиком в шахту метрополитена.

Тётка пила втихомолку и думала, что ловко скрывает порочную наклонность; она и слышать не хотела о своей болезни, ругала «разных опустившихся пьяниц» – возмущалась теми, кто «валяется на клумбах», но в душе радовалась, что кто-то пьёт больше и «безобразней», чем она. Без четвертинки из магазина тётка не возвращалась. После работы она некоторое время колготилась на кухне, где между соседями постоянно происходили стычки, и тётка принимала в них самое активное участие, потом, разгорячённая, входила в комнату и, сославшись на усталость, ложилась на кровать, а через пять минут, нетерпеливо шмыгая носом, просила меня взглянуть, «как там супчик».

– Тётъ, ты же его только поставила, – удивлялся я.

– Иди, иди, не ленись, а то ещё фифочка что-нибудь подсыпет (жена члена домкома всё грозила заявить в милицию о том, что тётка появляется на кухне в нетрезвом виде).

Закрывая дверь, я краем глаза замечал, как моя тучная тётка с невероятной скоростью устремлялась к шкафу, слышался звон, бульканье, криканье. Когда я входил в комнату, тётка уже вновь лежала на кровати и заплетающимся языком объясняла:

– ...Давление что-то поднялось.

Но через десять минут снова просила меня «посмотреть супчик» и опять вскакивала и спешила к шкафу.

Тяжёлая работа на фабрике и жизнь с нелюбимым мужем («человеком, у которого на ладонях нет линий, то есть пустая жизнь») загубили в тётке все стремления и способности. Как и жена члена домкома, тёт-

ка считала мужа себе «не парой», но, в отличие от той бездельницы, так считала обоснованно – великолепные вышивки гладью и аппликации свидетельствовали о её одарённости. Со временем в близлежащих магазинах тётке перестали продавать водку (возможно, по настоянию соседки), и, бывало, она посылала меня.

– Сходи в продовольственный, соль забыла купить. Да возьми и четвертинку. Фёдор придёт, будет ворчать, что не купила... Нет! Пстой! Возьми уж пол-литра, всё равно завтра идти.

Иногда, выпив, тётка не ложилась на кровать, а распахивала окно и, закрыв глаза, подолгу вдыхала свежий воздух. Первое время я думал, у неё действительно повышенное давление, но потом заметил, что она и перед сном совершает этот ритуал уже в ночной рубашке. В один из таких моментов я случайно взглянул на улицу и увидел в окне противоположного дома седовласого мужчину – он сосредоточенно наводил бинокль на мою ещё достаточно привлекательную родственницу. Я не выдержал и показал ему из-за тёткиной спины кукиш.

На ночь тётка красилась, пудрилась, душилась духами. Заметив эти приготовления, я спросил:

– Теть, ты куда?

– Никуда. Спать.

У неё была навязчивая идея, что она умрёт во сне, и ей хотелось выглядеть красивой после смерти.

По утрам тётка подолгу приходила в себя и от выпитого накануне, и от ошеломляющих снов, которые она серьёзно и тщательно разгадывала и пересказывала соседям.

Говорили, в первые годы супружества Фёдор не пил и не курил, но со временем тётка сделала из него стойкого собутыльника и заядлого курильщика. При мне тётка не раз к нему обращалась:

– Что сидишь мрачный? Небось, выпить хочешь? (а Фёдор читал вечерку и не думал о выпивке). – Ладно уж, племянник, сбегай в продовольственный.

Фёдор ворчал и уходил на кухню, но, когда я приносил водку, тётка приводила его в комнату и они выпивали. Наливали и мне, и я делал глоток за компанию, хотя вскоре, дуралей, стал делать и два, и три

глотка, и неизвестно, чем бы это кончилось (с моей-то удалью!), если бы задержался у тётки надолго.

Кстати, в той квартире и остальные мужчины выпивали, правда, лысый только по воскресеньям (говорил, обладает невероятной силой воли), а шофёр и в будни, причём делал заначки: прятал от жены четвертинки по всей квартире. Позднее я находил их в самом неподходящем месте: раз в туалете дёрнул цепочку, а вода не спускается. Заглянул в бачок, а там четвертинка. Я отдал её тетке, а на следующий день шофёр у всех допытывался:

– ...А кто сегодня делал уборку? – и дальше, с возрастающим волнением: – А в туалете ничего такого не видели? Вот бордюры! Ну и народ пошёл!

После того случая шофёр стал дублировать заначки и делать отметины на стенах на случай забывчивости. Бывало, вечером на кухне что-нибудь упадёт, все высказывают, и начинается: женщины поносят тётку, шофёр спешит проверить, цела ли заначка, лысый пялится на «Красную Шапочку» и, как бы пытаясь её успокоить, обнимает за бёдра – или всё это в другой последовательности.

Для меня кухня была бесплатным аттракционом, для мужской части квартиры – клубом, для женской – неким полигоном, где каждая из соседок оттачивала словесное оружие, нащупывала пути к разгрому соперниц и действовала в силу своего духа; уровень шума на полигоне напрямую зависел от настроения соседок и количества спиртного, принятого тем или иным соседом.

Тёткина коммуналка – моё первое открытие, открытие того, как люди умеют отравлять жизнь друг другу. Я наивно представлял столичные квартиры благочестивым «высшим светом», а окунулся в «болото» с заурядными скандалами. Особенно контрастно коммуналка смотрелась на фоне живописных фасадов домов, набережной, Крымского моста – так что здесь было над чем задуматься. Кажется, тогда я впервые понял неоднородность бытия, вечное противоборство добра и зла, но ещё не уловил правильного соотношения сил.

По вечерам я бродил по набережной до водного стадиона «Динамо», на котором висел идиотский плакат: «Все мировые рекорды

должны принадлежать спортсменам СССР», или шёл по Метростроевской до станции метро «Кропоткинская» и дальше по бульварам до Арбата...

Прогуливаясь, я сделал второе открытие: москвичи настолько привыкли к красоте своего города, что не замечают её: все несутся куда-то, что ни спросишь – отмахиваются; а приезжие, с их обострённым восприятием новизны, внимательны к каждому переулку, к каждому дому и часто от избытка чувств интересно выражают свои впечатления.

Ходил я и по другим близлежащим улицам, чаще других – по Пироговской до Новодевичьего монастыря; там находилось несколько институтов; студенты сидели в скверах, толпились у киосков; я подходил к ним, прислушивался к их разговорам – эти разговоры сами по себе имели для меня огромную ценность, они показывали уровень общения, о котором я только мечтал.

Там, на Пироговке, я сделал третье, самое важное открытие – понял, почему меня тянуло в Москву – её ритм соответствовал моему необузданному темпераменту, в ней сосредоточено всё то, чего мне не хватало в захолустном посёлке. Я понял, что только в этом городе смогу найти себя и реализоваться, и мне не терпелось вжиться в новую обстановку, обзавестись знакомыми. «Вперёд!» – то и дело подбадривал я себя.

Третье открытие было самым значительным ещё и потому, что среди студентов, к которым я тянулся, было много красивых девушек, таинственных и недосыгаемых; из-за этих девушек я совсем потерял голову: то балдел от их улыбок и смеха, то занимался сравнительным изучением их фигур, а в снах встречался то с одной, то с другой – был ловеласом широкого профиля, но в жёны выбирал девушку из тургеневских романов. Девушки волновали меня гораздо больше, чем предстоящие экзамены.

В училище на подготовительных курсах рисовали гипс. Здание было старое, и во избежание пожара курить в аудиториях запрещалось, только для преподавателя, старичка с седой бородкой, делалось исключение – пепел он стряхивал в банку с водой. Частенько он останавливал нас и на мольберте показывал технику штриха – его точные ли-

нии мгновенно расцветивали рисунок. Возвращая карандаш, старичок давал вполне определённые ориентиры:

– Это я показал, чтобы вы знали, как можно делать, да-с. А как надо... идите в Пушкинский музей и смотрите Рембрандта.

– У вас, любезный, слишком всё робкое, – обращался старичок ко мне. – Сентиментальность – прекрасное качество человека, но в наше время надо быть бульдозером. Энергичней кладите штрих. И в живописи пишите широкими мазками, вы же неплохо чувствуете цвет. Писать нужно так, как будто немного спешите. Некоторая незаконченность создаёт впечатление лёгкости.

Но в другой раз он говорил совершенно противоположное:

– Не спешите, любезный, откладывая работу. Вставайте из-за мольберта, только когда твёрдо уверены, что уже ничего не можете добавить. Законченность, помимо всего прочего, означает любовь к предмету.

С каждым днём мой рисунок становился всё крепче, в живописи я всё чаще находил яркие цветовые решения. Дома у тётки писал ещё смелее; случалось, от неожиданных сочетаний красок захватывало дух; одна находка рождала другую, картины приобретали новое освещение, начинали жить собственной жизнью, как бы независимо от меня – образы сами подсказывали решения, открывали новые пласты в живописи. Я часами не отходил от стола, работал настойчиво, до темноты. В те дни я пришёл к выводу, что всё самое ценное рождается в процессе долгой работы, а не от случайного вдохновения, которое должно свалиться откуда-то с неба, а главное, радость от такой работы с лихвой компенсирует усталость, затраченное время, сны о девушках и всё остальное.

На курсах как-то стихийно возникла моя дружба со Станиславом Исаевым, крепким парнем с несокрушимым спокойствием, в его облике было что-то от античных героев – цельность, всемогущество; в мыслях, которые он высказывал, прослеживалась чёткая позиция, а в самих словах, плотных, весомых, таилась властная сила. Он был очевидной противоположностью мне, несобранному; и что мы сдружились – не знаю; может, потому что каждый невольно ищет свой противовес.

Античный герой Станислав жил за городом, в Мытищах, и был старшим сыном в многодетной семье. Он писал реалистические картины в спокойных, мягких тонах и, как мне казалось, демонстрировал раннее мастерство. Я восхищался им и подражал ему: копировал его походку, жесты, слова.

– У нас с тобой богатств нет, но есть талант, – довольно весело говорил Станислав. – И у нас, провинциалов, есть полезные чёрточки. Во-первых, мы всему удивляемся, что является хорошим стимулом к творчеству, во-вторых, мы упрямы и настойчивы, а известное дело – из двух способных успеха добьётся более настойчивый.

Со Станиславом мы подрабатывали – на станции Москва-Товарная разгружали вагоны: выкатывали стокилограммовые бочки с селёдкой и огурцами из пульмановских вагонов, сталкивали их на автомобильные покрывала, катили в сторону и ставили на попа; бывало, отдавливало ногу, защемляло руку. Случалось, грузили ящики с помидорами и яблоками, капусту и арбузы – тогда выполняли двойную работу, малопонятную вещь: выгружали товар на землю, ждали, пока придут грузовики, потом грузили в кузов. Редко бригадир подгонял машины прямо к составу, чаще овощи и фрукты сутками валялись на земле и из первого сорта превращались во второй и даже третий (в накладных так и писали, но в магазинах всё равно пускали за первый; разницу за сортность делили между собой директор и продавцы).

Как-то я высказался по поводу этих махинаций, сказал Станиславу, что вокруг слишком много деляг, и как образец честности привёл наш с ним рабоче-художнический тандем.

– Вопрос сложноватый, ведь честность – понятие растяжимое, – ответил мой напарник и античный герой. – По высшим меркам мы с тобой тоже поступаем нечестно. Здесь, на станции, рубаем дары природы сколько влезет, и с собой уносим, сколько поднимем. Одно радует – нагрузки поддерживают физическую форму, что для художника крайне важно. И вообще, грузчик как запасная профессия жизненно необходима для мужчины.

Заработанные деньги я отдавал тётке, себе оставлял только на обед, проезд и сигареты – я начал покуривать и сильно втянулся в это увле-

кательное занятие (со свойственным мне размахом); с полочки и выпивал, «глотал портвешок» с профессиональными грузчиками станции, которые, кстати, обогатили мой язык такими сленговыми выражениями, каких я не слышал никогда, правда, употреблять смачные словечки долгое время стеснялся, срабатывало патриархальное воспитание.

Экзамены мы со Станиславом провалили, притом что получили четвёрки.

– Одних способностей мало, надо, чтобы ещё везло, – с усталым упорством повторял Станислав.

А я подумал: «И за какой проступок меня наказал Бог?» – и сгоряча хотел раздолбать подрамник, но меня остановил Станислав:

– Ну завалили мы экзамены, и что? Разве ж это настоящее несчастье?! Продолжим работу с двойным усилием.

Забрав документы из училища, я вышел на улицу, и вдруг мне стало ужасно тоскливо – не то что рухнуло небо – просто было не по себе, что в огромном городе не с кем поделиться болью. Иду по улицам, сам не знаю куда, иду нерешительно, как бы на ощупь. А денёк, как назло, потрясающий, за двадцать градусов тепла. И все куда-то спешат, и никому до меня нет дела. Я-то, простофиля, думал – в столице все внимательные, отзывчивые, здесь заметят мои способности, дадут возможность их развить, а получалось – надо рассчитывать только на себя.

Ещё во время экзаменов прописка кончилась, продлить в паспортном столе не разрешили, и надо же! Прихожу к тётке и узнаю, что лысый пронюхал про моё нелегальное проживание и пригрозил сообщить в милицию.

С ощущением обречённости я отправился ночевать на Казанский вокзал, но не успел прилечь на лавку в зале ожидания, как появился милиционер, потребовал паспорт и, несмотря на мой жалкий вид, заявил, чтобы я убирался из столицы. Стало ясно: приход на вокзал был глупейшей ошибкой, от вокзалов вообще следовало держаться подальше.

В Татарии мне казалось: здесь, на исторической (и фактической) родине, нас, русских, эвакуированных, ждут и примут, а оказалось –

мы никому не нужны и даже потеряли право жить там, где родились. В дальнейшем я пришёл к ещё более удручающему выводу: большинство моих сограждан на родине полностью согласны с таким положением вещей.

Наступили тугие дни. Две следующие ночи провёл в сломанном троллейбусе около окружного моста; потом полночи спал на стульях в каком-то заброшенном клубе. Несколько раз ночевал в парке Горького под лодками, благо стояла отличная погода и осадки не угрожали, но под утро всё-таки замерзал; часов в шесть, продрогший и помятый, вылезал из-под укрытия, отряхивался от комьев земли, растирал затёкшие бока и через Нескучный сад по гулкому пустынному проезду выходил на Ленинский проспект. Вместе с идущими на работу брёл в поисках случайного заработка к магазинам: мебельному – что-нибудь подтащить – или к продовольственному – погрузить ящики. «В трудной ситуации главное не паниковать, не отчаиваться», – говорил сам себе.

Больше всего торчал у магазина «Инструменты»: предлагал вставить стёкла, замки, поменять электропроводку – благо отец научил всё делать своими руками. Как подсобный рабочий, «многогранный мастер» я был неплох: всё делал добросовестно, иногда не очень красиво, зато надёжно (в этих делах эффективность важнее эффектности), и не привередничал в оплате. Заработав деньги, прикидывал, где подешевле перекусить.

В центре общепит отличался высокими ценами, но один грузчик мебели надумал меня ходить в рабочие столовые при троллейбусных и автобусных парках – в них я проходил без пропуска, поскольку смахивал на ученика слесаря: старая куртка и драные ботинки, которые я время от времени стягивал проволокой, убедительно доказывали принадлежность к низшему классу. Вскоре я обнаружил ещё более дешёвую столовую – студенческую при консерватории – там не было пропускной системы, а служба принимала меня за опустившегося музыканта. Одна посудомойка так и сказала:

– Чего ж ты, милоч, ходишь в таком виде? Поиграй на свадьбах, похоронах, заработай на костюмчик...

Что было хорошо в тех столовых – там на столах лежал нарезанный хлеб. Можно было взять стакан киселя за семь копеек и уминать хлеб сколько влезет. Я брал два стакана – с одним уминал «гармошку» на одном столе, со вторым пересаживался за другой стол.

Как-то, сильно проголодавшись, зашёл в забегаловку-стоячку, взял суп-лапшу, хотел поперчить, да, растяпа, просыпал слишком много перца; стал его вылавливать ложкой, но размешал ещё больше и вдруг заметил за соседним столом двух девушек – они с повышенным любопытством следили за моими потугами и посмеивались, никак не могли понять, почему не возьму другой суп. Столь откровенное внимание со стороны прекрасного пола повергло меня в смятение; покраснев, я начал уплетать переперчённую лапшу, громко раскашлялся и – нет чтобы как-то с юмором обыграть ситуацию – не нашёл ничего лучше, как выбежать из стоячки.

В другой раз два дня не ел, ослабел от голода и уже еле волочил ноги – и вдруг в заднем кармане брюк обнаруживаю три рубля (мать в каждое письмо вкладывала несколько рублей, и как они доходили – непонятно, ведь у нас всюду воруют). Те три рубля я, видимо, машинально сунул в карман, пока читал письмо, – они были как послание с неба.

Все эти мытарства не прошли бесследно – некоторые мои теперешние привычки имеют давнее происхождение: до сих пор я устраиваю себе сюрпризы – на чёрный день рассовываю по шкафам плавленые сырки, проездные талоны, сигареты, при случае наедаюсь впрок, заранее оплачиваю квартиру – вдруг выселят, и обхожу стороной милицию – вдруг заподозрят во мне потенциального преступника.

С деньгами в заднем кармане связан ещё один эпизод; он произошёл позднее, когда у меня появился случайный знакомый Вел Попов – полуактёр, полурежиссёр, полупижон – мы сошлись на почве любви к живописи в салоне-магазине на Арбате. Вел пригласил меня на дачу посмотреть картины «знаменитого предка» – давно умершего деда, чуть ли не члена «Могучей кучки». А на даче, в знак признательности, что я оценил работы, подарил мне брюки отца, которые тот не носил и которые выглядели гораздо новее моих. Там

же, на даче, я поменял наряд, но, уходя, на всякий случай прихватил и свои брюки, а по пути к станции подумал: «На кой чёрт мне это тряпье?» – и выбросил свёрток в какую-то помойную кучу. Доехал до города, вдруг ударило в голову – ведь в заднем кармане брюк заначка! Целая пятёрка!

Пока ждал электричку в сторону дачи, пока ехал и бежал к куче (перебегая пути за хвостовым вагоном электропоезда, чуть не попал под встречный товарняк – меня отбросило ветром от локомотива), прошло часа два, и всё это время сердце выскакивало из груди... Свёрток валялся в стороне от кучи и был развёрнут – брюки явно рассматривал какой-то бедолага, но всё же не взял их, слишком драные. Но пятёрка! Пятёрка лежала в кармане, целёхонькая!

Несколько раз в качестве «мастера на все руки» я работал до полуночи, а потом на попутном самосвале, или грузовом троллейбусе, развозящем ремонтных рабочих, или просто пешком добирался до тёткиного дома и под окном давал условный сигнал – мяукал. Чаще всего тётка уже была пьяна и не слышала «кошачьих» призывов, тогда я отправлялся искать ночлег в парк Горького; но иногда тётка выглядывала, махала рукой, тихо открывала дверь, и я на цыпочках, чтобы не слышали соседи, юркал в комнату. Объясняясь на пальцах, тётка совала мне булку с колбасой или ещё что-нибудь; перекусив, я ложился под стол, а рано утром так же тихо исчезал. Фёдор молча сносил мои посещения, хотя лысый не раз говорил, что «ему не поздоровится за укрывательство».

Позднее мы с тёткой разработали более совершенную сигнализацию: если соседи засыпали, она занавешивала окно шторами, и я без всяких мяуканий просто стучал в стену её комнаты (она выходила на лестничную клетку).

В один из тех дней я вторично был в одном шаге от гибели. До сих пор, проходя мимо того дома на улице Герцена, я невольно вздрагиваю. В те дни дом был на ремонте, и я решил переночевать в одном из его подъездов. Глубокой ночью открыл расшатанную дверь и шагнул в темноту, при этом задел какой-то камешек, который внезапно гулко упал где-то далеко вниз. Этот камешек спас меня от второго шага.

Чиркнув спичкой, я увидел перед собой зияющую пустоту – на дне подвала, метрах в семи (!), из бетона торчали штыри арматуры.

Рабочие одного продмага, узнав про моё бедственное положение, посоветовали добиваться прописки в управлении милиции. Не особенно надеясь на благополучный исход, я отправился в управление и, выстояв огромную очередь, попал на приём к «большому» толстомордому начальнику.

Полиция во всех странах не отличается особой тонкостью, но наша (советского образца) по грубости и хамству переплюнула всех. И по взяточничеству – вскоре я достоверно узнал чёткий тариф на прописку и даже на закрытие уголовного дела; узнал, что в столице немало разрушительных правил.

Мне продлили прописку на месяц (на больший срок не прописали, потому что нигде не работал). Теперь по утрам я слушал радиообъявления о приёме на работу, но с временной пропиской никуда не брали. Получался издевательский заколдованный круг, какая-то чертовня.

В те дни, поглощённый заботами о выживании, я выполнял любую работу – всё без разбора, и сильно уставал от ходьбы, зато досконально изучал город, и если вначале, как все неопытные приезжие, судил о Москве по центральным улицам, то со временем узнал и другую столицу – в закоулках, дворах, на окраине, и с каждым днём накапливал житейский опыт – самый ценный капитал. Ну а в минуты уныния, как всегда, взбадривал себя: «Не вешай нос! Это выносимые муки, жизнь ещё вполне терпима». И подстёгивал себя кличем: «Вперёд!» Я смутно догадывался: чтобы выжить в каменных джунглях, надо быть предельно наблюдательным, изучить подворотни и всякие тайные знаки – объявления на заборах, «сарафанный телеграф», сленг и, само собой, законы улиц.

Что больше всего бросалось в глаза, так это повсеместная лень и головопательство. Нельзя сказать, что жители столицы не работали – работали, конечно, но чаще так, для видимости; больше перекуривали, сбрасывались «на троих» и чесали языками. Многие нагружались под завязку и непременно выясняли отношения на кулаках. Более-менее сдержанные, из числа нагрузившихся, просто разбивали бутылки, сры-

вали трубки у телефонов-автоматов, оскорбляли прохожих – это процветало и было в порядке вещей и как бы не замечалось милицией; но стоило кому-нибудь надеть чересчур вычурные одежды или отмотать какой-нибудь сольный номер – например, публично прочитать «запрещённые» стихи или что-то ляпнуть по поводу власти, как его тут же вели в участок. В десяти шагах от центральных улиц интенсивно процветали помойки, а гаражи-самострой ставили кому где вздумается – чуть ли не посреди газонов. Конечно, я не надеялся увидеть в Москве море красоты и радости, но и на такие невесёлые картины не рассчитывал, так что первоначальное восторженное впечатление от столицы довольно быстро померкло; я понял – в больших городах много иллюзий, и вообще, жизнь в провинции чище во всех смыслах.

Поражали в Москве грязные вокзалы и рынки, подъезды с похабными надписями, транспортные пробки и сам общественный транспорт с порезанными и ободранными сиденьями. Поражали также слухи. Вся достоверная информация передавалась только посредством слухов. Самым распространённым был слух о грабежах и о том, что при квартирных кражах разные слои населения ищут защиты соответственно своему возрасту и полу: дети больше всего надеялись на собаку, женщины на милицию, мужчины на железные предметы под рукой.

Но особенно впечатлял повсеместный запредельный идиотизм. Казалось, всё подчинено одному – как можно больше доставить человеку неудобств: дороги чистили и ремонтировали не ночью, что было бы разумней, а в час пик, самые необходимые товары продавали «с нагрузкой», в ресторан без пиджака и галстука не пускали (потому и распивали в подворотнях); всё, что можно было сделать просто, нарочно усложняли, чтоб человек помучился; вся обслуга (от прачечных до магазинов) отличалась грубостью – была уверена: делает немислимое одолжение; на заводах, в больницах требовали массу справок (опять-таки чтобы отравить человеку жизнь); и всюду система рекомендаций, запретов: где и как жить, куда ездить, с кем общаться, что читать и смотреть, кого любить (иностранцев нельзя). И на каждом предприятии, в каждом дворе – оплачиваемый стукач. И также повсюду портреты вождей; стоило взглянуть на их тупые физиономии, как всё стано-

вилось ясно (понятно, в те дни я, как все неустроенные и бесправные, в основном видел теневые стороны столицы).

Ну а чего я получил в избытке, так это приключений, и если тогда лишь догадывался, что опыт бездомного, униженного и подавленного горемыки не напрасен, то теперь и вовсе рассматриваю его как священную личностную историю.

От одиночества я, неприкаянный, сходил с людьми быстро, даже стремительно, точно создавал коллекцию судеб; с некоторыми много лет поддерживал отношения (с кем-то крепкие, с кем-то летучие), с некоторыми вскоре разошёлся, несмотря на то что мы были близки по духу, – просто в те дни находились в разном положении, но память о них я унёс с собой. Иногда завязывал дружбу неразборчиво, безотчётно – за что впоследствии поплатился. Но вначале о радостном, от чего и сейчас, при этих воспоминаниях, подпрыгивает сердце, – о пивбаре в Столешниковом переулке. Как туда занесло, не помню – возможно, просто заглянул на огонёк, ведь жил авантюрно, будущее не планировал: оно подходило – и я бросался навстречу. В том прокисшем пивбаре я столкнулся со студентом медиком (позднее психиатром) Михаилом Чернышёвым.

– Новые знакомые – это прекрасно, – сказал Чернышёв, пожимая мне руку. – О старых уже всё знаешь. Особенно если дружишь по территориальному признаку. Ведь всё приедается. Ты как насчёт выпивки?

Дальше Чернышёв объявил, что он «очень занятой человек», в смысле, работа для него – всё. На самом деле большую часть времени он просиживал в том прокуренном заведении среди пьющей и опохмеляющейся публики, случайных посетителей и завсегдатаев, опустившихся алкашей и там проводил свой курс – «изучал людей». Чернышёв сразу вычислил мой «переменчивый бесноватый характер» и что я нахожусь в «плачевном состоянии, барахтаюсь в позорной трясине, не имею мощной цели и стартовых возможностей», веду «затхлую жизнь и мне не на кого опереться» (и как узнал?), но обнаружил у меня «выносливый организм и склонность к творчеству» и предска-

зал «удачливое будущее» (за это ему бесконечно благодарен – он подарил мне мечту!).

Чернышёв не обладал выдающейся внешностью (его рябое лицо было далёким от произведений искусства), но он владел колдовской силой внушения. При дальнейших встречах (опять же в пивбаре) он всё красочней расписывал моё будущее и в конце концов объявил, что оно приблизилось и вот-вот я буду купаться в баснословной удаче. Но этот момент всё не наступал. Зато после выпивок с «предсказателем» я совершал прекрасные путешествия по ту сторону реальности и, само собой, имел мешок денег (от постоянного безденежья эти проклятые бумажки так и вертелись в голове).

Чернышёв собирал «левую» живопись и свёл меня с художниками, братьями Евгением и Игорем Леоновыми (отрекомендовал меня «рукотворным, сноровистым», хотя не видел никаких моих дел). Братья учились в полиграфическом институте, то и дело подчёркивали своё какое-то немислимое происхождение, имели одну любовницу на двоих – «с роскошной задницей» – и внимательно следили за самочувствием друг друга, и постоянно зудели о моём «запойном курении»; я думал: заботятся о моём здоровье, потом понял – о своём (считали, находиться в обществе курильщика – отравлять себя); они мало ели («в пище много ядов») и мало говорили («чтобы экономить энергию»). Им бы впору жить в экологически чистой сельской местности, но, по словам моего рекомендателя, в лесу они терялись, при виде моря и гор испытывали страх.

– Типичные дети города, асфальтовые люди, – говорил Чернышёв, – но несмотря на эти шероховатости они неплохие художники, невольники красок и холста.

Братья шарлатански «шлёпали» абстрактные картины – точки, запятые, кляксы (кому, кроме Чернышёва, их сбавривали, я так и не узнал) – и делали макеты журналов, а между этими занятиями подхалтуривали на Сельскохозяйственной выставке, писали по трафарету шрифты. По настоянию Чернышёва братья взяли меня в помощники, и около месяца я жил безбедно.

– У тебя получается как надо, это не шрифт, а песня, – похвалили меня художники.

– Ты уже схватил удачу за хвост, – объявил Чернышёв. – Скоро вытащишь всю, огромную. Если пойдёшь такими темпами, скоро станешь богат до отвращения. Но просчитай последствия и не забудь про меня, благодетеля.

Почему-то эта самая удача мне представлялась неким библейским чудищем с полным брюхом денег.

Чернышёв, отзывчивое сердце, вскоре нашёл мне отличную работу – оформлять витрину ателье на Арбате. Три дня я вкалывал как одержимый и получил приличную сумму, половину которой просадил с Чернышёвым в пивбаре.

Однажды на Пушкинской площади ко мне пристал бесформенный толстяк, очкастый чудик в каком-то немыслимом балахоне; назвался Кириллом Прозоровским, знатоком «настоящей» литературы (он из-под полы продавал перепечатки запрещённых авторов; цену устанавливал гибкую, в зависимости от интеллекта и благонадежности покупателя). Этот Кирилл, экстравагантный динамичный субъект с неуживчивым характером, прицепился ко мне всерьёз: заявил, что является физиономистом и подходит к людям с определённым отбором, хотя несколько раз «прокалывался»:

– Я, старичок, всех просвечиваю, как рентгеновский аппарат, но раза два интуиция давала сбой, – заявил мне (он не утруждал себя запоминанием имён, всех называл «старичок»). – В КГБ ведь завербовали немало интеллектуалов. Но ты, чувствую, чист в этом плане. Хочешь, будем работать на пару, создадим непрерывный конвейер, выручка пополам.

Я согласился бы не раздумывая, если бы не нелегальное проживание в городе. Это и сказал Кириллу, и он вошёл в моё положение, по сути – пожалел.

– Твои слова, старичок, рождают отклик в моей душе, – высокопарно произнёс он. – Ясно, реальная жизнь скучна, настоящая жизнь только в искусстве. Искусство помогает человеку не впасть в отчаяние, не опуститься... Прописка – абсолютное зло, деспотия, но постараемся

уладить дело, придумаем что-нибудь другое, пусть не ударный, но отлаженный механизм.

Он привёл меня к себе в красиво обставленную квартиру (с недостаточно красивым видом из окна – на отделение милиции). Он оказался сыном состоятельных родителей, но маскировался под бродягу (имел «внешнюю фанеровку», по его выражению) и жил на собственные заработки в знак протеста против обеспеченности.

Накормив меня, Кирилл объявил, что является не просто знатоком литературы, но и тонким, изысканным поэтом – «непризнанным гением».

– Я пишу по ночам. Ночь, старичок, лучшее время для работы – тишина, ничто не отвлекает.

Он прочитал несколько своих произведений, в которых я ничего не понял, потом бросился обзванивать знакомых, чтобы и они вошли в моё положение.

– Мода на сострадание прошла, каждый выбирается из дерьма в одиночку, – пробормотал он. – Такой досадный фактик. Но не будем сидеть сложа руки, неработающая машина ржавеет. Будем, старичок, действовать.

«Непризнанный гений» был страшным непоседой: из компании быстро сбегал – стремился уединиться – «всех надо держать на комфортном расстоянии», но и в одиночестве пребывал недолго – начинал обзванивать приятелей; из дома его тянуло на улицу, с улицы в дом, из города на дачу, с дачи на «Брод» («Бродвей» – улицу Горького) и «Пушку» (Пушкинскую площадь). Но его главной чертой была отзывчивость; он свёл меня с супругами-инженерами Щадриными, Володей и Людой.

Это была парочка ещё та! Люда, некрасивая хромоножка, и красавец Володя, безумно любящий жену, «самый ревнивый из всех мужчин», по словам Кирилла.

– Готов посадить меня на цепь, – подтверждала Люда.

Володя через пару дней устроил меня красить заборы на своём предприятии, при этом сказал:

– Я и сам не прочь подхалтурить, да приходится следить за Людмилой, она ведь отпетая гулёна.

Затем с его подачи я ремонтировал будку сторожа – гнилушку, которую проще было спалить и построить новую, но срабатывал хозяйственный идиотизм. После будки, опять-таки благодаря Володе, я помогал грузчикам перекачивать рулоны бумаги, около месяца числился разнорабочим с «внутренним включением», по выражению «непризнанного гения» (под этим самым «включением» он подразумевал духовные интересы).

Новые знакомые глубоко вошли в моё положение, но всё-таки недостаточно глубоко – в «крыше над головой» помочь не смогли (Володя с Людой сами жили в стеснённых условиях, а родители «непризнанного» его приятелей-«босяков» на дух не переносили). По этому поводу новые знакомые выразили сожаление, на что я бодро заявил, что мне жилищем служат уютные дворы, а крышей – звёздное небо. Вероятно, чтобы считать звёзды не в одиночестве, Люда решила познакомить меня с сестрой, которая жила с матерью в Водниках, но в те дни мать была в санатории. Люда заявила с откровенным смешком:

– Светка – претендентка на место постоянной любовницы. Сам понимаешь, для мужа ты не подходишь. Она не твой уровень. Но постоянная любовница, разве это не потрясающе?!

Мы поехали в Водники разношёрстной компанией; супруги Щадрины решили «встряхнуться» и пригласили с собой надменного студента Литинститута Давида Маркиша и его дружка, нагловатого фарцовщика Владимира Златкина по прозвищу Дик; оба были стилистами и пошляками (именно от них я впервые услышал дурацкое выражение «заниматься любовью», хотя, понятно, заниматься можно сексом, а любовь это не занятие). В электричке эти субчики вели себя развязно, хамили попутчикам; глядя на них, я думал: «Чтобы так вызывающе держаться, надо что-то из себя представлять; наверно, они сделали что-то эдакое». Позднее узнал – ровным счётом ничего, попросту самоутверждались через хамство, как некоторые самоутверждаются через бандитизм или власть. Эти типы открыто измывались над всем русским и кадрили иностранок, чтобы через брак «умотать за кордон» (что впоследствии и осуществили); оба поехали в Водники «убить время, душевно попить пивка и по дороге снять двух прошвырнушек».

Чтобы сгладить контраст между представителями «золотой молодёжи» и мной, голодранцем, Щадрины прихватили машинистку Лену Баринову по прозвищу Лепёшка, нервную девицу, наполненную предчувствиями и страхами, которая сигаретами и вином заглушала боль от «несостоявшейся личной жизни»; она постоянно поддерживала себя в меланхолии, умела разжалобить, время от времени впадала в депрессию или беспричинно смеялась и, как все истеричные особы, часто плакала – и не столько от расстройств, сколько из-за самолюбия, чтобы выложиться полностью и не выходить из образа несчастной.

Сойдя с электрички, мы попали во власть ветров – с водохранилища один за другим накатывались тугие порывы.

Светлана встретила нас необычно – в халате (хотя Люда сказала, что договорилась с ней заранее; компания была посвящена только в одно – есть возможность погулять; о сводничестве знали лишь Светлана и я). Халат моей будущей любовницы обескураживал и приводил в восторг (вернее, приводило в восторг то, что он облегал). Прохладно познакомившись (меня, правда, одарив улыбкой), Светлана с ленцой («в прохладном ритме», по выражению Володи Щадрина) поставила на стол наливку, печенье и забралась с ногами в кресло с книгой Тургенева, предварительно откинув подол халата, чтобы её и без того видимые бёдра, виднелись ещё отчётливей. Сесть за стол она отказалась наотрез, заявила, что не пьёт и не курит (что в моих глазах усилило её положительные качества); во время нашего застолья на все вопросы отвечала с холодной вежливостью (такой же холодной, как ветер с водохранилища, завывавший за окном), всем своим видом давая понять, что сестра и она – совершенно разные люди.

Дик пытался пригласить её танцевать: то уговаривал с набором избитых шуточек, то бесцеремонно тянул за руку, но Светлана оставалась непреклонной, правда и не сердилась на напор Дика. Но когда я, изрядно выпив, подошёл к ней и, с трудом подбирая слова, поинтересовался «чтивом», она расплылась в приветливой улыбке (ветер мгновенно стих) и долго лепетала о Тургеневе, не забывая вытягивать и поглаживать бесподобно длинные ноги (от них бросало в жар), как бы напоминая мне, что наш разговор имеет второй тайный смысл.

В ней сочетались старомодность и лёгкое бесстыдство современной женщины. В конце вечера она прямо сказала:

– Я ценю в мужчинах голос и руки. У вас низкий голос и руки труженика, – и страшным шёпотом добавила: – У нас всё будет чудесно.

Моё возбуждение достигло крайнего предела – я уже по уши влюбился в неё и, уверенный, что наконец-то встретил «гениальную женщину», что всё складывается как нельзя лучше, налил глаза и не заметил, как уснул в прихожей на диване. Проснулся от сладострастных стонов; приоткрыв дверь, я увидел в полумраке на кресле Светлану – она яростно отдавалась Дикю; халат тургеневской блудницы валялся на полу. Я подскочил на месте, точно ошпаренный кипятком, и долго не мог прийти в себя.

Под сильнейшим ветром я добрёл до платформы, дождался первой электрички, доехал до Каланчёвки – и на всём пути жуткая горечь заполняла мою грудь, а в голову лезла мысль: «И что за проклятье тяготеет надо мной?» Но потом всё же стал уговаривать себя: «Главное – ни в коем случае не расклеиваться, не впадать в панику. Вперёд!»

На следующий день Люда разыскала меня (хотя я и избегал встречи с ней), сказала, что мне «всё показалось»; ещё через неделю передала записку от сестры – изящными словами, тонким тургеневским стилем Светлана сообщала, что «пошляк Златкин пытался приставать, но у него ничего не получилось». Просила приехать, но я был гордый парень. Или глупый – не знаю; только повторять поездку не собирался.

После этого прискорбного случая последовал ещё один: в день, когда кончилась прописка, я умудрился попасться в руки милиции; нелепо – ехал без билета в троллейбусе, и вошёл контролёр. В отделении мне вручили предписание – покинуть город в двадцать четыре часа.

– Вторично попадёшься – посадим на год как злостного нарушителя паспортного режима, – заявил майор.

Это ли не издевательство над парнем – только за то, что он хочет жить в столице, в городе, где, кстати, родился! (эти иезуитские законы существуют и поныне).

Снова я очутился на улице, снова бездомничество, разброд, шатанья. А тут ещё похолодало и усилились ветры, природа явно затевала

что-то недоброе. Короче, потянулись тяжкие деньки. Как-то в поганейшем настроении устроился на ночлег в одном подвале; дом был глухой – не дебоширили даже пьяницы и сумасшедшие; только прилёг на доски – за решёткой окна появилось привидение. В жутком оцепенении стал шарить рукой в поисках палки или камня, но, присмотревшись, разглядел: призрак всего лишь белая рубашка, висевшая на верёвке. Тем не менее я вдруг вспомнил свои предыдущие встречи с привидениями, вспомнил то, чего не было. Меня обуяла какая-то ложная память – первый признак нездоровой головы.

Через час-другой освоился в темноте, разогнал дурацкие видения, выкурил сигарету, чтоб окончательно прийти в себя, вслух пробормотал: «Нас этим не испугаешь»; потом задремал, но слышались голоса, и в полумраке возникли трое подвыпивших молодых людей с бутылками. Заметив меня, парни не удивились, открыли потайную дверь и махнули мне, чтоб составил компанию. За дверь оказалась скульптурная мастерская, пропитанная алкогольным запахом. Хозяин мастерской студент Строгановки Вадим Штокман и его спутники, студенты музыкального училища Игорь Слободской и Аркадий Егидес, обогрели меня, накормили и напоили, уложили спать на тахту, а сами до утра талантливо распевали неаполитанские песни.

Утром Штокман показал мне свои работы, дал несколько ценных советов по технике рисунка и объявил, что я могу запросто приходить в мастерскую, когда вздумается. Скорее всего, он так объявил, проявляя элементарную вежливость, и позднее пожалел – я, доходяга, целую неделю безвылазно торчал в мастерской, правда не забывал сыпать благодарности за то, что меня приютили. Штокман ухмылялся:

– Похоронишь меня с почестями, понесёшь подушечку (с какими наградами, не уточнял).

Каждый вечер к Штокману не заходили – залетали, как ангелы, Слободской и Егидес – всегда с бутылками, развесёлые, напевая неаполитанские песни, которые, по их словам, они «чувствовали не только душой, но и всем телом». Штокмана и его приятелей-весельчаков связывала трогательная дружба; она выражалась в предельно внимательном, заботливом отношении друг к другу. Но ещё больше меня пора-

зили их утончённые беседы об искусстве – благодаря им я за неделю резко повысил свой интеллект.

Мастерская была первым богемным клубом, который я посетил и где окончательно понял, в какой атмосфере хотел бы вариться. Я сильно завидовал Штокману и его друзьям – они уже нашли себя и занимались творчеством («у всех есть занятие, кроме меня» – так и вертелось в голове), завидовал, потому что они не тратили время на прописку, поиски жилья, работы. В те дни я особенно остро переживал свою бездомность. «И когда займею собственный угол, хотя бы часть огороженной комнаты? – размышлял чуть ли не вслух. – Отдохнуть мог бы, попить чайку... купил бы дешёвенький радиоприёмник, книги».

Что было странным – за всё время, которое я провёл в мастерской, ни Штокман, ни его друзья ни словом не обмолвились о женщинах. И это в художественной мастерской, где в порядке вещей страшный интерес к женщинам и разговоры о них – центральная тема! И, само собой, не только разговоры. В какой-то момент, выпив, я заикнулся о девчонках на улице Горького, но встретил презрительные взгляды.

– Не разочаровывайте нас, молодой человек, – пропел Слободской.

Эта странность заставила меня пристальней всмотреться в новых знакомых, и я обнаружил то, что сразу же вызвало протест. Во-первых, балетные движения и франтоватый внешний вид обитателей мастерской: Штокман носил бант, нарядную кружевную рубашку, лакированные ботинки, Слободской – крашеную (сиреневую!) шевелюру до плеч, Егидес – два перстня. Во-вторых, их отношения были чересчур душевными: при встрече они слишком долго, излишне чувствительно целовались, эффектным образом ухаживали друг за другом, а меня обнимали каким-то нездоровым способом, как-то не по-мужски, как бы получая удовольствие от объятий – я это чувствовал кожей (как они неаполитанские мелодии). В-третьих, они демонстрировали обострённый интерес к другим мужчинам и при этом обсуждали их мужские достоинства, как бы раздевали их. Мне, с повышенным интересом к женскому полу, это было совершенно непонятно (тогда я ещё и не догадывался о существовании сексуальных меньшинств). По моим по-

нятиям, нормальный мужчина, разглядывая женщин, мог мысленно их раздевать, но с таким уклоном разглядывать мужчин!..

В общем, ангелы оказались всего-навсего воздухоплатателями. После одного из вечеров, когда Слободской устроил переодевание в женское платье, а Егидес целовал ему руку, я порвал с этой троицей, хотя вскоре почувствовал, как мне одиноко без них, как сильно не хватает интеллектуального общения (как ни крути, а искусство – лучшее укрытие от жизненных невзгод). И ещё одна немаловажная вещь: именно в те дни скитаний у меня появилось чутьё на голубых, стукачей и КГБэшников, которое в дальнейшем спасало от неприятностей.

Глубокой осенью я ночевал где придётся: на чердаке, в бойлерной, в старом баркасе на канале у водомоторной станции «Динамо»; однажды просто на скамье в заброшенном сквере – проснулся – весь засыпан листьями. Положение осложнялось частыми и сильными дождями, слякотью и холодом (непогода затеяла новое наступление); под монотонную музыку дождей в голову лезли невесёлые, отчаянные мысли, но я заставлял себя отбрасывать их в сторону и твёрдо цедил: «Всё выдержу» – приучал себя мужественно встречать невзгоды, и в дальнейшем, чем больше сваливалось неприятностей, тем большая крутость охватывала меня. Я выработал в себе бесстрашное отношение к неприятностям, даже вывел взбадривающую формулу: «Когда неприятности множатся, победа близка».

Но победные ступени к вершине не появлялись.

Как-то на Пироговке разговорился с двумя алкашами, и один из них, кивнув на мединститут, подбросил мне идею «быстрого обогащения» – «продать медикам скелет» за сто рублей, то есть разрешить после смерти производить на себе опыты. Но второй алкаш покачал головой:

– Не получится. Начнут заполнять бланки, а у тебя нет прописки. «Вначале пропишись», – скажут. Без прописки ты не человек.

Две ночи провёл на окраине в недостроенном доме, где влага пропитывала стены, и сильно грохотало в водосточной трубе, и прямо по мне бегали крысы. Потом ночевал в фанерной пристройке для отбросов в большом картонном ящике – фактически ночевал на помой-

ке, что было, как теперь понимаю, самой низшей (в смысле падения) из всех моих ночлежек; продрог так, что зуб на зуб не попадал, правда, когда вышел из пристройки, было лишь пасмурно – после того как накануне лил затяжной дождь и я промок до нитки.

Несколько раз выбирал тёплый подъезд, дожидался, пока жильцы засыпали, и кемарил на ступенях у батареи. Бывало, только прикорнёшь – зайдёт парочка, начинают тискать друг друга, хихикать; пришлось искать другое пристанище. Или ввалится дворник и разорётся. Но чаще выскакивали жильцы, принимали за вора и грозили милицией, а при виде милицейской формы моя спина покрывалась мурашками.

Однажды набрёл на котельную при каком-то заводишке. Кочегар, мужик со впалыми щеками и глухим голосом, угостил меня папиросами. Я рассказал ему всё о себе, разболтался – прямо не закрывая рта, спешил выговорить наболевшее.

– Оформляйся в помощники, – буркнул кочегар. – Работка не ахти какая. Сиди себе, кидай уголь в топку да следи за давлением. И рубликов достаточно положат. Сработаемся, ты, видать, покладистый парень. Куда к чертям собачьим шастать по такой слякоти. Зиму перекантуешься, а там видно будет. Начальник у нас мужик ничего, посодействует.

Слова кочегара, его готовность помочь мне оказались как нельзя кстати. Директор завода и в самом деле был не против взять меня на работу, но отдел кадров – ни в какую.

– Вы уже месяц без прописки. Откуда мы знаем, что вы делали это время. Может, убили кого. Людей штрафуют, если они не прописываются в течение трёх дней, а вы столько живёте без прописки. Скажите спасибо, что не передаём вас в органы.

Несколько раз ночевал на стройках, в рабочих теплушках. Дождался, когда уходил прораб, и просился переночевать, говорил:

– Приехал к другу, а его нет.

Как-то поздно вечером сижу на ящике у костра, дожидаясь, когда рабочие уйдут в общагу и я спокойно улягусь со сторожем в теплушке. Вдруг один парень враждебно кивнул на меня:

– А этот фраер чего тут ошивается?

– Брось, Колька, – вмешался кто-то. – Парню ночевать негде.

– Знаем мы их! Забыли: одному тоже было негде, а потом сапоги мои тю-тю? А ну, ты, длинный, слышь! Вали отсюда!

Он сжал кулаки, подошёл и ткнул меня в плечо. Я встал.

– Нужны мне твои сапоги.

– Проваливай, пока не вломил, – и ещё раз ткнул меня.

Я его оттолкнул.

– Ах ты, шакал! – парень врезал мне кулаком по лицу.

Я не люблю драться, да и толком не умею, но здесь взвился, обида перешла в злость, и я заехал ему. И пошло... Мы дрались молча, тупо. Парень всё чаще цеплял меня своими маховиками, а его дружки сидели на ящиках, вроде для интереса наблюдали, кто кого, изредка бросали:

– Кончайте, ребята, не дело это.

Наконец подошли, разняли нас.

Прикладывая руку к заплывшему глазу, отплёвывая кровь, я побрёл в темноту. Состояние было жуткое, выдержка покинула меня. «Здесь, в столице, жестоких людей гораздо больше, чем у нас в провинции, – бормотал. – У нас человеку всегда помогут, а здесь каждый сам по себе, пробивайся как хочешь. И негодяев полно. И эти идиотские прописки – приписки к месту, чтоб всех держать под контролем, иначе – штраф и высылка. Ну не дикость?!» Размышляя в таком ключе, я пошёл ещё дальше, и в конце концов, как все неудачники, бездомные и нищие, озлобился и возненавидел всю страну. Разочарованный и ожесточённый, я подумал: «А не вернуться ли в Казань? Жизнь ради жалкого существования лишена смысла». Скитания в Москве превращались в бессмысленную нервотрёпку; казалось, я мечусь в безвыходном коридоре. И с будущим полная неразбериха. А тут ещё суровая осень – после дождей резко похолодало, раньше времени пожелтели деревья, чувствовалось – зима совсем близко.

Ещё два-три дня ночевал чёрт-те где – прямо как бездомный пес; измотался вконец. И вот стою в каком-то подъезде, трясусь от холода, на душе муторно, безысходное отчаяние. Внезапно перед глазами всплыли лица родных... Словом, решил устроить передышку – скатать

в Казань, поесть домашних супов, выспаться на кровати по-человечески. Поздно вечером прокрался на Москву-Товарную, узнал у машиниста, куда направляется состав, и пристроился на подножке пультмановского вагона.

Часа в три ночи доехали до Шатуры, руки и ноги затекли, околел так, что стучал зубами, а тут ещё заладил мелкий дождь вперемешку со снегом. По шпалам под прожекторами пошёл в сторону станции; за мной увязался какой-то замызганный пёс, маленький чёрный кобель, – откуда он взялся, не знаю; бежит за мной, виляет хвостом. Я присел на лавку покурить, и он пристроился рядом. Покуривая в темноте, я уловил запах борща и горелого сала; пёс учуял еду ещё раньше.

– Неплохо бы подзаправиться, а, чертёнок? – спросил я, и пёс закрутился у моих ног.

Мы пошли на запах и уткнулись в столовую железнодорожников. Помещение было пустым, только за столом в углу сидели двое рабочих в промасленных телогрейках. Я подошёл к посудомойке.

– Понимаете, – говорю, – такое дело. Безденежье у нас, – я кивнул на чертёнка (он топтался у порога, заглядывал в приоткрытую дверь, принюхивался, но войти боялся).

Женщина всё поняла и вынесла тарелку борща и котлету с вермишелью. Я подозвал чертёнка, он прижал уши и подполз к моим ногам.

Мы наелись как следует; я согрелся и от усталости чуть не задремал. Чертёнок с осоловелой мордахой тоже клевал носом. «Вперёд!» – по привычке бросил я ему, вставая из-за стола, и тут же усмехнулся: «А ведь откатываюсь назад». Но, выйдя из столовой, всё же оправдал себя: «Откатываюсь не надолго, на неделю-другую, чтобы накопить силы и сделать мощный рывок вперёд. Главное – не отчаиваться».

Минувя вокзал, я свернул в проулок – решил выйти на окраину, скоротать где-нибудь остаток ночи, а утром на попутном грузовике отъехать от Шатуры и сесть в скорый на какой-нибудь маленькой станции.

Пёс плёлся за мной – было похоже, он настроился сопровождать меня до Казани. Я решил его прогнать: цыкнул. Он остановился и недоуменно вскинул глаза. «Такой же бродяга, как я», – подумалось.

– Ну куда я тебя возьму? – говорю ему, а он виляет хвостом.

Дождь и снег посыпали сильнее, мы с собачонкой спустились в канаву и спрятались под деревянным мостом. Невдалеке я заметил лист фанеры, подтащил его под брёвна и улёгся; поскуливая, пёс доверчиво ткнулся рядом, начал зализывать ссадины на моих руках. Так мы и задремали, вернее, загрустили под дождём и снегом, прижавшись друг к другу.

Дождь со снегом шёл всю ночь; рано утром я погладил спящего чертёнка и, не оборачиваясь, двинул по переулкам в сторону шоссе; уже вышел на дорогу и стал голосовать, как вдруг вижу, от дома к дому мечется мой чертёнок, растерянно вертит головой, торопливо принимается, в глазах тревога, паника. Заметил меня, взвизгнул, подбежал и сразу успокоился.

– Не могу тебя взять, дружище, – говорю ему. – Никак не могу. Когда я забирался в грузовик, он отчаянно лаял и подпрыгивал. Грузовик покатил, а он ещё долго бежал за машиной, пока не превратился в чёрную точку. Я только и смог пожелать ему – найти себе хозяина. Так и остался он тёмным пятнышком на моей совести. Никто так быстро ко мне не привязывался. И что я в сущности для него сделал? Подумаешь, покормил, укрыл от дождя, а надо же!

На следующей станции мне удалось войти в скорый поезд. Около Муромы появились ревизоры – меня предупредил парень-попутчик, тоже безбилетник, и мы вдвоём ушли в конец состава. В Муроме парень исчез, а я докатил до Арзамаса на подножке почтового вагона и в полной мере оценил выражение «надует глаза»; о таких понятиях, как «заложённые уши», «затёкшие суставы», «сиплый голос», не говорю.

В Арзамасе перед рассветом заметил притормаживающий товарняк, идущий на восток; пролез под вагонами, подбежал к составу и забрался в открытый тамбур. Раздались свистки, послышался тяжёлый бег по насыпи. Выглянув, я увидел охранника с ружьём. Спрыгнув на обратную сторону вагона, я помчался к сараям, черневшим за полотном.

– Стой! – заорал солдат.

Я пригнулся и припустился изо всех сил.

– Стой! – орал охранник, и вдруг как пальнёт! – вроде в воздух, а может, и в меня! Кто знает, что ему втемяшилось в башку.

Часа два отсиживался в какой-то канаве среди палой промороженной листвы и чувствовал себя беглым каторжником. Потом заметил: невдалеке около трактора чадит костёрчик; рядом на корточках сидит мужчина в ватнике; подошёл обогреться, стрельнуть курево.

– Не помешаю?

– Нормалёк. Садись, чего там, – мужчина подбросил в костёр веток. – Картошку будешь? – он пошуровал палкой в золе, выкатил печёную картошку, протянул мне.

– Вон соль, хлеб, порубай... Как сам-то? Приезжий, небось? Местных вроде всех знаю.

Я рассказал, куда двигаюсь.

– Доберёшься помаленьку. Вот днём пойдут машины по большаку. Стой, голосуй. До Канаша подбросят, а там и до Волги рукой подать. Доберёшься. Всё будет нормалёк.

Так и добрался. На попутных. Сутки трясся в кузовах среди досок и железных бочек. В Канаше с туристами вошёл в поезд. Мне повезло – один проводник отсыпался после ночной смены, другой сидел у начальника поезда. Забравшись на верхнюю полку, я спокойно доехал до Казани.

Измученный и голодный, подходил к посёлку; навстречу катили телеги, забрызганные красной глиной. Было стыдно возвращаться домой, потерпев поражение, но я твёрдо знал – это только отсрочка, оттяжка времени, коррективы в первоначальный план, и вскоре снова поеду завоёвывать Москву, даже дал себе клятву: «Только вперёд!».

...Случилось иначе: вторично я очутился в столице только после того, как демобилизовался из армии, и, что странно, попал примерно в ту же ситуацию, что и два года назад. Стояла промозглая смутная весна, погода не радовала, дожди с утра портили настроение, но я был неплохо упакован – в бушлат и сапоги, так что сражаться с непогодой не приходилось, да и мой организм уже был закалён более тяжкими невзгодами – армейскими. Ещё в поезде сведущие люди посоветова-

ли снять комнату за городом; не заезжая к тётке, я двинул в Мытищи к античному герою Станиславу Исаеву.

Мы встретились прекрасно: распили две бутылки портвейна, закурили и наговорились до хрипоты. Станислав показал свои последние холсты, сказал, что серьёзно занимается живописью, собирается жёниться и пишет афиши в местном кинотеатре.

—...Но в основном живу за счёт того, что даю советы, — сообщил мой давний приятель. — Пора открывать бюро всяких услуг.

— Какие советы? — удивился я.

— Всекие. Я ведь здесь слышу мудрецом. Это в Москве меня не ценят, а здесь ценят, и ещё как! За мной гоняются все девчонки и женщины... Уже устроили две выставки. Хотели избрать в исполком, но, ты же знаешь, я презираю власть... В благодарность за советы тащат подарки. Кто тёс для террасы, кто продукты. Умора! Таково моё дорогостоящее внимание. Беру только у богатых... Тебе тоже дам совет. Жми в Подлипки — это рядом, там запросто снимешь комнату с пропиской. Там же полно всякой работёнки. Выберешь что-нибудь попроще, чтоб не ломать голову, а все силы на живопись. И обязательно заведи постоянную подружку. Для декоративного обрамления и вообще. Кстати, в Подлипках самые красивые девчонки по нашей ветке.

— Сколько возьмёшь за совет? — засмеялся я.

— Бутылку портвейна, когда станешь известным, когда в твоей комнате будет валяться не мусор, а деньги. А пока угощаю я. Посиди, просмотри холсты, прочувствуй их как следует. В Москве ведь живопись конъюнктурная, построена на расчёте — одним словом, бедность души, а у меня искренняя. Они создают хаос, а я гармонию. У меня всё красиво, как православное пение. Их вклад в искусство и мой — существенная разница. Я ставлю перед собой серьёзные задачи. Посиди, я сбегая ещё за одной бутылкой. Давно так душевно не выпивал, что значит стариннейший друг, — он легонько двинул мне кулаком в плечо.

У платформы Подлипки я встретил почтальоншу, которая согласилась прописать на несколько месяцев. Почтальонша (её звали Мария Ивановна), одинокая старушка с писклявым, как сверло, голосом,

выделила мне маленькую комнату, поставила раскладушку, я набил в стену гвоздей – получилась вешалка.

Через два дня оформился грузчиком на Москва-Товарную, где разгружали вагоны с арматурой, сухой штукатуркой, железной сеткой, подшипниками и «птичками» – дощатыми ящиками, внутри которых находились приборы, растянутые на пружинах. Новеньких в свой клан грузчики принимали неохотно и меня долго ощупывали взглядами, потом кивнули: пошли, мол, посмотрим тебя в деле, потянешь или нет.

Мы работали не жалея живота, без перекуров – простой вагонов лишал премиальных. Ко мне не присматривались – меня откровенно принимали за некий измерительный прибор: громоздкую штукатурку клали на спину неровно, хотя все работяги были с немалым стажем и глаз имели намётанный. Делалось это нарочно, чтобы меня заносило – устою или нет? И рулоны сетки мне выбирались потяжелее и тоже клались, чтобы одно плечо перетягивало.

– Дня два, солдат, выдержишь, тогда сработаемся, примем в свои, – шепнул мне пожилой грузчик с платком, завязанным вокруг шеи.

Надо сказать, что, несмотря на худобу, я не был слабаком и уже имел навык погрузки, потому и выдержал испытательный срок. Ну а когда грузчики увидели, что я и козла забиваю не хуже их, меня окрестили «десятником» («девять наваливай – десятый тащи»). Первые дни, пока ехал в электричке к почтальонше, жутко болели руки и ноги, и спину не мог разогнуть, а по утрам еле вставал. Потом втянулся. До зарплаты жил скромно: покупал рыбу, картошку и лук и варил большую кастрюлю супа на два дня; деньги тратил только на хлеб и «Приму».

Дальше всё пошло как по накатанной: работал, ездил в электричках, завтракал и ужинал в привокзальных забегаловках, читал газеты и слушал радио (наступила бурная хрущёвская эпоха); в выходные дни помогал почтальонше по хозяйству: вскапывал участок, ходил с её списком по магазинам, отстаивал очереди (наши вечные унижительные очереди!) за семенами, удобрениями – на живопись совершенно не оставалось времени. И никаких романов не подворачивалось, никаких изменений в моём положении не происходило – ни в лучшую,

ни в худшую сторону; другими словами, романтические чувства обходили меня стороной; только и оставалось мечтать о «постоянной подружке».

Как-то с утра лил весенний дождь: стучал по тротуару, грохотал в водосточных трубах, булькал в канавах, беззвучно стекал по стенам домов, но на лицах москвичей не виделось уныния. «В дождь хорошо работается», – подмигнул один мужчина другому у ларька. В троллейбусе мальчишка что-то выводил пальцем по запотевшему стеклу – «красиво!» – похвалила его мать.

После работы в ожидании электрички я сидел в стекляшке на Каланчёвке, промокший, пил кофе, чтобы согреться, и смотрел за окно на прохожих под дождём. Дверь в кафе открылась – с улицы донёсся плещущий шум и запах сырости – отряхиваясь, к стойке подошла темноволосая девушка в чёрной шляпе и чёрном плаще. «Что за монахиня?» – необычное одеяние незнакомки немного развеселило меня. Девушка взяла чашку кофе и неожиданно села за мой стол, хотя было немало свободных мест.

– Какой горячий кофе, – монахиня посмотрела на меня в упор и улыбнулась.

– Почему вы в трауре? Кто-нибудь умер? – я попытался шутить.

– Это мой стиль. Вам не нравится? – девушка торжествующе улыбнулась и расстегнула плащ, обнажив короткую юбку и прямо-таки точёные колени.

Монахиня моментально превратилась в беспутницу. Меня немного залихорадило.

– Прям не дождусь тёплых дней, хочется походить в платье, – она отпила кофе. – Когда у меня плохое настроение, я надеваю лучшие вещи, пройду по улицам, все разглядывают, пристают... и у меня поднимается настроение.

Она назвалась Сильвой и пояснила, что её отец крупный начальник, а мама, «конечно, не работает. Зачем? У нас и так всего полно».

За окном продолжал лить дождь; стёкла помутнели, и прохожие превратились в призраки из влаги. Мы пили кофе, и она без умолку тараторила:

–...До замужества меня прям замучили молодые люди: дарили цветы, звали в гости. А меня легко уговорить. Я такая дурочка, прям не знаю, – накаляя интерес к себе, она снова улыбнулась и с преувеличенной откровенностью добавила: – Выпью вина – и на всё готова, уже в разобранном виде, – она положила ногу на ногу, оттянула юбку.

Я занервничал.

–...Чтоб не делали предложений, я носила мамино кольцо. Всё равно прохода не давали. А когда вышла замуж, оборвали телефон, все стали делать предложения...

Я таращился на её колени, меня бросало то в жар, то в холод.

– Мужа я не люблю. Он-то без ума от меня. Его посылают в Париж. Говорит, без меня не поедет. А мне не хочется. Кстати, извините, мне надо позвонить – приглашали на дачу, но я откажусь.

Виляющей походкой она направилась к вестибюлю. Сквозь стеклянную дверь я видел – в трубку она не говорила, но, вернувшись, без зазрения совести объявила, что отказалась от поездки, и усмехнулась:

– Я люблю авантюры. Если хотите, пригласите меня к себе. Я ведь так просто возьму и поеду. У вас соседей нет? Нам не будут мешать?

– Есть хозяйка, но она ко мне не заходит, – еле сдерживая волнение, с мужланским простодушием я взял её за локоть.

– Ой! Не дотрагивайтесь до меня. Я такая чувствительная... Обычно я мужчинам говорю: «Вы мне нравитесь, но спать я с вами не буду». А потом они меня уговаривают... Ну хорошо, я сейчас позвоню ещё в одно место, и потом мы что-нибудь придумаем.

Виляя бёдрами, она снова вышла в вестибюль и опять ни с кем не разговаривала. Потом стремительно подошла.

– К сожалению, должна вас покинуть. Меня ждут.

– Давайте встретимся попозже?

– Нет! Я не смогу. Я занята. И не уговаривайте меня.

Мы вышли в вестибюль, и она в третий раз набрала номер.

– Максим, где же ты ходишь? Который раз звоню. Прошу тебя, подожди меня... Ну пожалуйста! Я возьму такси...

Она выбежала из кафе, не попрощавшись; придерживая шляпу, пересекла улицу и исчезла за дождевой сеткой. А я стоял на месте, сне-

даемый ревностью и отчаянием, не в силах понять, для чего она корчила из себя роковую женщину.

Два раза звонил Чернышёву, и он назначал мне встречи в пивбаре. В первую встречу коллекционер «левой» живописи и психиатр (он окончил институт и работал в больнице) разразился руганью, отчитал меня за то, что из армии не писал – «как последний свинтус», что, очутившись в Москве, не позвонил, что забросил живопись и таскаю «железки».

–...Ты не для этого родился! Потом будешь жалеть, называть эти годы – годами упущенных возможностей! – Чернышёв топал на меня и вновь рисовал моё «удачливое будущее».

При повторной встрече Чернышёв олицетворял доброту:

– Сейчас в живописи образовалась пустующая ниша, – доверительно сообщил мне, – ты один из тех, кто должен её заполнить. Во всю мощь. То есть стать мощным живописцем. И вот ещё что – за одной хорошей мыслью у меня обычно следует другая: тебе надо завести роман с какой-нибудь классной девчонкой (легко сказать: «надо завести!», да ещё с «классной!»). Без романа твоя жизнь носит бессмысленный характер. Думаю, ты и в этом деле продвинешься далеко.

Исаев и особенно Чернышёв подстегнули моё честолюбие – я выполнил первую часть их заповеди: с полочки купил грунтованный картон, кисти, краски и стал выкраивать время для живописи; писал этюды, натюрморты, но то и дело бился над элементарными вещами и часто заходил в тупик – мне явно не хватало учителя, только где его было взять? Со второй частью заповеди моих наставников дело обстояло сложнее.

Несколько раз заходил к тётке, но теперь она встречала меня менее приветливо, а частенько ставила удручающий диагноз:

– Вроде повзрослел, а всё болтаешься. Жениться тебе надо! Парень ты видный. Вон у нас на фабрике девки – все как на подбор. Таньку взять. И хороша собой, и работающая. Чем не жена? Уж кто-кто, а я умею разбираться в людях. Прописался бы у неё, а там, глядишь, и комнату получите... Раньше люди боролись с трудностями, а сейчас сами себе уstraивают...

Тёткину критику я воспринимал спокойно – точнее, не брал во внимание – был уверен: рано или поздно выйду на солнечную дорогу, и наступят благодатные времена. Как и прежде, тётка посылала меня на кухню посмотреть супчик (или чайник) и, пока я ходил, выпивала у шкафа. Когда я возвращался, она уже, кряхтя, укладывалась на кровать, морщилась, потирала виски.

– А любовь – это сказки одни... Я вон с Фёдором уже скоро как тридцать лет живу... без всякой любви... И ничего, слава богу...

Она снова посылала меня на кухню, опрокидывала очередную рюмку, ложилась, закрывала глаза – проспиртованный организм быстро сдавался под натиском сна, но тётка продолжала сбивчиво бормотать:

–...И специальность тебе надо занять. Иди к Фёдору в ученики. Хорошо платят. Сам знаешь, всё упирается в деньги...

В те дни произошло важнейшее событие. Как-то после работы я направился к тётке. Была середина мая, но столбик термометра уже зашкаливал за двадцать, и на небе – никаких признаков дождя. Я вышел из метро и внезапно увидел – навстречу вышагивает стройная девушка, в одной руке держит торт, в другой – цветы. Она шла необыкновенно: летящей походкой, пританцовывая, раскачивая коробку с тортом, устремив взгляд в небо, и при этом что-то напевала. Сердце у меня сильно застучало. «Романтическая мечтательница», – подумалось, и, когда девушка прошла, я двинул за ней. Через Крымскую площадь, мимо Иняза на Метростроевской ковылял за «мечтательницей» и трусил подойти и заговорить. На троллейбусной остановке она обернулась и, увидев меня, улыбнулась, просто и приветливо. Казалось бы, её улыбка должна была придать мне смелости, но я, чудило, почувствовал обратное – что трусость переходит в страх.

«Мечтательница» вошла в троллейбус и села в середине салона. Я тоже вошёл. Место рядом с ней было свободным, но предательская слабость парализовала меня – «надо было подойти на остановке, а теперь всё, упустил момент».

Она вышла на Тверском бульваре, взглянула на меня, нахмурилась и быстро направилась в сторону Пушкинской. Я шёл за ней медленно,

делая вид, что нам случайно по пути, – даже перешёл в сквер, чтобы она не подумала, что выслеживаю её. Мы шли параллельно друг другу, я чуть позади. «Мечтательница» по-прежнему посматривала в мою сторону, но вдруг вошла в подъезд и скрылась. «Всё! – мелькнуло в голове. – Потерял навсегда». Остановившись в сквере напротив подъезда, я растерянно смотрел на окна дома. И внезапно... она появилась в окне третьего этажа с какой-то девушкой, показала на меня, и они засмеялись.

Некоторое время я кружил за деревьями, но не спускал глаз с окна и подъезда. Торчал в сквере, пока не стемнело. В том окне зажгётся свет, но сквозь шторы ничего не было видно. По моим подсчётам, она и её подруга уже выпили не один чайник чая. «А может, у них день рождения? Но и ему пора закончиться – такие девушки не могут поздно возвращаться – наверняка у неё строгие родители», – в голову лезла всякая чепуха; сердце уже успокоилось, я продрог, устал и ужасно проголодался, но продолжал ходить взад-вперёд, точно часовой, потерявший надежду на смену караула. Я сел в последний троллейбус и, когда он отъезжал, всё посматривал на подъезд.

Ночевал у тётки, но уснуть долго не мог – всё казалось: как только отъехал от сквера, «мечтательница» вышла из подъезда.

В тот беспокойный день, когда во мне бушевал опустошительный пожар влюблённости, я написал первое письмо девушке – как теперь понимаю, бездарное (а может, как раз наоборот, замечательное), в конце которого назначал свидание.

На следующее утро приехал на Тверской бульвар, по окну вычислил квартиру и позвонил.

Дверь открыла девушка, которая накануне выглядывала с ней из окна. Она была в халате, непричёсанная.

– Вам кого?

– Понимаете... вчера к вам зашла девушка... с тортом...

– Ирка Квашевская, что ли?

– Я не знаю её имя... Вы не могли бы передать ей письмо...

Девушка взяла конверт.

– Да она здесь. Ирк! Это к тебе!

И тут я увидел её... в переднике, с тарелками – она направлялась, видимо, на кухню; за ней вышагивали двое парней.

Слома голову я бросился вниз по лестнице; сделав крюк, забежал в сквер и впился в окно – она стояла с подругой у окна, они читали моё письмо и смеялись. Это выглядело предательством и было не похоже на «романтическую мечтательницу».

Предательство всегда неожиданно, и, ясное дело, оно нешуточно подкосило меня, тем не менее я настроился на свидание и подготовился к нему как нельзя лучше: чтобы изменить свой пресноватый вид, съездил к Исаеву и одолжил у него костюм и ботинки; брюки были короткие, но я ослабил ремень и приспустил их; ботинки оказались тесноватыми, но терпимо. После этих манипуляций взглянул в зеркало и отметил: мой внешний вид облагородился, в гражданской одежде я выглядел получше, чем в солдатской форме.

Затем на рынке купил большой букет пионов (мне казалось, что большой букет говорит о щедрости поклонника). Цветы купил утром, и в течение дня они вяли один за другим. Что только я не делал: ставил их в бидон с водой и бросал туда таблетки пирамидона, срезал увядшие лепестки, но к вечеру от букета осталась половина, и всё равно он выглядел внушительно.

К месту встречи я пришёл раньше времени и курил одну сигарету за другой. Погода вновь стояла как по заказу.

Это было моё первое свидание. В преддверии встречи сердце чуть не выскакивало из груди. Я просматривал улицу от одного выхода из метро до другого, но она опаздывала. И вдруг я увидел её и замер от напряжения – меня охватила тревожная радость. Она подошла, поздоровалась. Я протянул букет и предложил погулять в парке Горького (заранее запланировал – где ж, как не в парке, гулять с «романтической мечтательницей»? ). Моё предложение не вызвало энтузиазма, она усмехнулась, взглянула на меня, как на дуралея, но пошла.

Я медленно переступал рядом с ней, вдыхал запах её духов, и никак не мог унять дрожь в теле, и, как назло, не мог выдать ни слова. Потом собрался и, не слыша собственного голоса, вякнул что-то о «пре-

красной погодке» и «прекрасных спортивных лодках» на Москве-реке, попросил её рассказать о себе.

– Модный вопрос. Вам что, прямо всю анкету?

От этой резкости сразу набежала облачность.

– Нет, что-нибудь. Что хотите.

Закатив глаза к небу и как бы окружая свою жизнь непроглядным туманом, она произнесла несколько фраз:

– Учусь в институте... Послезавтра уезжаю на юг... А сегодня не знаю, куда себя деть.

«Уезжает на юг!» – тучи сгустились, потемнело; на меня накатила пронзительная тоска. Я-то настроился видаться каждый день, настроился на ослепительный роман, а она уезжает!

– А вы работаете, учитесь? – вдруг спросила она и, не дождавись ответа, что-то запела.

Я почувствовал духоту и снял пиджак.

– Для чего вы раздеваетесь, вы ж не Аполлон?! – хмыкнула «мечтательница».

Тучи рухнули на землю. Её «остроумное» замечание сразило меня наповал, я снова напялил пиджак и надолго умолк. Ещё с полчаса мы бродили по набережной в парке, наконец она вздохнула:

– Здесь холодно. И вообще мне пора домой, – она поёжилась, давая понять, что является хрупким капризным созданием.

Я предложил встретиться на следующий день. Она согласилась – солнце пробило облачность – но... не пришла. Я ждал её полтора часа, думал, перепутала время. Вечером подошёл к дому подруги в надежде встретить её или увидеть в окне...

В последующие дни у меня постоянно болела голова, щемило сердце, и я уже не надеялся на скорое выздоровление и никак не мог понять причину своего поражения, почему эта Ира Квашевская жестоко отвергла меня? Понадобилось несколько лет, пока до меня дошло, что столичной девице нравились современные молодые люди, а с неуверенным в себе дремучим провинциалом попросту было скучно. Что и говорить, с сердечными делами обстояло плоховато. Светлана, Сильва, Ира Квашевская – одни поражения,

а мне уже шёл двадцать второй год, и девушки всё больше занимали мои мысли, временами вообще не выходили из головы. Несмотря на чувствительные поражения, я не сломался и убедил себя, что эти поражения – ничто в сравнении с целью – стать художником. «Вперёд!» – твердил я и представлял, как все эти девицы сбегаются на мою выставку и просят прощения, умоляют о встрече, но я даже не подаю им руки.

Как-то в начале июня я застал у тётки маленькую худую девушку с кудряшками; они с тёткой пили чай. На кофте девушки висели бусы, брошь, значок и ещё какие-то причиндалы. Я спокойно относился к женским украшениям, но в тот момент они ослепили меня, а ещё больше ослепила короткая юбка, из-под которой выглядывали отличные колени (такие юбки входили в моду, и девушки в коротких юбках пользовались огромным успехом).

– Вот, познакомься – Таня, – сказала тётка. – Я тебе говорила о ней. Посиди с нами.

Девушка ласково улыбнулась, тряхнув кудряшками, всячески показывая, какая она милая. Тётка налила мне чаю и пошла на кухню делать бутерброды. Наступила неловкая пауза. Таня хитро посматривала на меня и улыбалась, а я молчал, как дурак, чувствуя, что степень моего стеснения подходит к идиотизму. Наконец брякнул:

– Давайте выпьем... за знакомство.

– Чаю? Это вы так шутите? – Таня поджала губы и пододвинула ко мне сахарницу как эмблему встречи и выпивки.

Пришла тётка с котлетами и, пока я ел, завела говорильню:

– Вот зашли после работы. Таня ни разу у меня это... не была... а работаем вместе пять лет, да, Тань?

– Ага.

– Таня – передовица, – тётка настойчиво расхваливала Таню, а мне было невдомёк, что всё идёт по чёткому плану, что тётка просто подбила Таню заняться безмозглым племянником.

В конце концов тётка нас выпроводила:

– Ну вы это... идите погуляйте. Я прилягу, что-то давление... Съездите к Тане.

– Ко мне-то нельзя, – сказала Таня, когда мы вышли на улицу. – Ксения Фёдоровна забыла, я живу с сестрой, и соседей у нас – жуть. Сейчас позвоню подружке. У тебя монетка есть?

Это «тебя» мне сразу понравилось. Я настолько осмелел, что в телефонной будке обнял Таню и поцеловал. Она усмехнулась:

– Это ты так шутишь?

Подруги не оказалось дома. А вечер был тёплый, парочки спешили в Парк Горького. Я вспомнил, что в Нескучном саду полно укромных уголков.

– Пойдём в конец парка, – буркнул.

Таня кивнула и взяла меня под руку. В нетерпеливом возбуждении я шёл быстро; Таня, держась за мою руку, почти бежала, но не просила идти помедленней, только усмехалась:

– Это ты так шутишь? Я стану чемпионкой по бегу.

В «Нескучке» на скамье мы начали жадно целоваться, а когда стемнело, направились к Воробьёвым горам (я их так называл на старый манер, как тётка и все коренные москвичи), нашли глухое место и плюхнулись на землю.

– Это ты так шутишь? – шептала Таня.

А я тупо подбирался к её телу – совсем обалдел от её кудряшек с запахом дешёвых духов, от украшений и коленок. Там, на Воробьёвых горах, я и стал мужчиной. Запоздало, уже отслужив в армии. Было тепло, сухо, тихо – всё, что называется летним вечером. Почему-то погода запомнилась больше всего.

С того дня я с невероятной готовностью, без всяких нравственных сомнений забросил тургеневские идеалы и каждый вечер простаивал около проходной фабрики «Ударница». Таня выходила с подругами, и те хихикали:

– Вон твой солдатик-грузчик стоит.

Она усмехалась и направлялась ко мне. Мы заходили в какую-нибудь столовку, потом катили на Воробьёвы горы.

Однажды весь вечер лил дождь и до часа ночи мы с Таней стояли в её подъезде, потом она тихонько провела меня в коридор своей коммуналки, и под храп соседей мы легли на сундук... Кажется, тогда

впервые, возвращаясь домой, я чувствовал себя каким-то опустошённым, точно меня обокрали. Непроизвольно вспомнилась «мечтательница» с тортом (только прогулка в парке, а не загульная компания у её подружки). Это было значительным открытием в моей жизни: я смутно догадывался о существовании физической и духовной близости одновременно, и что это и называется любовью.

Но наутро меня снова потянуло к Тане. Я сильно к ней привязался, и её не испугал мой натиск – ей просто надоело встречаться с бездомным мужланом.

– Это ты так шутишь? – спросила она после того, как я снова предложил пойти к ней. – Ты меня всю растерзал. Больше эти номера не пройдут!

Больше никаких номеров не было – она бросила меня.

– Эх ты, разиня! – сказала тётка. – Такую девушку потерял!

В конце июля я уволился с работы и подал документы на режиссёрский факультет института кинематографии (за прошедшие месяцы мои безумные устремления изменились в сторону ещё большего безумия – я вообразил себя режиссёром и решил поступать в один из самых престижных вузов, опять-таки без должной подготовки. Вот бестолочь! Предыдущий опыт меня не вразумил). В приёмную комиссию представил папку рисунков и две инсценировки рассказов Джека Лондона. Работы приняли; я распрощался с почтальоншей и перебрался в общежитие института, которое находилось на платформе Яуза в пятнадцати минутах езды на электричке от Каланчёвской площади. Комендантша прописала меня на месяц, выдала ключи от комнаты, одеяло, подушку.

В общежитии было множество запахов: запах масляной краски от дощатых полов, затхлый запах на чёрной лестнице, где стояли помойные вёдра и бутылки из-под дешёвого вина, запахи жареной картошки и сохнущего белья на кухне, запах пара в душевой, запах хлорки в туалете – эти запахи много лет преследовали меня.

В нашей комнате стояло пять кроватей, пять тумбочек; над каждой кроватью висели фотографии и картинки, которые обозначали интересы владельца, говорили о его определённых ценностях.

Кровать у шкафа занимал Алёша Чухин, «коренной ярославец», поступавший на художественно-оформительский факультет. Среднего роста, светловолосый, с затуманенным взглядом (от сильной светочувствительности глаз), он находился в постоянном напряжении, в нём шла непрерывная работа по запоминанию всего увиденного. С утра вместо гимнастики Алёша делал карандашные наброски; после завтрака писал наши портреты маслом; днём не расставался с блокнотом: идёт по улице, заметит сукастое дерево, или изысканный балкон, или колоритного старика – сразу брался за карандаш; рисовал в метро, в трамвае, в библиотеке.

– Не могу не работать, – говорил. – Хорошо или плохо получается, пусть судят другие, но я всё делаю по-своему.

Рисование было его призванием, даром; и этот его талант всячески поддерживали родители, простые рабочие: отец-механик и мать-посудомойка.

«Валетом» к Алёше располагалось ложе общительного Сашки Орлова, высокого, спортивного парня, с отличной, прямо-таки вылепленной фигурой и поставленным голосом. Сашка поступал на актёрский. По утрам, ополоснувшись под душем, он входил в комнату и, эффектно растирая тело полотенцем, распевался – пробовал голос, а нам бросал:

– Как смотрюсь? Полный порядок?! Выше нос, провинциалы! Не тушуйтесь! Само собой, Москва – это вам не Рязань и не Казань, но для западника – та же большая деревня... Но мне за граница до лампочки. Я был в Венгрии, Польше. Там всё подстрижено, прилизано, как на подарочной открытке, – всё ненатуральное. В Москву вернулся – всё своё, родное, пусть обшарпанное, корявое, неухоженное, но живое.

Днём Сашка расхаживал по коридорам в майке и тренировочных штанах – хвастался сложением; от девчонок у него не было отбоя.

– В мире не хватит духов для подарков девчонкам, которых я любил, – как-то небрежно бросил он.

Сын тренера второй сборной по футболу, он запросто называл знаменитых футболистов «Яшками» и «Вовками». Перед экзаменами все

корпели над учебниками, а Сашка спокойно отправлялся на футбол. Он жил в Москве и в общежитии поселился, чтобы избавиться от маминой опеки и свободно встречаться с девчонками, а нам твердил:

– Не спрашивайте меня, как поступить, не говорите, что всё решает блат, взятки, не убеждайте меня ни в чём, верьте в свои силы, – и дальше по нарастающей: – Провинциалы, вам повезло! За мной! Нас ждёт великое будущее! (в чём нам повезло, никто не знал, возможно, что познакомился с ним, идеологом).

Закуток у окна обживал здоровяк из Баку Борис Сааков, сутуловатый, с головой, втянутой в плечи, с оттопыренными ушами и приплюснутым носом; бакинец ступал тяжело, основательно; не упускал случая поучаствовать в драках; он уже поработал на производстве, имел направление на сценарный факультет и был спокоен за своё будущее, потому и держался с нами добродушно-покровительственно, то и дело отпускал безобидные замечания: глупости называл «человеческими слабостями», а умничания – «божественными фразами».

Впритык к моей кровати обитал Володя Серебряков, застенчивый, веснушчатый паренёк из уральской деревни. Один из учителей в деревенской школе занимался фотографией и научил фотоделу учеников. Володя оказался способнее всех. После окончания школы ему всей деревней собирали деньги на хорошую камеру и поездку в Москву для учёбы на кинооператора. Володя вставал раньше всех, заряжал камеру и уходил снимать. Днём он торчал в музеях, а по вечерам – в библиотеках; приходил поздно – и сразу в гладильную, проявлять плёнку. По ночам Володя писал длинные трогательные письма невесте в деревню и украдкой заливался слезами.

Пять человек, пять судеб! За месяц подготовки к экзаменам мы сдружились; вместе ходили на консультации, сообщали всё, что удавалось выведать у многоопытных абитуриентов: пристрастия преподавателей, вопросы, которые задают, как писать экзаменационные работы – то есть каждому определяли диапазон действия. По вечерам вскладчину готовили ужин и до полуночи болтали об искусстве. Мы не были конкурентами и, наверно, поэтому совершенно искренне желали удачи каждому, кто отправлялся на экзамен.

Первой опустела кровать Володи. Его отсеяли ещё на собеседовании. Вторым уехал Алёша. Он сдал всё по специальности, но срезался на сочинении. Третьим собрал свои вещи Сашка. Он не прошёл третий тур, но через год я встретил его – он всё же учился в институте кинематографии.

– Вначале зачислили вольнослушателем, а потом и студентом, – откровенно признался Сашка. – Понимаешь, мы думали, что экзамены – лотерея, а это совсем не лотерея...

Я держался дольше всех, но не потому что оказался самым способным, просто экзамены на режиссёрский факультет проходили позднее. Я не добрал одного балла и, разумеется, в списке поступивших своей фамилии не нашёл.

Приняли только Бориса; когда я уходил из общаги, он одиноко стоял среди пустых кроватей, стоял и смущённо улыбался – вроде ему было неловко, что зарубили тех, кто был не менее способным, чем он.

История повторилась – как и два года назад, я очутился на улице. Вначале ругал приёмную комиссию, потом себя за бездарность. Помнится, точно отверженный, брёл по городу и думал: «Куда ж теперь приткнуться? Моё состояние бездомности становится хроническим. Сколько можно носить ореол мученика? Что за безумный бег на месте?» И вдруг, как утешительный подарок, судьба посылает мне Вильку Рейшвица. Я задержался у доски объявлений на Кировской, решил поискать работу.

– Одна лажа, – махнул рукой парень, стоящий рядом. – Ясное дело, сюда пишут, когда уж никто не идёт.

Он угостил меня сигаретой. Мы пошли в сторону Сретенки.

– Сам-то чем занимаешься? – спросил парень. – Где придётся? Плоховато. А чего не учишься? Не поступил? Ясенько. Я вот тоже, вроде тебя, два раза поступал на журфак. Не прошёл. Теперь пляшу на обломках своих знаний.

Этот Вилька, незнакомый парень, притащил меня к себе домой, накормил, оставил ночевать.

– Вообще-то я тяжело схожусь с людьми, – сказал. – Я колючий, иголокожий, у меня к человеку или безудержная симпатия, или жёсткое противоборство. К тебе, честно скажу, сразу возникла симпатия.

Он жил с отцом в полуподвальной комнате, изъеденной сыростью, в ней даже в жаркие дни стены покрывала мучнистая влага, а из земли перед окном тянулась белая трава. В комнате стоял драный диван, тахта с торчащими пружинами, облезлый шкаф и стол, заваленный книгами и лоскутами материи. Вилькин отец, старый портной, целыми днями строчил на машинке. Они на три дня приютили меня. За это время мы с Вилькой оформили стенд на заводе, рвали в лесу цветы и отдавали их на рынке продавцам за полцены. Потом я соврал, что прописался у тётки, и ушёл от них, чтобы не злоупотреблять гостеприимством. Когда мы с Вилькой прощались, он не великодушно отдал мне последний рубль:

– Вернёшь, когда сможешь. И всех благ тебе.

Где-то на улице я познакомился с Толькой Губаревым, худым, болезненным парнем с выпученными глазами. Толька обучал ребят в каком-то спортивном обществе игре в настольный теннис и писал стихи под Есенина – был помешан на стихах. Он жил в десятиметровой комнате в доме с коридорной системой (в квартире обитало двенадцать семей; на входной двери красовались надписи: «К Ивановым два с половиной звонка», «Петровой звонить семь раз»; Тольке следовало давать пять с половиной звонков). Через день к Тольке приезжала мать-пенсионерка, стирала, готовила обед.

Не занятый тяжёлой работой и земными хлопотами, Толька вставал, когда вздумается, и целыми днями писал стихи (в основном интимные). Неделю я ночевал у него, и всю неделю у меня трещала голова: все ночи напролёт мы пили чёрный кофе, курили до одури, и Толька, неистово жестикулируя, читал стихи (он накатал их целый чемодан).

Толька был обладателем сокровища – пишущей машинки. Я с волнением закладывал в неё лист бумаги, нажимал на клавиши и смотрел, как появляются слова, одно к одному, и, как ребёнок с новой игрушкой, испытывал особый восторг. Я отстучал родным целых три письма и вызвал в Казани немалый переполох: отец с матерью никак не могли взять в толк – с чего это я перешёл на столь официальные послания.

Главными поклонниками Толькиных произведений были соседи, «неразлучные поддавальщики», два фотографа, два Володи – Стрел-

ков и Самолук. Выпив, они заходили к Тольке и многоступенчато «балдели». Начинили издалека:

– Толян, почитай что-нибудь, а?

Толька самым серьёзным образом читал стихи, фотографии раскачивались, кивали, а после каждого стихотворения вздыхали:

– Ты, Толян, настоящий поэт. Пряма суть схватываешь. Всё как есть. Почитай ещё что-нибудь, а?

После десяти стихотворений фотографии вытирали ладонью глаза.

– Великий ты поэт, Толян! Таких щас нет... Пряма за душу берёт, прошибает... Надо ж, чёрт, как сочиняет! Почитай ещё, а?

Толька читал ещё, фотографии всхлипывали, прочувственно бормотали:

– Это ж надо! Так сочиняет! Гений ты, Толян, гений! Береги себя, ты должен долго жить...

– Недостойная цель для мужчины, – ухмылялся Толька. – К тому же все гении умирали рано, – и, чтобы творчески углубить процесс чтения, предлагал скинуться на бутылку.

Дядька Тольки работал бухгалтером на цементном заводе; Толька направил меня к нему с «поэтической запиской».

Завод – огромное грохочущее сооружение – был белёсым от пыли; толстым слоем цементная пыль покрывала цеха, эстакаду и все механизмы; рабочие носили на лице марлевые повязки, в обед бесплатно получали молоко – за вредность. На заводе не хватало рабочих рук, и меня оформили без прописки – с ней обещали посодействовать, и обещали через три года дать комнату, а пока предоставили общежитие... Несколько дней я проработал на цементном монстре: в «наморднике» шуровал совковой лопатой, таскал тяжеленные мешки – ишачил жутко и, как ни отмывался в душе, по пути в общагу ощущал цемент на всём теле, даже во рту, а его запах травил меня и во сне. «Своя комната – заманчивая штука, но через три года мне понадобится не комната, а инвалидная коляска», – рассудил я и к концу недели взял расчёт.

– Ничего страшного, – сказал Толька. – Нельзя в жизни делать только то, что нравится. Поскитайся. Творческому человеку это на пользу. Для

творчества в душе должно быть беспокойство, то есть неблагополучная жизнь на пользу. В твоём безрадостном положении крупные удачи и не нужны – может случиться эмоциональный срыв. Это всё равно что нищему сразу отвалить пару миллионов. Он не переживёт, схватит инфаркт. К успеху надо идти постепенно. И к счастью тоже.

Серия случайных знакомств продолжалась – их перечислю как приветы тем, кто меня, возможно, помнит.

В начале зимы у доски объявлений познакомился с аферистом, вызывающе уверенным в себе Эдькой Горячкиным. Весельчак в пиджаке с иголки и отглаженных брюках, манеры свободные, напевает арии из оперетт – он мне понравился сразу.

– Ничего стоящего, верно, солдат? – подмигнул и расплылся. – Полная невезуха... У тебя как со временем? Здесь в одном месте предлагают сбросить снег с крыш, говорят, не обидят... Тебя как звать-то?

Разговаривая со мной, он теребил пуговицу на моём бушлате (единственную из оставшихся), снял нитку с моего рукава – то есть сразу установил атмосферу дружеского расположения. В тот же день мы четыре часа деревянными лопатами скидывали снег с восьмизэтажного дома. Вначале привязывались верёвками к дымоходным трубам, держались за проржавелые расшатанные поручни, потом освоились и на другой день уже без всякой страховки сбрасывали снег и сбивали сосульки с десятиэтажного дома... Заплатили нам хорошо и сразу наличными. Это была плата за страх, зато потом мы пировали в кафе от души, с зубровкой, рябиновкой, можжевельной... Подзаправившись, Эдька закуривал, откидывался на стуле, напевал.

Он был на три года старше меня, приехал из Вильнюса, некоторое время работал таксистом, прописку имел за городом по Павелецкой дороге, у проводницы поездов Москва – Вильнюс; за прописку расплачивался «любовью». Эдька относился к жизни бездумно и весело, не предавался мечтам, его не волновали глубинные причины происходящего, казалось, он считает, что вокруг всё правильно и справедливо и мир существует только для того, чтобы интересно проводить время; он шёл по жизни размашисто, щедро разбрасывая шутки, комплименты, обещания, – я привязался к нему, оптимисту. Случалось, ожидая

его, простаивал в промёрзших сенях проводницы, пока он «отрабатывал прописку», получал за него посылки из Вильнюса, выполнял разные его поручения. Однажды у нас с ним совсем не было денег, и Эдька легко так, между делом, предложил зайти в ресторан, заказать обед, а потом сбежать. Я был против этой затеи, но Эдька махнул рукой, изобразив праведный гнев:

– Ты вот что, чувак, брось дурака валять. У нас же уважительная причина – полнейшее безденежье, пустые карманы. Кого ты боишься? Да они и не заметят. Это ж наша печальная необходимость. Подумаешь, мы немного поедим. Да они в день зашибают – ого сколько! Облапошивают всех подряд.

Мы зашли в «Арагви» (Эдька был в пиджаке и при галстукe, а я выглядел как его телохранитель), сели поближе к выходу, и Эдька протянул мне меню. Я откровенно трусил:

– Может, не стоит, Эдь?

– Выбериай, тебе говорят. Начни с хорошей закуски, а там посмотрим. И улыбайся! Обаяние – верный путь к успеху.

Эдька выхватил у меня меню, заказал закуску, бутылку вина; когда мы всё умяли, бросил:

– Я первый смоюсь, как бы в туалет. Ты за мной, понял? Встретимся на Маяковке у метро. Волокёшь? И, чувак, главное – не пори горячку.

Я кивнул, и он вышел. Только потом до меня дошло, что первому уйти проще простого и, как более опытный, он должен был остаться.

Прошло минуты две, я уже хотел подниматься, вдруг вижу – к столу направляется официант.

– Ещё что-нибудь хотите заказать?

– Нет.

– Тогда рассчитаемся?

– Сейчас подойдёт мой приятель.

Официант кивнул, отошёл, стал болтать с кем-то, но косился на наш стол. И всё-таки на минуту он отвернулся. Я поднялся и, учащая шаг, двинул к выходу; на улице, не оглядываясь, торопливо перешёл на другую сторону и вдруг услышал сзади:

– Вон он, держи!

Припустившись со всех ног, я свернул в переулок, потом ещё в один. Бегал я быстро, да и в такой момент у любого появится второе дыхание. Когда опасность миновала, зашёл в сквер отдышаться. Это было моё первое «падение», и я чувствовал себя отвратительно. «Больше на такие дела Эдька меня не подобьёт! – зло бормотал я, вышагивая к Маяковке. – Сейчас ему выдам как следует. Сейчас он получит».

Но у метро Эдьки не было. Я прождал его полтора часа. Он обманул меня в мелочи, но я догадывался, что он может надуть и в крупном. На всякий случай мы держали связь через мою тётку – он оставлял у неё записки, в которых назначал место встречи. Когда мы встретились, я высказал ему всё.

– Правильно говоришь, чувак, – хлопнул он меня по плечу. – Неудачный ход. В следующий раз буду умнее, – и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. – Но ты не полыхай, сохраняй нервы, – и вдруг оживился: – Ты вот что, чувак, слушай внимательно, есть дело. Дело, чувак, стоящее. Тут договорился с напарником ставить молниеотвод на одной шарашке, а он приболел. Труба невысокая, дня за два упрямимся. Ты как?

Эдька подмигнул и долго любовался моей реакцией на своё сообщение, потом решительно взял меня под руку и повёл к удаче.

Три дня мы ставили молниеотвод на кирпичную трубу. Надевали страховочные пояса. Лазили по скобам на самую верхотуру. Там покачивало, и ветер посвистывал, а внутри труба сильно гудела. Шлямбуром выбивали в кирпиче дырки, вставляли пробки, протягивали стальной прут, закрепляли костылями. Получили прилично – целых сто рублей – и долго наслаждались этой цифрой. Эдька купил новые брюки, я – свитер.

Вот так появился у меня друг Эдька, жизнерадостный аферист, имеющий циничную шкалу ценностей. Я рассказал ему о себе всё как есть, и он всё понял, потому что тоже был бродягой. Когда деньги кончались, мы ходили по улицам, высматривали трубы без молниеотводов и предлагали свои услуги. Обычно отказывали, но два раза повезло: мы поставили большой молниеотвод на фабрике в Лосинке и маленький на даче одному тузу.

Как-то пришли устраиваться грузчиками на кондитерскую фабрику «Большевичка». Оформили только Эдьку – у него была годовая прописка, у меня – лишь двухмесячная. Через неделю у тётки лежит для меня записка: «Приходи на фабрику такого-то в шесть. Вечер по случаю праздника. Само собой, не ешь, жратвы полно». Насчёт еды он хорошо сострил, я как раз несколько дней ходил голодный; пришёл на фабрику – даже шатает. А Эдька уже весёлый, стайка девиц вокруг него вьётся. Провёл меня через проходную в красный уголок.

– Чего срубаеть? – бросил в самое ухо. – Торт умнёшь?

Я кивнул.

Эдька приволок огромный торт.

– Шёл в переделку, я его и хапнул. Давай копай!

Я осилил половину, больше не лезет – крема многовато.

– Принеси воды, – говорю Эдьке.

Он принёс банку холодной воды, я ещё с водой проглотил немного. Эдька сидит напротив, напевает, довольный. «Вот, мол, как здесь живём. И о тебе не забыл, брат, так-то». Девицы заглядывают в комнату, посмеиваются, корчат рожицы. Наверное, у меня был видок тот ещё!

– Не могу больше, – говорю Эдьке. – Хочется, а не могу.

– Так сейчас ещё чего-нибудь раздобуду. Скажу: народный контроль явился, – и принёс пакет битого печенья.

Я смолотил полпакета и был уверен – съем всё, но не смог. Ворвались девицы, потащили танцевать.

– Не умею, – говорю, – танцевать-то.

А они тянут, и всё.

– Научим! – смеются.

– Точно, научат и утанцуют, – подтолкнул меня Эдька. – При слове «танцы» у женщин теплеют глаза, а при слове «любовь» у них кружится голова. О, моё трепещущее сердце! Но хочу тебе вот что сказать. Ты, как я заметил, слишком серьёзно относишься к девчонкам и выглядишь тяжеловесным. Ты легче смотри на вещи... Вообще-то нам с тобой надо жениться на богатых бабёшках, но вряд ли мы выдержим пресную семейную жизнь.

Эдку уволили с «Большевички» за то, что увлекался ликёрами, которые добавляли в пирожные. Уволившись, Эдка не потерял своего обаяния и сказал мне:

– Знаешь, чувак, у нас кризисная ситуация, но есть одно дело. Деньги ведь повсюду валяются под ногами, надо только нагнуться и поднять. За городом в одном месте плохо лежат продукты. Лично ты только постоишь на стрёме, а завтра отнесём товар на базар, отдадим бабушке за полцены, скажем, из деревни от родственников. Это ж полезная ложь. И денег у нас будет – ого сколько! Как, хорош план, чувак, а?

Вот так он, Эдка, и убил всё во мне. Я жил – хуже нельзя, но на такие вещи был неспособен.

– Нет, не поеду, – твёрдо сказал я Эдке.

Он не был болваном, но запоздало уловил, что мне не только не нравятся такие вещи, но и что это конец нашей дружбе.

– Шутка-малютка! – засмеялся он и взял меня под руку, заглаживая свой промах, но всё было кончено.

Несколько раз я заставал у тётки Эдкины записки, но на встречу не приходил. А весной он отомстил мне, сделал своё тёмное дело: пришёл к тётке, сказал, что я разрешил ему взять бушлат и пилотку, взял мою форму и исчез навсегда.

...В начале лета на почте, которая находилась в тёткином доме, я познакомился с Любой, застенчивой неуклюжей девчонкой из жэка; горечь, бесконечное разочарование читалось в её глазах. Я писал письмо матери, она заполняла какой-то бланк. Не помню, как мы разговорились, помню, вышли из почты, покурили на набережной, я рассказал ей о себе, она о себе... Приехала из Ростова поступать в институт, но срезалась на экзаменах. Решила остаться в Москве.

–...Недолго жила у подруги. Подруга устроилась в жэк техникосмотрителем и меня стала уговаривать, только предупредила: «Одевайся попроще, платок повяжи, а то не возьмут». Дали мне комнату на первом этаже. Я люблю первые этажи, рядом деревья, люди, а на верхних – как в горах... Я даже кое-какую мебель приобрела. Скопила деньги. Сейчас, летом, работы мало, а вот весной...

Мы подружились сразу, с обоюдной тихой радостью, ведь известно – ничто так не сближает людей, как общие несчастья, только я всё время думал: «И почему судьба посылает друг другу неустроенных людей?» Не то что она сильно мне понравилась или я ей, просто нам было хорошо вдвоём. Спустя неделю при встрече Люба сказала:

– Увольняюсь из жэка, снова буду поступать в институт. Комнату придётся освободить. Пока дома отапливают, выселять не имеют права, а сейчас выселят. До экзаменов перебьюсь как-нибудь, переночую у подруги, а потом пропишут в общежитии. Если поступлю...

Мы договорились встретиться на почте на следующий день. Когда я пришёл, она уже сидела за столом; на коленях держала сумку с книгами.

– Сегодня иду к подруге, – объявила.

Подсчитав все наши деньги, мы зашли в столовую, пообедали, потом погуляли по набережной. К вечеру я проводил её в Лужники к подъезду подруги, сам направился к Тольке Губареву. Открыв дверь, Толька развёл руками:

– Никак не могу, у меня девица. Приходи завтра.

Решил напротиться ночевать к Чернышёву, позвонил, трубку сняла его мать, сказала, «сын в командировке». К полуночи добрался до Вильки, а на их двери – висячий замок. Поёживаясь, закурил и двинул в сторону тёткиного дома. У меня всегда так – уж если не везёт, так не везёт во всём: тёткино окно оказалось незанавешенным, и от ночёвки у неё пришлось отказаться. Побрёл в сторону Лужников в надежде пристроиться к какому-нибудь сторожу на стройке или найти подходящее укрытие в пустых, ещё не снесённых домах. Как-то само собой очутился около дома Любиной подруги. Зашёл в подъезд. Показалось, тепло. Поднялся на две-три ступени и вдруг увидел Любу – она сидела у батареи, положив голову на сумку с книгами.

– Подружка не пришла домой, – прошептала Люба.

Мы прижались друг к другу, накрылись моей курткой и задремали.

Через несколько месяцев скитаний я вновь прописался у почтальонши (на этот раз Марья Ивановна расщедрилась на полугодовую прописку) и решил устроиться работать на «Мосфильм», чтобы быть поближе

к киноделу и на следующий год идти на режиссёрский во всеоружии, но оказалось, таких умников на студии было немало. Мне предложили должность почтового агента (начального третьего разряда) на соседней кинокопировальной фабрике; выбирать не приходилось.

Теперь с утра я крепил бирки к железным ящикам с кинолентами, грузил ящики в кузов грузовика и с шофёром развозил почту по всем вокзалам города. Это была интересная работа: во-первых, я подробно изучал Москву, все закоулки и выезды, во-вторых, имел возможность смотреть новые фильмы, но, главное, выпадали дни, когда работал всего по четыре часа... Обычно приезжали нерасторопные шофёры, и мы подолгу торчали у вокзалов, но иногда прикатывал «рыжий коротышка» Женька – шофёр-солдат, который, вроде меня, недавно демобилизовался – тогда выпадал безумный денёк. Женька еле доставал ногами педали, и, когда тормозил, привставал с сиденья, но его мастерству мог позавидовать любой. Он отлично разбирался в системах машины, имел потрясающую реакцию и как никто знал Москву. Бывало, мы с ним управлялись до двух часов дня. Гоняли кратчайшими путями, минуя забитые транспортом улицы, срезая углы; подлетали к вокзалам, вклинивались меж почтовых грузовиков и быстро по накладным перекидывали почту. Потом я подписывал Женьке путёвку и спешил на этюды, а он жал к мебельному – подхалтурить.

Это были лучшие дни моей тогдашней жизни. Конечно, в те часы, что мы с Женькой работали, мы вкалывали до седьмого пота, после работы руки и ноги отваливались, но мой напарник говорил:

– Мы что! Вот наши отцы и матери, и особенно деды, работали так работали. Сейчас они были б героями труда.

Пару раз после работы с Женькой выпивали в «Прибое» – поплавке на отводном канале Москвы-реки (в народе его называли «Санта-Мария»). В «Прибое» на десять рублей можно было взять бутылку коньяка «сорок оборотов» и два цыплёнка табака. Там выступал цыганский ансамбль и веселье било через край... Забалдев, мы с Женькой болтали о девчонках.

Женька до армии был женат, но его брак закончился как в душеспательном фильме: пока он служил, его благоверная нашла другого.

–...Я любил её, – рассказывал Женька. – Ещё когда женихался, на свиданья таскал букеты, дарил духи. Полгода только и целовались... Как-то ночью заплатил за рейсовый автобус: шофёр сошёл с маршрута и довёз её до дома... Я к ней хорошо относился, и она, дурёха, подумала, что и все мужики такие. Не зря говорят: «Много хорошего – тоже плохо». Не ценишь хорошее-то. Она связалась с эгоистом, а это куда хуже, чем любые другие недостатки. Сгоряча я решил ей отомстить и переспал с её подружкой, но она только пожалала плечами. Начисто разлюбила меня... Я сказал: «Ну что ж, прощай, дорогуша, желаю счастья!» И ушёл от неё красиво – подарил ей свою комнату, зато оставил уважение к себе. Теперь живу у матери... А с женой теперь друзья. И больше жениться не собираюсь. Лучшая жена – бывшая жена.

Во время нашей второй выпивки в «Прибое» я заметил за соседним столом не слишком яркую одинокую блондинку, моего возраста; перед ней стояла тарелка с цыплёнком и рюмка коньяка; блондинка выглядела предельно спокойной, словно проводить вечер в одиночестве для неё – дело привычное. После того как мы с Женькой выпили бутылку вина, блондинка уже показалась мне довольно яркой; когда мы прикончили вторую бутылку, я был уверен: она жгуче-яркая красавица, а её одиночество – несправедливость судьбы. Во мне возник ветер желаний. Как только начались танцы, я подошёл к соседнему столу.

– Можно вас пригласить на танец?

Танцевать я не умел, но спяна подумал: «Что-нибудь само собой получится». К тому же в проходе уже толпилось столько пар, что ни о каком танце не могло быть и речи, – втиснуться бы в массу да немного подёргаться.

– Меня? На танец? – переспросила блондинка. – Но вы не будете со мной танцевать.

Пару секунд я осмысливал её заявление и вдруг подумал: «Хромоногая!» Но тут же решил: «Плевать! Уж очень красива!» – и выпалил:

– Буду!

Она встала, и я вскинул глаза к потолку – в ней было два метра! Несколько опешив от партнёрши такого калибра, я всё-таки почувст-

вовал – ветер желаний задул с убойной силой. В танце мой подбородок упирался в её грудь, а руки обнимали не талию, а бёдра, но это обстоятельство ничуть не смущало мою партнёршу – она с прежним спокойствием переступала с ноги на ногу (нас со всех сторон стискивали парочки; как я и предвидел, для танца совершенно не было места – к моей радости). Во время телодвижений, ощущая под платьем гибкое тёплое тело, я выяснил, что блондинку зовут Яна, она из Новосибирска, состоит в юношеской сборной страны по баскетболу.

После танца я распрощался с Женькой (он благословил меня на подвиг), и подсел к Яне, и выудил из неё дополнительные сведения – приехала на игры, остановилась в гостинице ЦСКА, Москву не любит – в ней «полно суетников». Всё это я узнал за бутылкой вина, которую заказал со спокойного одобрения великанши. К концу вечера я набрался мужества и выдал:

- Поедем к моему приятелю (решил напроситься к Тольке Губареву).
- Хорошо. Это далеко?

Через полчаса с двумя бутылками «Имбирной» мы подъехали к Тольке и дали пять с половиной звонков. К счастью, поэт был дома и один.

Откупорив бутылки, мы с Толькой начали произносить тосты за баскетбол и поэзию. После каждого тоста Толька мучил нас стихами – выпендривался перед гостьей и так и сяк, нарочно выбирал разнужданные строки, но моя подружка (именно моя!), молодчина, равнодушно отнеслась к его виршам.

Почти до утра мы обхаживали Яну с двух сторон, и, повторюсь, Толька извивался, точно клоун, и так и норовил отеснить меня, но ему это не удалось – слишком силён был мой ветер желаний. В конце концов он смирился с поражением и благородно улёгся на раскладушке, предоставив нам с Яной тахту. И здесь произошло самое интересное: в момент, когда мой ветер перешёл в ураган, Яна оставалась абсолютно спокойной, ещё спокойней, чем прежде, будто всё происходящее её не касается, и в постели она совершенно случайно, да и не она вовсе, а её тень. В пик моего торжества она вдруг проговорила:

– Хочется чего-то особенного.

В голове мелькнуло: «Наверняка хочет любви втроём! Ну уж дудки!» Как все собственники, я не собирался делиться счастьем.

Утром меня растормошил Толька:

– Опоздаешь на работу!

Я вскочил, оделся, стал будить Яну, а она, не открывая глаз:

– Голова болит. Да и у меня сегодня свободный день.

На работе я весь извёлся от ревности, какие только картины не вырисовывались перед глазами, через каждые двадцать минут звонил Тольке, но соседи неизменно повторяли:

– Никто не отвечает. Вроде никого нет.

После работы примчал к поэту – он уже читал стихи фотографам; Яны в комнате не было.

– Где она? – выдохнул я, когда мы с Толькой вышли в коридор.

– Уехала в гостиницу. Мы с ней весь день занимались сексом. Странная чувиха. Всё говорила: «Хочется чего-то особенного». Чего – я так и не понял.

В гостинице мне сказали, что баскетболисток автобус повёз в спортзал, а оттуда – в аэропорт. Когда я добрался до спортзала, они уже закончили тренировку и, в ожидании автобуса, сидели на огромных сумках, разгорячённые, шумные и все как одна – длиннющие, прямо гулливерши рядом с тренером, мужчиной среднего роста.

Увидев меня, Яна не удивилась и спокойно кивнула, а когда я сказал: «Отойдём в сторону», нехотя встала; было ясно – говорить со мной – для неё сущая мука.

– Когда ещё приедешь? – прохрипел я.

– Не знаю... А ты неплохой парнишка, но больно суетной... И бесчувственный, неласковый... Все вы, москвичи, только и знаете одно. Как барабаны. Нет чтобы подготовить женщину, пригласить в театр...

Простая истина, что каждой женщине нужна прелюдия к любви, до меня дошла позднее, и, хотя не сгладила моего мужланства, я всё-таки имел её в виду; до Тольки эта истина тоже дошла, но он посчитал,

что достаточно стихов, которые обрушивал на слушательниц, что женщины просто обязаны любить поэта.

На нашей почте только заведующий был профессиональным почтовиком, остальные трое работников (в том числе и я) осваивали специальность по ходу дела и оформились на почту лишь для того, чтобы находиться поближе к киностудии; то есть мы принимали и отправляли киноленты, но наши души были на съёмочных площадках.

Заведующий – отставной военный Иван Иванович, низкорослый (ниже шофёра Женьки-«коротышки»), с лицом жёлтого цвета (имел прозвище Жёлтый Карлик) – на работе демонстрировал острейшую память и распекал нас за малейшее ротозейство, но после работы частично впадал в крутой склероз: выпьет и забудет, что выпил, – домой заглянет, и идёт в пивную, и после двух-трёх кружек пива забывает обратную дорогу. Впрочем, это не мешало ему встречаться с буфетчицами фабрики Раей и Ритой, сёстрами-толстушками, которых мужчины называли «То что надо!» – дорогу к сёстрам Карлик не забывал никогда. Сёстры страшно ревновали Ивана Ивановича и друг о друге говорили гадости: «У неё одна грудь больше другой», «Она на ночь не принимает душ, говорит – утром принимала».

Жёлтый Карлик Иван Иванович был помешан на политике и страшно гордился своим прозвищем, поскольку считал, что все выдающиеся политики – маленького роста, и, по моим наблюдениям, сам готовился занять властный пост. Когда я появился на почте, он спросил:

– Как ты относишься к политике? Участвуешь в ней или предпочитаешь на всё смотреть из окна?

Когда я сказал, что мне не до неё, он укоризненно бросил:

– Где твоя гражданская позиция?

– В заднице! Там же, где и у меня, – выручил меня Сашка Ветров, гладко выбритый блондин с «задумчивой интеллигентностью», который не ходил, а скользил; он работал упаковщиком (крепил бирки с помощью кувалды и сопутствующих выражений), но его душа витала на сценарных курсах.

Сашка со всеми держался свободно, но панически боялся девушек, пока не снялся в массовке какого-то фильма и не почувствовал себя

«актёром» – тогда он стал важным, с приятелями разговаривал заносчиво, а девушкам небрежно бросал:

– Ну что, заинтересовать вас, влюбить в себя?

Или:

– Вы ещё не влюбились в меня?

Походка его существенно изменилась – он уже не скользил, а вышагивал.

Документацию почты вела Зинаида; её душа кинозвезды временно витала на «Мосфильме», а прицел имела дальний – Голливуд. Зинка (как мы её звали меж собой) была с приветом. До почты она училась в театральном училище, но её отчислили за бездарность (как приняли – непонятно; возможно, за яркую внешность); она, разумеется, говорила, что сама бросила учёбу:

– Там одни дураки и ничему научить меня не могут, да и я уже законченная актриса, не хуже Тейлор... У меня есть продюсер, он сделает из меня знаменитость... С утра до вечера носит меня на руках (с утра до вечера она перебирала бумажки на почте; возможно, продюсер таскал её в выходные). Я ведь уникальная, мне с утра надо обязательно съесть кокос, иначе мозг не работает... Я не могу питаться, как обыкновенные люди: есть картошку, хлеб (в обед в столовой лопала всё, что и мы).

К сожалению, болезнь Зинки прогрессировала; вскоре она доверительно сообщила мне:

– Ночью не сплю, пишу стихи. Лучше Шекспира. Но голова болит.

– Прими снотворное, – простодушно ляпнул я.

Она вспыхнула:

– Как ты смеешь это говорить?! Разве я могу пить какие-то таблетки?! Цвет лица изменится, а я знаменитая актриса, снимаюсь в кино (однажды снялась в массовке). Я в день должна съесть баночку чёрной икры, кокос.

Через несколько лет мы случайно встретились на улице, и она вцепилась в мой рукав.

– Ты не мог бы написать тысячу объявлений и развесить их? Я хочу поменять квартиру, у меня перед окнами высоковольтка, и всё время болит голова.

– А почему ты сама не напишешь?

Она выпучила глаза и топнула ногой:

– Что ты говоришь?! Кто я, и кто ты?! Я великая актриса, обо мне книжки написаны. Мне звонят из Голливуда, предлагают роль, тысячи долларов в день.

В начале лета наша контора приобрела пикап, а поскольку я ещё в армии получил водительские права, мне предложили совместить две профессии: почтового агента и шофёра – на полставки – естественно, с повышением заработка. Я взошёл на вершину почтовой карьеры.

Машина была новой, возиться с ней не приходилось. В девять утра я приезжал на Мосфильмовскую, грузил в пикап киноленты, потом заправлялся на бензоколонке у Окружного моста и ехал к вокзалам. Случалось, подкидывал голосующих – сам знал, каково стоять с вытянутой рукой. Денег не брал, говорил, «своих куры не клюют», – было приятно корчить из себя миллионера, ведь иная бабуса и правда думала, что я сказочно богат и катаюсь просто так, для удовольствия.

Особенно я любил катить утром по набережной под деревьями, когда по лобовому стеклу ползли тени от листвы. Частенько перед глазами вставала окраина Казани, посёлок в поле и наш дом, весь в черёмухе... Иногда заезжал к тётке, уговаривал её покататься, но она отказывалась: была уверена – я непременно влечу в аварию.

Моё благополучие на почте продолжалось всего два месяца. По штату на фабрике числилась ставка шофёра. Директор фабрики, башковитый мужик, понимал, что один человек, получающий приличные деньги, работает лучше двоих, сидящих на низких окладах, но против предписаний не пошёл. На работу приняли шофёра, и мой доход понизился. Это обстоятельство омрачило прекрасные летние деньки, но не выбило меня из колеи; главное – я зацепился за Москву (на этот раз крепко), оставалась чепуха – стать в ней своим, а потом и покорить её. Как режиссёр я уже снимал первый фильм – таскал железные ящики с кинолентой и командовал: «Вперёд! Только вперёд!»

В разгар того лета процветала моя дружба с Юркой Мякушковым, с которым познакомился во время поступления во ВГИК и который, как

и я, провалился. За прошедшие месяцы я несколько раз звонил ему, мы ходили в Третьяковку и Музей имени Пушкина и, обнаружив массу общего, сильно потянулись друг к другу. Но в те дни у Юрки был глобальный роман, он постоянно встречал и провожал какую-то «роковую» женщину, всё время выяснял с ней отношения – потому мы и виделись урывками. А летом Юркин роман закончился, и наша дружба окрепла. Мы виделись каждый вечер. Заметив, что я ещё не очень-то ориентируюсь в Москве, Юрка взял надо мной шефство. Вначале принялся за мой внешний вид: чуть ли не насильно заставил скинуть солдатскую одежду и ботинки. Затем прочитал мне ценную лекцию о теневой стороне столице, а потом притащил из коридора раскладушку и объявил, что могу у него оставаться, когда вздумается. В благодарность я привёз его к себе за город, вытащил все холсты и сказал:

– Забирай всё, что нравится.

Юрка жил с матерью на Кировской. Его мать работала бухгалтером, а он подрабатывал курьером в какой-то редакции. У них было две комнаты в коммуналке. Окно Юркиной комнаты выходило во двор – асфальтированный пятак с помойкой, сохнувшим бельём, ящиками из-под овощей, голубями, старухами на лавке и известным вором, который сидел у подъезда и к нему постоянно наведывалась «за консультацией» разная шпана.

По вечерам мы с Юркой пили чай, курили и вели бесконечные разговоры, в основном о том, как всё отвратительно в нашем Отечестве; настраивали радиоприёмник на «Голос Америки» и сквозь «глушилки» пытались уловить последние сообщения, узнать правду. Юрка ещё не отошёл от «глобального романа» (роковая женщина сильно потрепала моего друга, и его злость перехлёстывала через край):

– Мы с тобой родились в стране, где никогда не ценили таланты. Не только мы – многие не могут найти применение своим способностям.

Наши унылые разговоры закончились тем, что мы вновь понесли документы во ВГИК, я с провинциальным упрямством во второй раз, Юрка по привычке, назло здравому смыслу – в четвёртый.

– Мы становимся вечными абитуриентами, тупо бьём в одну точку, – сказал я Юрке.

– Если и на этот раз прокатят, уеду на Дальний Восток, – ответил Юрка. – Устроюсь на плавбазу на разделку рыбы. И подзаработаю, и узнаю другую жизнь. Хочешь, уедем вместе.

Чтобы Юрка и его мать отдохнули от меня, я перебрался в общежитие на Яузе. С почтальоншей Марьей Ивановной мы расстались тепло: в память о себе я наколол ей на зиму дров; она пожелала мне «ни пуха ни пера» и как талисман на экзамены подарила банку варенья собственного изготовления.

Я ехал в электричке, думал о почтальонше, простой русской женщине, и рассуждал: «Всё-таки не так-то просто вытравить в человеке хорошее, если оно есть, если это хорошее – его суть. И надо закончить наши с Юркой унылые разговоры; он может ехать куда угодно – у него обустроенный тыл, а я – в воздухе, мне надо здесь пробиваться, так что – вперёд!»

Во время приёмных экзаменов Юрка познакомил меня с двумя бородачами, второкурсниками киноведческого факультета, Анатолием Лупенко, которого звали Старик, и его приятелем Владиславом Свешниковым.

Внешне Старик выглядел загадочно: полнеющий блондин с бородой лопатой, отвисшими губами, набрякшими веками и мутными глазами. Говорил он натянуто, монотонно и всем своим видом давал понять, что ему для разговора требуется сверхусилие. Его принимали то за философа, то за священника, но сам он представлялся как «доктор Борзейч». Старик хотел стать врачом (это было основательное увлечение), и я не понимал, что ему мешает бросить ВГИК и поступить в медицинский, тем более что он имел идеальные условия – единственный сын у отца-полковника.

Вначале Старик как «доктор» только пускал пыль в глаза, но потом стал перегибать сверх меры, а в конце концов настолько уверился в своём призвании, что и друзьям ставил диагнозы, правда приблизительные (у него во всём была приблизительность):

– У тебя приблизительно грипп... Сегодня приблизительно ветрено.

Случалось, на удочку Старика попадались неглупые люди, поскольку он обладал многочисленными поверхностными знаниями и наловчился болтать в достаточно убедительной манере – тихо и неторопливо. Киновед он был никакой, учился ради диплома, всякое искусство считал чепухой, уводящей простаков от реальности. Он стоял за сиюминутную жизнь и предсказывал противостояние планет и конец света. По словам Старика, у него где-то рос сын, но я думаю, он это говорил, просто чтобы возвыситься над нами.

Владислав корчил из себя сумрачного гения и считался заносчивым типом, настроенным на мистический лад; одни его сравнения чего стоят:

– Девушка как привидение... Покойник в гробу как картинка...

У него были близко посаженные «медвежьи» глаза, он носил бороду клином, постоянно пощипывал её и язвительно посмеивался:

– Ну-с, что вы ещё скажете?.. Глупость это, батенька, да-с.

Старик называл Владислава «доктор Гнедич».

Общение с бородачами внесло в мою жизнь элемент юмора; оно рассеивало мрачные мысли о неустроенности, но всё же скоро мне надоел их треп, и я отошёл от них. Через много лет встретил Старика на улице, и, смешно, – нам не о чем было говорить. Старик бросил свои концерты, женился, работал в газете, о «докторе Гнедиче» сообщил, что тот ударился в религию и имеет приход где-то в Тверской области.

–...Я-то в Бога не очень-то верю, – протянул Старик, – хотя иногда чувствую его присутствие. Приблизительно.

Во ВГИК на сценарный факультет поступал парень из Подольска Игорь Клячкин. Он ежедневно рассказывал захватывающие истории про бандитов в подмосковном городке. В каждой истории происходили ограбления, стрельба, погони, и сам Игорь находился в центре событий. Его жуткие истории вызывали у нас бурную реакцию. Чтобы усилить свои художества, Игорь приходил на экзамены то с перебинтованной головой, то с тёмной повязкой на руке, но у приёмной комиссии почему-то не вызвал сострадания, и его не приняли.

– Ничего они не понимают, – сказал он, с досады размотал очередную повязку и бросил в урну; под повязкой не было даже царапины.

Заметив наше удивление, он усмехнулся:

– Наш кинематограф потерял отличного детективщика. Они сами себя обокрали.

Меня тоже не приняли, хотя я прилично сдал экзамены и набрал проходные баллы, но дальше вступали в свои права связи, рекомендации, поручительства; за меня же похлопотать было некому. А Юрку приняли. Наконец-то, с четвёртого захода! За него я обрадовался по-настоящему. Остальным принятым сильно завидовал; особенно двум сыновьям известных актёров.

Забрав документы, поехал выписываться из общаги и, поскольку уже был закалён неудачами, очередной провал перенёс более-менее стойко, хотя и вынес себе окончательный приговор: больше никуда не поступать. А в электричке подумал: «Конечно, сыновьям известных людей не нужен начальный разбег, они с детства имеют перед нами фору, им всегда будет зелёная улица, но, наверное, они и талантливые, черти, – гены срабатывают». Потом вдруг вспомнил, что меня вообще никуда не принимали: в детский сад (не было места), в музыкальную школу («перерос» учиться на скрипке), в художественное училище, в институт. «Дьявольская закономерность! – пробормотал я. – Получается, что я полный бездарь?!» Такого рода мысли крутились в голове; в конце концов я пришёл к выводу, что всё равно кем-нибудь стану, куда-нибудь меня вынесет жизненный водоворот, к чему-нибудь пристану. «Не может же так продолжаться до бесконечности. И чёрт с ним, с высшим образованием! Жизнь продолжается. Вперёд!»

Теперь с Юркой виделись редко – у него началась интересная, насыщенная жизнь, он все дни напролёт проводил в институте; Чернышёв ездил в командировки; Исаев безвыездно жил за городом, женился, и ему стало не до меня. Губарев без усталости крутил романы. Тягостное чувство одиночества, покинутости наседали довольно ощутимо. Особенно одиноко было в праздники, когда по улицам разгуливали шумные компании, из окон доносилась музыка, песни.

Теперь, уже как опытный бомж, с месяц мотался без прописки, перебиваясь случайными заработками, потом приехал на станцию Клязьма (перед этим побывал у почтальонши, но она уже прописала нового жильца) и полдня ходил от дома к дому в надежде, что кто-ни-

будь пропишет. Наконец уговорил одного мужика с сонным взглядом (соседи звали его «хмырь болотный»).

– Пропишу, – сказал «хмырь», – если будешь себя вести как положено, не шуметь, не транжирить попусту воду и электричество. И не говори потом, что тебя не предупреждали, – и дальше, с претензией на интеллигентность, показывая «утончённый» характер, поведал: – Сейчас у молодёжи одно богохульство, а я люблю почитать книжки в тишине, поразмышлять (по вечерам он листал подшивку старых журналов).

Что было удобно в моих переездах – я легко управлялся со своими вещами – все они умещались в портфеле: кисти, краски, свитер, бритвенный прибор, ну и ещё таскал связку холстов.

Хозяин выделил мне тонкостенную, продуваемую пристройку к дому, но что меня привело в восторг – из окна открывался прекрасный спуск к реке. Обживая новую обитель, я уже мечтал иметь не просто угол, а непременно – просторную комнату с красивым видом из окна.

С пропиской меня снова взяли на кинокопировальную фабрику, причём на этот раз оформили почтовым агентом второго разряда. Возглавлял почту по-прежнему Иван Иванович, а вот Сашки Ветрова и Зинаиды уже не было – они уволились; вместо них работала Стелла, сорокалетняя женщина с фигурой девчонки. Стелла встретила меня доброжелательно; пожаловалась, что «пальцы немеют от авторучки», но получает «копейки за каторжный труд». И сделала философский вывод:

– Мы живём в продажном мире. Все торгуют собой: своими руками, своей душой, телом. Я, слава богу, только руками. Развожу писанину, – и дальше, совершенно откровенно: – Я не ханжа, могу заниматься сексом и на столе, но только по любви.

В первый же день моей работы Стелла вызвалась приготовить на обед «своё любимое блюдо»; в закутке что-то поджарила, накрыла тарелкой и объявила:

– Вот просто интересно, что любит наш новый сотрудник? – и кивнула мне: – Иди к плитке, приготовь своё любимое блюдо. Там есть кое-какие продукты.

Я вошёл в игру и сделал яичницу с помидорами. Стелла рассмеялась:

– Ну ты даёшь! Надо же, у нас общие вкусы! – подняла тарелку над своим блюдом – там тоже была яичница с помидорами.

Так мы и подружились, но вскоре (через месяц) наша дружба перекосилась куда-то не туда. Накануне Рождества мы со Стеллой вспомнили первый день моей работы, и она, уставившись на меня, вдруг произнесла:

– Если мужчина и женщина вспоминают одно и то же, значит, между ними может быть что-то лёгкое.

Пока я осмысливал этот тонкий момент, она выразилась конкретней:

– Ты любишь меня или морочишь мне голову? Ответ, это принципиально важно!

Меня смутила столь агрессивная постановка вопроса, и я, почувствовал себя пленником, уклончиво пробормотал:

– Мы же друзья.

А Стелла всё развивала наступление:

– Давай поженимся. Вот так легко – раз и всё, слабо?! И дальше потратим жизнь на поиски прекрасного.

«Ну вот, додружились; вляпался, получил рождественский подарочек», – подумал я и жутко струсил (во-первых, рассматривал брак как нечто вторичное, после того как найду себя, займею крепкую специальность, квартиру – до всего этого была почти вечность; во-вторых, не понимал, как можно договариваться о браке без настоящих чувств).

– Поиски прекрасного – это прекрасно, – промямлил я, – но пожениться так, второпях. Женитьба – это серьёзное...

– Что ж, дело твоё. Ну тогда до свидания! Не опечалюсь. Небо не рухнуло. С мужчинами я всегда чувствую, когда надо сказать до свидания. И прощаюсь с лёгким сердцем.

Я тоже вздохнул облегчённо, точно выжил при катастрофе.

Ближе к зиме мне подвернулась более «интеллектуальная» и более оплачиваемая работа. К ней меня подтолкнули дружки Тольки Губа-

рева фотографии Стрелков и Самолук, после того как посмотрели мои рисунки.

– У тебя неплохое чувство композиции, – провозгласили мастера фотодела. – Из тебя выйдет классный фотограф.

Как воодушевляющий пример они показали свои снимки и тут же позвонили знакомому директору фотокомбината.

– ...Парень умелый, со вкусом, – отрекомендовали меня, – а о человеке не говорим, плохого не прислали бы.

Директор фотокомбината, молодой словоохотливый парень, бывший футболист Ванин, оформляя меня, признался, что в каждом видит подосланного из УБХСС.

– За тебя поручились проверенные люди, – сказал он. – Потому и оформляю тебя с лёгким сердцем. Очень лёгким, – на его лице появилась широкая улыбка. – Фотодело – нехитрая штука и выгодная. Увидишь сразу.левой работы невпроворот. Не зря к нам идут даже научные сотрудники. Кладут свои дипломы в долгий ящик – и к нам... У нас работают инженеры, музыканты. Есть даже один режиссёр. Но почтового агента ещё не было... «Агент» – противное слово, но «почтовый» – неплохое, хотя вместе всё равно звучит как-то подозрительно, верно? И чего ты к нам подался? Мизерные оклады, говоришь, на почте? Понятно! На одном окладе в нашем отечестве, ясное дело, далеко не уедешь. Не только на почте. Ладненько... Приступай к работе. Точку тебе даю приличную – у метро «Водный стадион».

Я начал работать с двумя классными мастерами: тридцатилетним холостяком Володей, считавшимся начальником, и с его сверстником, горбуном Лёшей, который числился лаборантом и постоянно страдал аллергией на химикаты. Мы с Володей снимали клиентов, выписывали квитанции, выдавали карточки, Лёша проявлял плёнки и делал отпечатки. Если Володя отправлялся на склад за фотоматериалами или к Лёше приходила какая-нибудь девица и он болтал с ней в закутке, их работу делал я. Мы вместе обедали, после обеда играли в шахматы, и это были прекрасные минуты единения.

Когда я только пришёл в ателье, Володя предложил мне делать половину работы без квитанций, но я наотрез отказался:

– Делайте, что хотите, но меня в это не втягивайте. Давайте так: я щёлкаю, получаю свой оклад, остальное меня не касается.

Короче, у нас дело пошло так: Володя с Лёшей от случая к случаю делали работу налево, я снимал клиентов только по квитанциям. И все были довольны. Спустя год Володя купил холодильник, Лёша – два костюма (он одевался по последней моде), мне зарплаты хватало на сносное существование.

Сразу же после работы Володя спешил к больной матери. Ему доставалось – он жил за городом, в доме без удобств, с парализованной, прикованной к постели матерью. Но, глядя на Володю, никто не догадывался о его трагедии. Он выглядел бодрым, неунывающим; всегда улыбался, по ателье ходил, посвистывая.

– Когда мне плохо, я думаю о чём-нибудь смешном, – говорил.

Он и на ателье повесил плакат: «Оставьте заботы за дверью».

Володя взялся за меня основательно и жестковато; вводил меня в курс фотодела и приговаривал:

– Вероятно, я окажусь плохим учителем, а ты неважным учеником, но посмотрим. Главное – поладить человечески.

«Смотреть» ему не пришлось: то, на что он ухлопал полжизни, я освоил за неделю (пригодились занятия живописью). Мастер встревожился, перестал открывать мне тайны фоторемесла и, по окончании недельной учёбы, доверил «ответственный участок» – щёлкать клиентов на документы.

Лёша после работы часто оставался в ателье. К нему заходили девицы, которых он фотографировал и приглашал «посидеть в закутке»; перед этим сильно душился одеколоном и подолгу крутился перед зеркалом, натирая лицо кремом. Как большинство мужчин с физическими недостатками, Лёша был помешан на девицах. Но что меня поражало, так это готовность девчонок на всё, лишь бы попозировать и заполучить свои карточки. К Лёше ходили такие красавицы, от которых захватывало дух. Он снимал их анфас, и в профиль, и со спины, и каждой писал стихи о любви. Были у него стихи о любви и к некой «звёздной девушке».

– Почему ты пишешь только о любви? – как-то спросил я.

– А о чём мне ещё писать? – уныло отозвался он. – Мне больше не о чем писать. Я ведь нигде не был, ничего не видел.

Чаще всего мы обедали в ателье. Покупали что-нибудь в гастрономе и готовили на плитке в закутке. Там было уютно: стол, два стула, тахта, радиоприёмник, на стенах – портретная галерея Лёшиных красавиц.

По утрам в ателье заходило не так уж много клиентов. В основном учащиеся; им требовались карточки на документы. Это была скучная работа. Я усаживал клиентов между отражающих экранов, включал осветители, устанавливал треногу нашего допотопного ФК и, заглядывая в матовое стекло, наводил объектив на резкость. Потом щёлкал на кассету с пластиной. Володя выписывал квитанции, Лёша проявлял пластины и печатал карточки.

Днём появлялась разношёрстная публика. Тех, кому требовались портреты, я снимал в соседнем павильоне. Там у нас стояли софиты с мягким, рассеивающим светом и стулья для групповых съёмок. Если клиенты настроились на цветные фотографии, мы с Володей менялись местами. Я садился за квитанции, а он шёл в павильон. Шёл медленно, по-хозяйски, на ходу засучивая рукава халата, хмурясь, как бы настраивая себя на творческий лад. Он серьёзно относился к каждой съёмке. Прежде всего узнавал, что именно желают клиенты. Потом долго усаживал «натуру», ставил различные цветные фоны, искал нужный ракурс, при этом щурился, гримасничал, прикрывал глаза ладонью. Только после длительной подготовки брал «Зенит» и делал снимок. И два-три раза дублировал его с разных точек.

С наступлением вечера в ателье шли все подряд: подростки, рабочие, солдаты, влюблённые. Эти последние ужасно спешили запечатлеть своё счастье – то ли никак не верили в него, то ли боялись, что оно не будет вечным. Что и говорить, по вечерам работы хватало, еле успевали смахивать пот.

Попадались всякие клиенты. Одни благодарили за снимки, другие ворчали, что с трудом узнают себя, третьи – чаще всего женщины средних лет – возмущались, что мы сделали их гораздо старше своего возраста. На это Володя небрежно бросал:

– Можем омолодить, – и мастерски ретушировал негатив.

Особенно привередничали старики: и сняли-то их не так, и отпечатали не в том формате. Приходилось переснимать, держать марку фирмы. Но ещё больше хлопот доставляли мамыши с детьми. Случалось, здесь мы работали вдвоём с Володей. Он снимал, а я развлекал детей игрушками, корчил разные рожи, при этом, по словам Володи, проявлял неплохие актёрские способности.

По желанию клиентов, мы придавали карточкам разное обрамление: делали и фигурную обрезку, и вставляли в тиснёные картонные рамки.

Раза два в месяц в ателье появлялся судебной механик Игорь, по совместительству работавший помощником директора фотокомбината Ванина. У Володи он забирал ведомости и в конверте надбавку – сто рублей. Хитроватый тип, пристроившийся на тёплое место, этот Игорь всегда канючил:

– Разведка донесла, вы здесь крепко окопались. Слишком много гребёте. А у нас с Ваниным дети. Соображать надо!

Развращённый властью, он с каждым приездом повышал ставку. Володя был человек горячий и смелый – казалось, ему всё нипочём, но и он ждал появления этого Игоря с содроганием.

– То, что мы тут делаем, – мелочёвка, – пояснял мне Володя. – Вон на втором комбинате работают так работают. У них точки в центре, в лучших местах, а у нас на отшибе... Ванин безмозглый. Ничего не может пробить. Ему только мяч гонять, а не комбинатом заведовать. Рано или поздно его турнут. Но он, прохиндей, не пропадёт, он из тех, кто, с какой бы высоты ни падал, всегда встаёт на ноги.

С каждым месяцем Игорь наглед всё больше. Как-то явился к нам и заломил такую сумму, что Володя не выдержали послал его куда подальше. Игорь ушёл, затаив едкую ухмылку, а потом позвонил Ванин и вызвал Володю «на совещание».

– Приду, когда сочту нужным, – обрезал Володя и бросил трубку. Крупный начальник Ванин не прощал такого неповиновения.

Через неделю Володю, а заодно и Лёшу, перевели в точку на окраине. А мне прислали новых фотографов. Они оказались врачами и поня-

тия не имели о фотоделе. Один из врачей сразу уселся за квитанции, другой был годен только нажимать на спусковой рычаг, и то при условии, если я освещу натуру и поставлю выдержку. Не было у врачей ни навыка, ни элементарного вкуса. Я прямо намучился с этими «мастерами». Бывало, втолковываешь, что к чему, вроде всё поняли; отойдешь – опять полная беспомощность. Мне приходилось и снимать, и проявлять, и печатать, и глянцевать снимки на барабане. Врачам что ни доверишь – напортачат. Потом за них я извинялся перед клиентами, переснимал. И всё вспоминал Володю и Лёшу, которые были настоящими мастерами и работягами. Вспоминал их «мелкие махинации» и не осуждал, ведь у начальника Володи оклад был сто десять рублей, а у лаборанта Лёши – восемьдесят; и Володя почти все левые деньги тратил на больную мать, а Лёша – на девчонок, его единственную радость.

Зимой жить за городом стало тяжеловато; хозяин экономил дрова и почти не топил; на стенах пристройки появилась изморозь, а на окнах намерзал такой слой льда, что дневной свет становился тусклым и прекрасный спуск к реке превращался в тёмную бездну. Я спал под двумя матрацами (этим добром у хозяина был забит весь сарай; он где-то работал комендантом и с маниакальной жадностью тащил к себе всё, что плохо лежало). Просыпаясь, я смахивал иней с матрацев и одежды, выметал снег из-под двери, грел чайник на плитке, на ходу проглатывал пару бутербродов и бежал по сугробам к электричке; полчаса трясся в мёрзлом тамбуре, затем ещё столько же в метро – в общей сложности на дорогу в оба конца уходило около трёх часов, но я не унывал и стоически переносил трудности – за прошедшие годы всякие неприятности рассматривал как трамплины, которые рано или поздно подбросят меня в «удачливое будущее».

На Клязьме не было ни асфальтированных троп, ни столовой, зато летом дома утопали в зелени, и через весь посёлок петляла живописная речка. Вся моя тогдашняя жизнь была связана с пригородными поездами. В утренних электричках обычно читал, а в вечерних дремал (после работы задерживался в городе: то у Юрки Мякушкова, то заезжал к тётке, то просто шастал по улицам в надежде на романтическое

приключение). Иногда возвращался домой с последней электричкой и, если просыпал свою платформу, целый перегон, а то и два, топал по шпалам.

Кто только не встречался в электричках! Охотники и рыбаки, которые, точно модницы, демонстрировали друг другу свою экипировку; нищие, заливающие такие истории, от которых захватывало дух; компании стилиг – парни с коками и густо покрашенные девицы в невероятно смелых одеждах – они пели под гитару модные песни, раскачивались и отчаянно притопывали. А какие встречались дачницы! Когда я смотрел на них, у меня внутри всё леденело и не хватало духа подойти к ним; я только запоминал станции, на которых они выходили.

И ещё одна немаловажная вещь: несмотря на бурные события, частую смену впечатлений, время тогда тянулось довольно медленно, за месяц столько всего происходило – и не перечесть. А теперь, в возрасте, я остро ощущаю – время летит со страшной скоростью, месяц за месяцем так и мелькают. И год за годом. И никак эту быстротечность не притормозить.

Однажды после работы, прогуливаясь по городу, я набрёл на библиотеку имени Ленина... Когда вошёл в общий зал, меня поразила белая колоннада, и люстры под высоченным потолком, и множество столов с настольными лампами, и стеллажи с книгами; на первом этаже находился зал периодики, закутки с каталогами и буфет, а на антресолях – курилка с телефонами-автоматами, и там на стульях, батареях и подоконниках сидели молодые люди, они отчаянно курили и спорили об искусстве.

Я стал бывать в «Ленинке» каждый вечер. Мне нравилось там всё, даже стоять в очереди в раздевалку, здороваясь с завсегдаятами, и, конечно, пить кофе в буфете, и болтать в курилке, а с наступлением лета сидеть с кем-нибудь из новых знакомых перед входом в вестибюль на лавке под пахучими липами.

В библиотеке я навёрстывал недостаток образования, прочитал то, что давно должен был прочитать: и нашумевшие новинки, и запрещённых авторов, книги которых выписывали из спецхрана по ходатайству с места работы (после чего читателя брали на заметку), но не

менее ценным для меня было общение с людьми, поскольку я тяжело переносил одиночество. В то время молодёжь тянулась в библиотеки. Тогда, в конце пятидесятых годов, «Ленинка» напоминала молодёжный клуб: запойно читали Хемингуэя и Ремарка, из библиотеки отправлялись на выставки, в мастерские художников, в кафе «Националь». Атмосфера в библиотеке была домашней: на лестничной площадке велись беседы, в вестибюле назначались свидания, кнопками прикреплялись записки: «Ждём на выставке», «Приходи в Наци».

В библиотеке было немало колоритных типов – сейчас всех и не вспомнить, но «чокнутого» садовника Серёжу помню отлично. Он работал в Ботаническом саду и о цветах рассказывал взахлёб, при этом смешно потел, заикался, и часто его заносило, и он нёс какой-то «цветастый бред». Некоторые дуралеи его нарочно заводили, просили рассказать подробнее, и он, простодушный, старался. Над ним подтрунивали беззлобно, но всё равно это выглядело жестоко, ведь над блаженными нельзя смеяться.

Завсегдатаем библиотеки был ещё один Сергей – эрудит Чудаков, невероятный говорун, который (по его словам) знал абсолютно всех известных поэтов и актёров. Страшно плодовитый, он (опять же с его слов) писал критические статьи в литературные и театральные журналы (вроде действительно статьи печатали) и имел двадцать (!) написанных, но не опубликованных романов (кажется, ни один из них так и не вышел). Для меня Чудаков был высокообразованным истинным гением, я слушал его разинув рот и рядом с ним особенно остро чувствовал свою неполноценность... Спустя много лет мы встретились в Доме литераторов – он был всё таким же экспансивным говоруном, только уже старикашкой. В самом деле, он с юности общался со многими известными литераторами, но те всегда считали его сумасшедшим.

Случалось, в курилку вривался геолог Владимир Сквирский, загорелый, вечно улыбающийся здоровяк, «человек без тормозов», неиссякаемый рассказчик и балагур, «мужик суровый, презирующий женщин». Слух о том, что он вернулся из партии, проходил по столам, завсегдатаи откладывали книги и спешили в курилку. А он уже в табач-

ном дыму размахивал руками – рисовал Камчатские сопки, таёжные реки, звероловов... Как-то ночью Сквирский завалился ко мне на Клязьму с ватагой приятелей, привёз бивень моржа, кучу «редких» камней и альманах «Земля и люди», где он печатал очерки...

Его судьба сложилась трагически – лет через десять он оказался в тюрьме. Говорили, «посадили за антисоветскую деятельность», но позднее я достоверно узнал (от его друга-геолога), что «презирающий женщин» Сквирский получил статью за изнасилование малолетней дочери своих приятелей, а в лагере действительно стал диссидентом, за что ему увеличили срок. Однажды по «Голосу Америки» я услышал: «Вчера в (таком-то лагере) скончался правозащитник Владимир Сквирский».

В библиотеке я особенно сдружился с Сашей Камышовым, талантливейшим акварелистом, которому пророчили ослепительное будущее, и прозаиком Леонардом Данильцевым, который писал «модерн» (его печатали за рубежом). К сожалению, эта дружба длилась недолго; Саша внезапно умер от воспаления лёгких, а с Данильцевым мы просто отделились друг от друга: он старался общаться только с «модернистами», а я вдруг открыл для себя Бунина, в сравнении с которым упражнения моего друга и его приятелей выглядели жалким лепетом.

Появились у меня и другие знакомые. Моя оголтелая дружелюбность приводила к тому, что я заводил и сомнительные ненадёжные знакомства. Бывало, перекинусь с кем-нибудь двумя словами и сразу записываю телефон, всё боюсь потерять нового знакомого; от долгого одиночества ударился в другую крайность – всех принимал в друзья. Вскользь упомяну тех, с кем виделся довольно часто.

Двух начинающих драматургов Дмитрия Иванова и Владимира Трифонова я долгое время считал огромными талантами, пока не понял, что они – всего-навсего трепачи «высокого духа», а в работе – расчётливые, циничные ремесленники. Им было всё равно, о чём писать, лишь бы платили деньги. Писали они быстро и лихо, в их работах было полно модных словечек, плоских хохм, старых анекдотов, переделанных на новый лад.

Подружился я и с начинающими журналистами Игорем Бузылёвым и Леонидом Кругловым. Журналистов почти не печатали; они были из тех «неудачников», которые отсутствие упорства и самодисциплины (а в ряде случаев и бесталанность) прикрывают разными ширмами: нет, мол, нужных знакомств и прочего. «Неудачники» слишком часто обижались не по делу (постоянно в словах собеседников выискивали обиду), уж очень они были не по-мужски ранимыми. Позднее Круглов забросил журналистику, а Бузылёв, окончив Высшую партийную школу, стал главным редактором издательства «Советский писатель» и превратился в чиновника заурядного пошиба.

Но самым же могущественным и преуспевающим из журналистов «Ленинки» был Александр Васинский, красавец, для которого водка являлась двигателем всех его деяний – тем не менее писал он блестяще. Васинский считал, что у половины посетителей библиотеки «крыша поехала» (частично так оно и было), а вторую половину называл «чересчур советскими», «паркетными завистниками, «бездарями и стукачами» (слишком преувеличено). Вся эта публика (целый калейдоскоп имён) пополнила мою записную книжку. Годы отфильтровали количество «библиотечных» знакомых, из них только два-три стали моими близкими друзьями, с остальными виделся редко, случайно, а от некоторых при встрече отворачивался. Как, впрочем, и они от меня.

В те годы мы много выпивали. Во-первых, начитавшись Хемингуэя и Ремарка, пытались жить раскованно, как бы протестуя против всяких запретов; во-вторых, от неустроенности и невостребованности. Кстати, в то время для нас «двойной кальвадос» звучал как призыв к свободе, только позднее мы узнали, что это всего лишь напёрсточная доза, в то время как мы пили портвейн и водку стаканами.

В библиотеке были свои поэтессы – заносчивые особы; свои художницы – как правило, неуравновешенные натуры; свои единомышленницы – бескорыстные машинистки, которые перепечатывали стихи; свои толстушки-мамаши, которых называли «она свой парень»; и конечно, свои красавицы. Одной из них считалась художница Наташа Назарова; у неё были тонкие черты лица и плавные движения, она

оканчивала текстильный институт и делала костюмы к сказкам; весной приглашала всех в лес за подснежниками, осенью – к полевым цветам в луга, зимой – в избушку лесника. Иногда она приглашала кого-нибудь из молодых людей погулять по вечерней Москве и, когда шла по улицам (неизменно в шляпе «горшком»), с выражением преувеличенной невинности читала стихи, танцевала, говорила, что она поздно родилась, что душа её – в прошлом веке, брала под руку, прижималась, шептала:

– Я быстро влюбляюсь. Хочу, чтобы меня похитил страстный поклонник.

Просила поцеловать, потом сразу отскакивала и смеялась и почему-то всё время посматривала на часы и шла по определённому маршруту. А потом неожиданно благодарила за прогулку, прощалась и подбегала к месту, где её ждал другой поклонник.

Вот такая была утончённая Наталья. Представляю, сколько она разбила сердец... Позднее кое-кто встречал её в Замоскворечье в обществе «старых интеллигентов». Они сидели на полу, среди свечей, слушали Баха и вздыхали по прошлому веку. На это сборище Наталья приходила в декольтированном платье, в шляпе с вуалью и вполне серьёзно говорила:

– Милейшие дамы, уважаемые господа...

Понятно, всё это выглядело жалким подражательством, псевдоинтеллигентностью.

Несколько дней провела в зале некрасивая девушка с длинной шеей и зелёными глазами. Так получилось, что мы всё время оказывались напротив друг друга, и я не мог вдумчиво читать; листал страницы, но ничего не лезло в голову. А когда мы встречались взглядами, я спешил отвести глаза, а она улыбалась и склонялась к книге. Сам не знаю, что я завёлся! И внешне она была не очень, и возраст не больше восемнадцати, но я ловил себя на том, что дожидаясь её, наблюдаю, как она получает книги, ищет место за привычным столом и садится мягко, разглаживая юбку. Она необыкновенно сидела: на краешке стула, вытянув длинную шею, готовая в любую минуту встать и исчезнуть. Всё на ней было отутюжено, накрахмалено – ну

прямо маленькая королева-дурнушка. Я, естественно, выглядел как водопроводчик. Может, именно поэтому между нами и возникло какое-то притяжение, кто знает! Короче, я подумал: «Уж лучше влюбиться в неё по-настоящему или не влюбляться совсем». Так и прошла неделя; в последний день она сдала свои книги, подошла ко мне и, смущаясь, прошептала:

– Спасибо! Вы помогли мне сдать экзамены.

И исчезла навсегда.

Один знакомый в «Ленинке» мне сообщил, что в театре Вахтангова есть место бутафора. Не раздумывая, я уволился из фотографии и перешёл работать в театр (сам не ожидал от себя такой прыти, хотя перед этим и бросил клич: «Вперёд!»). С этого момента начался заключительный этап моего завоевания столицы. Получив пропуск на новую работу, я понял, что иногда случайность может круто изменить всю жизнь.

Вначале для проверки меня оформили маляром и, лишь когда я доказал, что знаю толк в краске, перевели в бутафоры. Моим наставником стал старший бутафор Володя Акимов – бодрячок с избытком энергии; он носил бордовый костюм и ярко-красный галстук, ходил, подпрыгивая, пощёлкивая пальцами, постоянно корчил гримасы и смеялся по каждому пустяку (за глаза его звали «разноцветненький»). Володя считал театр своим домом и запросто держался со всеми актёрами, от народных до статистов. В какой-то степени он был их коллега – в двух-трёх спектаклях что-то выносил на сцену, а в одном даже произносил целую фразу. Володя научил меня разводить клейстер, наклеивать мешковину на сколоченные столярами станки и расписывать «луга» и «деревья» – он был отличным мастером и всё делал быстро, а меня натаскивал:

– Как говорит один лётчик, «делать быстро – значит делать медленно необходимые движения, не прерываясь между ними».

Меня всегда поражали перевоплощения моего наставника: только что сидел с актрисами – холёный, с изысканными манерами, вдруг сбрасывает пиджак, засучивает рукава, повязывает фартук и месит в ведре клейстер, словно каменщик раствор.

Завпостом в театре работал Грант, маленький, юркий, говорливый старикан. Гранта недолюбливали: порывистый и агрессивный, он всем надоедал чрезмерной суетой и болтовнёй; с подчинёнными разговаривал надменно и грубо, при этом победоносно вышагивал по сцене и размахивал руками, но стоило появиться главному режиссёру или директору, как его походка становилась вкрадчивой, он опускал голову, руки прятал за спину, зычные окрики уступали место невнятному бормотанию.

Грант считался крупнейшим знатоком пива. От каждого нового сотрудника он требовал «прописки в коллективе» – приглашения с первой зарплаты в пивбар. Я пригласил его без напоминаний, да ещё познакомил с Чернышёвым, и шеф это оценил. Частенько во время работы Грант посылал кого-нибудь из рабочих за пивом и потом молча, как бы нехотя выпивал с подчинёнными, но вдруг вскакивал и кричал:

– Ну всё, хватит! Разбежались! И чтоб всё было в порядке!

Летом из бутафоров меня перевели в декораторы (моё мастерство стремительно росло), помощником к шустряку Володьке Белозёрову, который до театра малярничал на стройке и больше интересовался редкими книгами и девицами, чем декорациями, тем не менее «прилично владел кистью». В наши обязанности входило содержать в надлежащем виде оформление спектаклей. Днём, после репетиций, мы с Володькой вытаскивали декорации из «карманов», раскладывали их на сцене и освежали: большие плоскости красили клеевыми красками, мелкие – морилкой, мебель покрывали лаком. Колера составляли в вёдрах и таскали на сцену с шестого этажа, где находилась мастерская. Лифта не было, за день набегаешься по этажам, идёшь из театра – еле ноги волочишь, но зато работа какая? Творческая! И где? В знаменитом театре! Слух об этом пронёсся по «Ленинке», количество моих знакомых удвоилось (каждый хотел получить пропуск); я распрямился от переполнявшей меня гордости, избавился от комплекса провинциала и почувствовал себя уверенней.

Наконец-то я стал художником. Пусть запоздало, но всё же стал. Кстати, я всегда и во всём был опоздавшим, поздно начинающим:

и как горожанин, и как влюблённый, и как читатель, и как художник. И до сих пор открываю то, что мои сверстники давно прошли.

Почувствовав себя «личностью», я как ненормальный бросился знакомиться с девушками и сразу приглашал их... не в театр – на Клязьму. Большинство говорили:

– В следующий раз.

Некоторые ехали и, само собой, не приходили в восторг от моего жилища и, похвалив живопись, вдруг вспоминали про «срочные дела» и просили проводить их к станции; или поддерживали разговор, потягивая вино, но, как только дело доходило до объятий, ссылались на плохое самочувствие и уходили. Девушек отпугивала моя нетерпеливость, прямолинейность, неумение ухаживать, говорить комплименты. И всё же за полтора года, которые я прожил на Клязьме, несколько представительниц прекрасного пола остались у меня – все загородницы, не избалованные особым вниманием; они это сделали легко, без всяких колебаний.

Одну звали Вера, она работала парикмахершей в Пушкино. Мы разговорились на платформе в ожидании электрички. Был зимний вечер, Вера игриво притоптывала только что выпавший снег, на каждое моё слово хихикала, восклицая:

– О, это высоко! – и смешно тёрла варежкой красный нос и вздыхала: – Потанцевать хочется!

Мы приехали ко мне и, выпив вина, тихо, чтобы не слышал хозяин, поймали по радиоприемнику музыку. До полуночи Вера учила меня танцевать (я оказался жутко неуклюжим учеником), при этом требовательно шептала:

– Делай как я! Высоко!

Утром, несмотря на бессонную ночь, она крутилась по комнате и чуть что опять:

– Высоко! Жуть как высоко!

В воскресенье она приехала ко мне с санками и потащила кататься на спуск, который виднелся из моего окна, а вечером повезла в Пушкино на танцы. Потом мы ещё два раза встречались, провели у меня две «танцевальные» ночи, и Вера настойчиво пыталась сделать из

меня танцора, но ей это так и не удалось. Она была замечательной, в ней одновременно уживались заводная девчонка и опытная женщина.

С волейболисткой Катей (вторая спортсменка в моей жизни!) мы познакомились в жаркий летний день на Клязьме – она с подружкой загорала у реки. У неё было маленькое детское личико (хотя оказалась старше меня) и гигантская фигура, мощная, с плотными бёдрами (вторая великанша в моей жизни – вот повезло!). Когда она встала и пошла к воде (чтобы привлечь к себе внимание), я так и разинул рот; она заметила, что я глазею, кокетливо показала язык и выдохнула:

– Что за интерес ко мне?

Я понял – надо действовать, и ринулся за ней; в воде мы и перекинулись первыми фразами, а затем и поглаживали друг друга – ей нравилась моя загорелая кожа – «как кирпич», а мне – её длиннющие руки и ноги. Мы так возбудились, что прямо с реки направились ко мне (к счастью, «хмырь» был на работе). Подруге она сказала: посмотреть картины, и та, молодчина, всё поняла. Кстати, её подруга была очень маленького роста, и, когда они стояли рядом, Катя смотрелась особенно впечатляюще. Она жила на соседней станции, и была профессиональной спортсменкой (играла за сборную области), и постоянно находилась на сборах – за всё лето мы провели вместе не больше недели... Кстати, в то время ко мне проявляли интерес только парикмахерши и продавщицы; две спортсменки – исключение; «интеллигентки» не замечали меня вообще.

Ещё одно приключение – с Альбиной из Загорска – началось в электричке; мы вместе покуривали в тамбуре. Альбина была разведённой, жила с ребёнком и родителями и работала продавщицей в галантерее; в Москву навещалась раз в месяц, так что, в смысле нашей встречи, мне просто повезло.

У Альбины была угловатая фигура и некрасивое грубое лицо с прядью крашенных лиловых волос, но мне показалось – в ней есть какая-то «тайна». Скорее всего, она просто умела слушать (к этому времени я уже разболтался хоть куда), возможно, нашла свою манеру поведения – сдержанную, «женщины с прошлым», – но её «манящая тайна»

так и притягивала меня. Совершенно спокойно, даже безучастно Альбина согласилась «навестить меня»:

– Я, наверно, приеду попозже. Встреть меня на платформе. Мне надо заехать домой.

Мы полистали расписание (каждый уважающий себя загородник не расстается с ним), наметили электричку, и я, с широченной улыбкой, вышел на Клязьме. А Альбина поехала дальше – без тени улыбки, словно мы договорились не о свидании, а о каком-то обыденном деле. Я думал, она обманет, но она приехала и сразу по-деловому предупредила:

– Я, наверно, останусь у тебя, но давай договоримся – без всяких приставаний.

Я кивнул, будучи уверенным, что это условие – всего лишь ничего не значащая оговорка, желание подогреть мое «притяжение» и усилить свою «манящую тайну».

Пока я хвастался работой в театре, показывал и объяснял холсты, Альбина приглядывалась ко мне. Постепенно, по мере потребления вина, Альбина оттаивала, её манеры становились более естественными; спустя час она всё чаще в мою болтовню вставляла словечки, совершенно не «таинственные»:

– Учти, я всё равно с первого раза в постель не ложусь... Вначале надо проверить чувства.

Потом Альбина изъявила желание попозировать мне и разделась до пояса.

– Тебе нравится моя грудь?

Потрясённый, я бросился к ней, но она выставила вперёд руки и затопала:

– Только не это. Мы договорились. Садись, рисуй, художник! – она усмехнулась, уверенная в своей неотразимости.

Я раскис, уселся за планшет, начал что-то изображать – получалось из рук вон плохо; а «модель», чтобы выглядеть позажигательней, выпятила грудь, отключила зад, подняла голову и вызывающе смотрела мне прямо в глаза – «манящая тайна» превратилась в конкретную дразнящую плоть:

– А моя задница тебе нравится?

Когда она одевалась, я снова попытался её стиснуть, но она твёрдо меня остановила:

– На сегодня выкинь это из головы. Давай пить вино, да расскажи что-нибудь интересное.

Её командирский тон добил меня; я подумал: «Обычная, в общем-то, девица, и чего корчит из себя? Чёрт с ней, будь как будет». Некоторое время я молча тянул вино (хотя уже и так пребывал в хмельном состоянии), и Альбина усмехалась:

– Что молчишь? Тебе только это надо? – и, позёвывая, осматривая комнату: – Мне спать на кровати, да? А сам где ляжешь? И дай мне чистую рубашку, халата-то у тебя наверно нет.

Я дал ей рубашку, постелил на полу один из матрацев и лёг, не раздеваясь, всем своим видом показывая, что могу обойтись и без любовных утех. Альбина разделась, погасила свет и легла на кровать. Я уже почти задремал, как вдруг услышал шорох; открыл глаза и в полумраке различил свою гостью – она стояла посреди комнаты в рубашке, и, подбоченясь, смотрела на меня в упор.

– Всё-таки ты странный. Близо лежит женщина, а ты ноль внимания, – чтобы обострить ситуацию, она сняла рубашку и швырнула на стул.

Ближе к утру до меня дошло: «манящая тайна» Альбины заключалась в её сексуальных наклонностях, в ней кипели немислимые страсти, фейерверк эмоций.

Все эти встречи были кратковременными и сумбурными; и я, и мои подружки испытывали друг к другу всего лишь симпатию, влечение, у нас не было серьёзных чувств, потому мы и не привязались друг к другу, и расстались легко, без всяких выяснений и обид – не знаю, радоваться этому или огорчаться.

Здесь нужна оговорка. Я приводил подружек втайне от хозяина. «Хмырь болотный» был не только жмотом и стяжателем, но и бездарем – ничего толком не добился за полсотни лет (дом ему достался от жены, которую он вогнал в гроб своей клинической подозрительностью и ревностью, хотя на похоронах торжественно объявил

соседям, что «боролся за своё счастье»). Как большинство бездарей, «хмырь» был завистником и моралистом партийной закалки, и, понятное дело, мы с подружками входили в пристройку поздно вечером и покидали её на рассвете, в момент, когда грохотали поезда, чтобы заглушался скрип двери и шаги. И, разумеется, в комнате вели себя как мыши. Но всё-таки в последний приезд Альбины «хмырь» заподозрил неладное (из-за немыслимых страстей продавщицы из Загорска, шквала её эмоций), утром подкараулил нас, отозвал меня в сторону и буркнул:

– Мало платишь за жильё, да ещё баб водишь. Прописку не продлю, так и знай!

Тем не менее мои романтические приключения продолжались. Как-то смолю сигарету в тамбуре электрички, а через застеклённую дверь вижу девчонку со смешным острым носом. Я и раньше её видел, в компании подруг, но тогда не отметил – так были ярки подруги. И вот в тот день рассмотрел получше. Она была светловолосая, стриженная под мальчишку. Я вообще-то любил у девчонок длинные волосы, но ей шли и короткие. В общем, голова у неё была в порядке, и фигура тоже. Но главное, она смотрела на меня с каким-то неподдельным интересом.

Она сошла на станции Мытищи, я ринулся за ней. Мы разговорились, и я выведал: работает в типографии, учится в полиграфическом техникуме. Мы дошли до её дома, прислонились к изгороди, покурили. Я болтал, болтал, потом обнял её, и она сразу прильнула ко мне, уткнув нос в мою шею. Я предложил пройтись в лесопосадки и, пока мы шли, намечал кое-какие планы с ней на этот вечер. А она идёт и рассказывает о себе. В восемнадцать лет изнасиловал парень, потом был ещё один – бросил... Как-то лежала больная, температура тридцать девять. Мать ушла на работу – отчим начал приставать: «Я и на матери-то женился из-за тебя». А мать его сильно любила... Ничего матери не сказала... В другой раз опоздала на работу. Начальник вызвал: «Я это забуду, если сейчас в кабинете разденешься».

– Все мужчины хотят от меня только этого, – она тяжело вздохнула. – Только и смотрят под юбку.

«Вот и я такой», – подумалось, и что-то во мне сломалось. Жаль стало девчонку, что ли, я всё ж не негодяй. Короче, походили мы по роще, накурились до одури, наболтались, потом я проводил её до дома, она крепко поцеловала меня в щёку, благодарно, а может, разочарованно, кто их, девчонок, разберёт.

Позднее с ещё одной загородницей вообще получилась ерундистика. Она была чуть старше меня. В электричке держалась вежливо-недоступно, как-то ускользающе. О чём ни заговорю, отвечает игривым смешком и отворачивается к окну. Она жила в Мамонтовке и, когда я поплёлс её провожать, – вдруг разговорилась. Сказала, что работает лаборанткой, замужем, но всё вышло случайно, в смысле – случайно вышла замуж.

– Муж только и рычит на меня. На стороне заводит романы и вообще ... – она хмыкнула, и я понял её намёк.

Вечер был – лучше нельзя придумать: тепло и тихо, в палисадниках копошились дачники. Мы спустились в низину, где протекала речка Уча, и присели у воды. Она снова начала рассказывать о своей неудачной семейной жизни, а я только и думал, как бы наброситься на неё. Когда стемнело, она попросила рассказать о себе. Вначале я вякал что-то невнятное – всё пялился на неё, потом взял себя в руки и только завёлся, вспомнил что-то захватывающее из жизни театра, как она стиснула мою руку:

– Поцелуй меня... Ещё сильнее, по-настоящему. Ой, смешной какой! Целоваться не умеет. Давай научу.

Целую неделю я проходил школу любви под её руководством (уже в моей лачуге): она научила меня целоваться и ещё кое-чему, и только я стал делать первые успехи, как она сказала:

– Больше мы не увидимся. Мы хорошо провели время и всё оставим в себе как маленький праздник. Как маленький праздник, – повторила и широко улыбнулась.

Заметив мою растерянность, она сжалилась и объяснила, что «муж стал заботливым, внимательным». Не сразу до меня дошло, что нашими встречами она попросту заглушала любовь к мужу.

В те же дни у меня появилась шпионка. Каждый раз, возвращаясь с работы и вышагивая по посёлку, я кожей чувствовал: из одного палисадника за мной следят. Я вглядывался – и точно: замечал среди цветов большие светлые глаза. Они принадлежали девчонке с прямо-таки кукольно-ангельским лицом. На вид этой кукле-ангелу было лет шестнадцать, а то и меньше. Глаза внимательно следили за каждым моим шагом и провожали меня, пока тропа не сворачивала.

Со временем эта малолетка осмелела и, завидев меня, начинала куролесить по палисаднику и корчить всякие рожицы, а иногда с серьёзным видом за что-то отчитывала собаку и при этом не отрываясь смотрела на меня. Я уже подумывал: «Надо пригласить шпионку на речку», но вдруг увидел её в школьной форме и сразу выкинул из головы все планы. Но моя шпионка рассудила по-другому. Однажды подкараулила меня, открыла калитку и, когда я поравнялся, осторожно, тихим голосом проговорила:

– Вы мне нравитесь, – и затаилась с полуоткрытым ртом.

– Отличное начало, – хмыкнул я. – Ты мне тоже нравишься.

Она смутно улыбнулась, прижала лицо к рейкам забора и пристально посмотрела на меня.

– Я уже взрослая, не думайте. Если хотите, я пойду к вам.

– В каком классе ты учишься? – ухмыльнулся я.

– Это неважно, – она поморщилась и тряхнула головой. – Я же вам сказала, что уже взрослая. Чего вы боитесь?

– Есть чего! – буркнул я и направился в сторону своего дома.

Несколько дней она не появлялась, и меня немного заело. Я подумал: «А вообще-то, чего дрейфлю?! Сейчас девчонки рано взрослеют. Да и, может, ей не шестнадцать, а все восемнадцать. В десятом классе, вполне возможно».

Я стал топтаться около её дома. Как-то она вышла в палисадник, и я предложил пойти ко мне. Она окинула меня быстрым взглядом, скривила губы и ответила с заминкой:

– Уже не пойду. У меня уже есть парень.

– Ну и ну, – проговорил я сквозь зубы и от злости добавил: – Сейчас всё расскажу твоему отцу.

– Говорите! – она отошла от забора и скрылась за дверью террасы. Вот такой оказалась эта блудница с кукольно-ангельским лицом.

А перед тем как уехать от «хмыря», произошёл жуткий случай. Однажды рассматриваю расписание на Каланчёвке, а рядом тоже смотрит на табло отличная девчонка: глаза дымчатые, волос – целая копна. Она пошла на мою платформу, села в мой вагон, да ещё на моё любимое место, стало ясно – бог хочет, чтобы мы познакомились. С этого я и начал. Она охотно заговорила, но как-то устало. Зовут Наташа, работает в ателье, живёт в Хотьково. За разговором подкатили к Клязьме, я вижу – девчонка валится от усталости, предложил зайти ко мне выпить чайку, передохнуть. Она кивнула и молча пошла со мной. В комнате прошлась взад-вперёд, осмотрела книги на полке, потом сняла туфли и забралась с ногами на кровать. Я стал готовить бутерброды, а когда обернулся, она уже спала, подперев ладонью щёку. Я потряс её за плечо; она приподнялась.

– Извини, я так устала.

Мы поужинали, и вдруг она начала рассказывать о себе. Я не просил, сама заговорила:

– Что же ты не спросишь, почему я так сразу к тебе пришла?.. Думаешь, я всегда так? Ошибаешься!

Я покуривал и размышлял: «Чудные они, девчонки, – каждая хочет приукрасить свою жизнь. Ну и пусть болтают. Раз они хотят, чтобы так было, – значит, для них так оно и есть».

– Мне дома нельзя показываться до десяти, понимаешь? – продолжила она. – Меня подкарауливают Колины парни... Коля Седой у них главарь. Они по вечерам всегда на Каланчёвке, у Трёх вокзалов, воруют чемоданы. И в поезда заходят... Поезд должен отойти, люди выходят, а они быстро по купе...

Я усмехнулся про себя: «Надо ж такую легенду накрутить!»

–...А у меня ребёнок от Коли Седого. Три года назад он задурил мне голову. Наговорил всякого. Я и поверила, дура... Он интересный, модно одет, добрый... Кто ж мог подумать, что он вор. Я, как узнала, сбежала к своим. А ребёнка он забрал. У своей матери держит. В Загорске. А я ведь без малыша не могу, – её голос задрожал, и на глазах появи-

лись почти неподдельные слёзы – ох уж эта женская слезливость! – от неё становится не по себе.

«Во заливает! Ей бы в актрисы, а она по станциям шастает», – подумал я, но обнял её:

– Брось переживать, всё устроится.

– Нет, ты дослушай. Я никому об этом не рассказывала. Даже отцу с матерью. Если б узнали, выгнали б из дома. И в милицию не заявляла. Ещё хуже будет. Колины дружки потом всё равно отомстят... Когда я приезжаю к ребёнку, там меня уже подкарауливают Колины парни. Сажают в машину и везут к нему. Это где-то по нашей ветке. Я даже не знаю точно где. Три раза сбегала. Хорошо, машину смогла поймать.

«Ну и фантазия у девчонки! Только всё это смахивает на дешёвый детектив!» Я уж чуть не в глаза ей усмехался.

– А в последний раз Коля сказал: «Ещё раз сбежишь – будет плохо», – она всхлипнула, глубоко вздохнула: – Ну вот, теперь ты всё знаешь. И мне полегче стало. Выговорилась...

Она-то выговорилась, а мне каково было? Сидел как дурак: высказать жалость – значит подыграть ей, а разоблачать как-то неловко. В общем, прощанье получилось скомканным. Проводил её на десятичасовую электричку и чмокнул в щёку.

Прошло несколько дней; как-то выхожу из метро на Комсомольской, вдруг вижу – толпа людей, голоса:

–...Это что ж получается! Прямо средь бела дня! Они стояли рядом, разговаривали. Вдруг мужчина побежал, а она упала...

Я протиснулся сквозь толпу и увидел её, ту девчонку-говорунью. Лежит, глаза остекленелые, а копна волос в крови... Подкатила скорая помощь, выскочили санитары, положили её на носилки. Я спросил:

– Вы в какую больницу?

– В Склифосовского.

Стою я на платформе, всего трясёт, перебираю в памяти тогдашний вечер. Потом позвонил в больницу. Мне ответил женский голос:

– Кто о ней спрашивает? Минуту!

– Кто о ней спрашивает? – переспросил мужской голос. – Вы можете подъехать? Нам нужны сведения о ней, чтобы разыскать убийцу.

– Она... – я так и онемел.

– Да, она умерла.

– Что же это?! Я ничего не смогу вам сообщить. Знаю только – её преследовал какой-то Коля Седой.

– А-а, Седой! Хорошо, спасибо!

И такие истории случались у нас за городом.

Как и предсказывал Чернышёв, в театре я добился головокружительных успехов: спустя год мне повысили оклад и мы с Володькой поменялись местами, он стал моим помощником. На меня уже с опаской посматривала и пенсионерка Евгения Семёновна, которая числилась (именно числилась) старшим художником – полуслепая, вечно сумрачная толстуха, она ходила в театр только для того, чтобы не сидеть дома. Целыми днями она просиживала в актёрских уборных или в буфете, попивая чай с конфетами и лениво поругиваясь с гардеробщицами. Раз в неделю, недовольно посапывая, выполняла какую-нибудь «филигранную» работу: разрисовывала яблочко или дамскую цепочку; всю основную работу везли мы с Володькой.

Нашему «вождю», заведующему декоративной мастерской Сергею Николаевичу Ахвледзиани, такое положение дел не нравилось, и он был не прочь отправить Евгению Семёновну на «заслуженный отдых» (но дирекция возражала), а на её место назначить – ну конечно, меня, кого ж ещё?! (Об этом он прямо говорил). Короче, мои успехи всем бросались в глаза.

Сергей Николаевич, худой, седоволосый, в театре ничего не делал вообще. Когда-то он оформил единственный спектакль («Одни дрова», – говорили о декорациях рабочие сцены). Он был женат на молодой актрисе, смазливой глупой женщине из театра Ленинского комсомола; всё время ревновал её и следил за ней, так что времени для работы у него почти не оставалось, да ему особенно и делать было нечего – я же говорю: всё везли мы с Володькой. За два года моей работы в театре он ни разу не взял кисть. Заглянет в мастерскую на пять минут:

– У вас всё в порядке? Хорошо. Я пошёл.

Он выходил из театра, вскакивал в «москвич» и гнал в «Ленком» в репетиционные залы следить за женой – о ней ходили слухи как о любительнице пофлиртовать.

Сергей Николаевич считался неглупым и добрым человеком, но он всегда выглядел напряжённым, с гримасой боли на лице – это и понятно: ему ежеминутно приходилось быть начеку. Такая нервотрёпка в конце концов довела его до инфаркта. Впоследствии он уже ходил, держась за стены, правда хорохорился:

– С женой разошёлся. Хорошо так... Можно наконец заняться делом. Вот новый спектакль буду оформлять...

Театры между собой тесно связаны, и по вечерам меня приглашали в «Сатиру» освежать декорации «Золотого телёнка», в «Пушкинский» – подправлять «Когда деревья умирают стоя», в «Современник» – делать заново «Двое на качелях», на Малую Бронную – исправлять орехи «Вида с моста». Я выполнял работу быстро и соглашался на любые условия. Другие художники-исполнители, чтобы переписать задник, заламывали огромные суммы, а я брался за «сколько дадут» – ведь постоянно не вылезал из долгов. К тому же считал, что любую работу можно сделать хорошо. Мне даже нравилось «бороться» с материалом, вытягивать его, «оживлять». Я работал ночами – писал средневековые замки, морские бухты, городские окраины и многое другое.

Раза два, когда бывал в запарке, вызывал на подмогу Юрку Мякушкова (Володька по вечерам мотался по букинистическим магазинам, скупал редкие книги – он был дальновидным бизнесменом и в будущем планировал продать свою библиотеку и занять коттедж и машину). Так вот, Юрка приходил, я включал софиты, и мы вкалывали до седьмого пота.

Помню, вначале Юрка всё боялся что-нибудь испортить. А что можно было испортить? Мажь себе одной-двумя красками какую-нибудь десятиметровую стену или часть моря. Ясное дело, я давал ему однотонные боковые куски и время от времени проходил по ним, но не приметно, как бы стирая с кисти лишнюю краску. Я думал, Юрка оценит

моё благородство, но он с каждым часом всё больше распрямлялся, смелее махал кистью и гундосил:

– Это, оказывается, совсем просто. А у меня не хуже, чем у тебя, получается, а может, даже и...

Под конец он совсем обнаглел и, когда я отошёл перекурить, стал подправлять мою живопись. Тут уж я не вытерпел, выхватил у него кисть и парой ёмких фраз поставил зарвавшегося «мастера» на место.

Мои ночные работы принесли плоды: я вылез из долгов и снял комнату на окраине города, в Ховрино, то есть стал почти москвичом – пусть неофициально (с загородной пропиской), но всё же.

В театре, кроме всего прочего, в мои обязанности входило оформление спектаклей в Щукинском училище, но это была не обязанность – скорее праздник. В училище я присутствовал на сценических танцах, уроках фехтования; среди студентов у меня появились приятели (впоследствии известные актёры), единомышленники, близкие по духу, – в их весёлом (почти карнавальном) кругу я провёл самые прекрасные часы; только, когда мы расставались, подступало что-то вроде горечи, какая-то тоска по моему несостоявшемуся студенчеству. И дело не в том, что я так и не получил высшего образования, а в том, что был лишён студенческой среды.

Вспоминается морозный денёк, когда после дружеской попойки студенты «Щуки» затащили меня на Арбатскую площадь, где наступившая хрущёвская оттепель превращалась в анархию: развязная молодёжь демонстративно распивала вино из бутылок, на полную мощь запускала магнитофоны с записями диких ритмов; вульгарно накрашенные девицы обмирали при виде «фирмачей», а фарцовщики приставали к этим самым «фирмачам» в надежде приобрести какую-нибудь шмотку или пачку сигарет. И конечно, там были истосковавшие по свободе интеллигенты, которые радовались новым временам: декламировали ранее запрещённые стихи, продавали книги авторов-эмигрантов.

С площади мы всей гурьбой завалились в Манеж на выставку польской живописи, а потом каким-то странным образом очутились у по-

эта Игоря Саркисяна – лохматого громкоголового «маэстро»; он сразу отобрал у актёров инициативу и ввёл в наше безалаберное веселье серьёзные ноты. Вначале, касаясь бурной арбатской жизни, отчеканил:

– Там сейчас сексуальный беспредел... Но ответственно заявляю: к порнографии проявляют интерес импотенты и маньяки. Нормальному человеку не нужны возбуждающие картинки... Нам, воспитанным на великой русской нравственной литературе, нельзя перенимать с Запада всё, без разбора. Ценность нации в её самобытности... На Западе не упустят случая заработать... только и думают о деньгах. В России говорят: «А ну их к чёрту, эти деньги! Всех не заработаешь. Лучше пойду на футбол». Это мне жутко нравится. Это, и русское дружелюбие (позднее Игорь написал прекрасную статью о дружбе в газете «РТ» и тем самым утёр нос моим знакомым журналистам). Возьмите простую штуку – почтовый ящик. В России это весть от друга, поздравления, письма. На Западе – это страх: квитанция о штрафе, налоги.

Насчёт выставки поляков Саркисян высказался ещё категоричней:

– Чем больше толпа у произведения искусства, тем меньше индивидуальности, искренности в этом искусстве. Пример – массовая культура. Настоящие сильные вещи не могут нравиться всем – только тем, кто способен их оценить, кто поднялся до их понимания. И вообще сейчас надо обладать немалым мужеством, чтобы иметь собственное мнение. В компаниях только и слышишь: «Это гений, это гениально!..» Существует определённый набор имен. Попробуй скажи, что тебе не нравится, сразу окрестят невеждой. Массовая культура оболванивает...

В экспансивной манере, размахивая руками и вскидывая шевелюру, «маэстро» прочитал нам отличную лекцию – я слушал его разинув рот.

И помню ещё один день. Весенний, с безупречно синим небом. Накануне погода стояла ни то ни сё: было недостаточно тепло, чтобы сбросить пальто, но и не так холодно, чтобы особо утепляться, и вдруг –

солнце вполне, стремительное повышение температуры; на улицу сразу высыпало множество девушек в летних платьях.

Я вышел из училища в приподнятом настроении – только что закончил декорации и худсовет принял их на ура. Я решил прогуляться и направился в сторону кольца бульваров; дошёл до Никитских Ворот, смотрю – на углу странная девушка: топчется на месте, растерянно озирается, разглядывает номера домов; на ней – простенькое платье, кофта, берет и стоптанные туфли. «Какая-то провинциалка», – мелькнуло в голове, и, не колеблясь, я подошёл:

– Девушка заблудилась?

Она испуганно вздрогнула, но тут же робко улыбнулась.

– Ага! Мне сказали, здесь есть художественное училище.

– Училище есть, но театральное... Ты из провинции? Какое училище тебе надо?

– Я не знаю, – она не спускала с меня наивных доверчивых глаз. – А как вы узнали, что я из провинции?

– Хм, сразу видно, – я изобразил многоопытного столичного волка.

– Я правда приезжая. Из Карачева. Слышали про такой городок? Это под Брянском.

Я пожал плечами и продолжил гнуть своё:

– Художественных училищ в Москве несколько, но везде огромный конкурс. Поступай в Калининское. Это в Подмоскovie. Там всего двое на место. Ты занималась живописью?

Она замотала головой.

– Но люблю рисовать. В школе рисовала лучше всех.

Я усмехнулся, мгновенно вспомнив себя пять лет назад.

– А вы художник? – она так и пожирала меня глазами.

Я важно кивнул.

– Работаю в театре Вахтангова.

– Здорово! – она восхищённо улыбнулась.

– А где ты остановилась? – спросил я, чтобы перевести разговор ближе к делу.

– У родственницы... А вы где учились рисовать? Расскажите. Пойдёмте погуляем куда-нибудь. Говорят, в Москве есть красивый парк имени Горького.

– Есть, – скривился я. – Ничего там красивого нет. Давай лучше купим бутылку вина и покатаем ко мне. Покажу работы и расскажу что к чему.

Она замотала головой, потупилась, надулась.

– Как же так сразу... Мы же совсем не знаем друг друга... Я думала, в Москве все воспитанные, а вы... – она часто заморгала, повернулась и перешла на другую сторону улицы.

А я пошёл дальше на поиски новых приключений, посчитав эту встречу всего лишь досадной случайностью, которая не может испортить настроение. И невдомёк мне, эгоисту, было, что минуту назад небрежно, походя заронил первое разочарование в юную чистую душу.

Итак, в институт я не поступил, но уже жил в Москве, имел интересную работу и более-менее отчётливое будущее, и у меня было множество знакомых и даже три друга: Исаев, Чернышёв и Мякушков.

Я выжил в городе, выстоял, начав с нуля. Наверно, при этом кое-что потерял (сердце-то, бесспорно, стало черствее), но всё же пробился в одиночку, без всякой поддержки, мне никто не расчищал дорогу. Я сам себя сделал, сам научился видеть и изображать увиденное, и пусть достиг немногого, зато самостоятельно – этим, как мальчишка, горжусь до сих пор. Вот только сны не оставляют в покое – много лет не могу избавиться от наваждений – будто всё ещё не устроился в Москве. Никак не могу расстаться с пережитым, с собой-бродягой в дражной одежде... И что они лезут, эти сны?! Что им надо?! Куда от них деться?! Я давно немолодой человек, давно живу благополучно, спокойно, но горькие сны то и дело теребят душу: то ночью в подвале, и по мне бегают крысы, то в меня стреляет охранник, то ловит милиция... Мои ночные стоны пугают домашних, соседи возмущённо стучат в стену, я просыпаюсь в холодном поту...

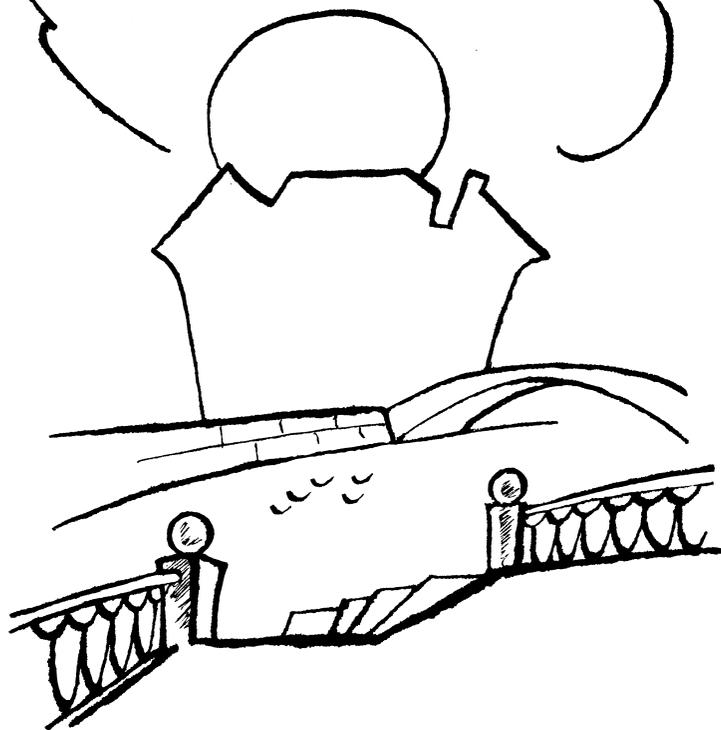
Недавно соседка посоветовала записать прошлую жизнь и записи сжечь. Я уже хотел сделать костёр из этих листов, а потом подумал: «Прошное не зачеркнуть, не переделать».

И всё же, несмотря ни на что, я толком не знаю, что лучше – моё теперешнее благополучие или те мытарства. И не знаю, в чём заключается счастье – то ли это успех, то ли путь к успеху.

*1976 г.*

**САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ,  
или  
ДОМ НА НЕБЕ**

повесть-хроника





Ольга Федоровна Чупринская

## 1.

Всю свою жизнь она ходила с высоко поднятой головой, и ослепительно-торжествующая улыбка играла на её лице. Она никогда ни на что не жаловалась, никогда никому не завидовала, никто не видел её в плохом настроении – так она умела зажать в кулаке свои боли. Со стороны её жизнь казалась беспечной и радостной, сплошным, прямо-таки сказочным везением. Около неё было облако теплоты, доверия, всеозаряющей притягательности; точно фея, она сеяла вокруг себя мир и спокойствие, заражала окружающих оптимизмом, поднимала павших духом, укрепляла в них надежду на лучшее. У неё даже имя было святое – Ольга.

Она родилась под счастливой звездой, и её мать не раз говорила:

– Оленька родилась в рубашке на Пасху, она будет счастливой, вот увидите.

В самом деле, у неё были все признаки исключительно удачливой судьбы: две макушки, родинка на правой щеке, она унаследовала от матери красоту и огненный, захватывающий характер, а от отца – трудолюбие. Ещё дошкольницей, светловолосой, голубоглазой девчушкой, Ольга стала всеобщей любимицей: бывало, играет во дворе с тряпичной куклой: «печёт» пироги из глины, «варит» супы из цветов – и улыбается, и поёт незатейливые песенки. «Наше солнышко», – называли её взрослые...

Со двора Ольга притаскивала домой «ничейных» кошек и собак, и птенцов, выпавших из гнезда, а жуков, ползущих по дороге, относила в траву, «чтобы не раздавили»...

Как только Ольга пошла в школу, у неё сразу появилось много друзей – общительная, неугомонная, с «солнечной улыбкой», она излучала жизнерадостную непосредственность, веселье, бьющее через край.

Ольга была третьим ребёнком в многодетной семье; жили они на Крымской набережной в подвальной комнате, где стоял затхлый воздух и с потолка постоянно капало. Ольгина мать работала ткачихой на фабрике Жиро, отец – почтальоном; оба родителя были набожными, всех детей крестили и каждое воскресенье водили в церковь Святителя Николая. После большевистского переворота, когда громили «класс имущих», семью переселили в четырёхэтажный каменный дом, в квартиру доктора Пупынина, который, спасаясь от анархии, бежал за границу... Дом стоял на Чудовке и возвышался над всеми строениями: двухэтажными срубами, бараком ткачих и Хамовническими казармами – самый добротный дом, «буржуйские хоромы», отдали почтовикам и ткачам.

Из прежних жильцов в доме осталось только три семьи: профессора Краснопольского, доктора Персианинова и генерала Панова; отдельную квартиру, как иностранцу, сохранили французу натуралисту де Лионде, жившему с экономкой Маргарет. Первые двое из «недобитых буржуев» надеялись, что их знания пригодятся и новой власти, генерал остался из патриотических соображений, француз был уверен, что надёжно защищён иностранным паспортом.

Позднее, во времена разгула бесчинств, грубости и хамства «новых хозяев земли», Ольга часто вспоминала профессора Краснопольского – он не раз дарил ей книжки с цветными картинками, гладил по голове и говорил:

– Эта девочка будет самой красивой барышней в Москве.

Вспоминала пожилого, с седой бородкой клином, «истинно интеллигента» врача Персианинова, который бесплатно лечил бедняков, со всеми раскланивался, приподнимая шляпу, и, прежде чем войти в парадное, подолгу вытирал ноги о коврик; Ольгиным родителям Персианинов авторитетно заявлял:

– Ваша Оля очень живая девочка, и излучает радость – это первый признак завидного здоровья.

Вспоминала генерала Панова – он всех детей называл по имени без каких-либо уменьшений; завидев Ольгу, басил:

– Здравствуй, Ольга, – и пыхтел и гудел, изображая паровоз.

Вспоминала вечно напевающего что-то француза толстяка де Лионде и его экономку, тоже француженку, сухую вертлявую женщину с буклями. Выгуливая во дворе собаку, француз непременно подходил к Ольге и, расплывшись в улыбке, на ломаном языке восклицал:

– Какой очаровательный мадемуазель!

А однажды, заметив, что Ольга поймала на асфальте жука и отнесла его на газон, поощрительно кивнул:

– Ты есть хороший мадемуазель. Любишь животных. Ты мой коллега.

Экономка вышагивала по двору с каменным лицом и никогда ни с кем не общалась, но, проходя мимо Ольги, всегда вскидывала брови и пропевала:

– Ой-ля-ля!

Приветливые, предельно вежливые, эти люди навсегда остались в памяти Ольги как образец воспитанности, порядочности и старомодности – в хорошем смысле слова; она дорожила этими воспоминаниями.

– С сыном Краснопольского – Женей – мы дружили, – позднее говорила Ольга. – Играли в «красных» и «буржуев», только буржуем он быть не хотел – стеснялся своего происхождения. И не случайно. После школы, чтобы поступить в институт, ему пришлось идти в каменщики, зарабатывать трудовой стаж. А дочь Персианинова после музыкального училища подметала улицу – «физическим трудом смывала позор дворянского происхождения». Но в конце концов они пробились: Женя стал руководителем крупного предприятия, а дочь Персианинова – известной пианисткой. Талант трудно задуть... Всего можно добиться, если упорно идёшь к цели, и никакие преграды не помеха.

В пупынинской квартире осталась дорогая мебель: шкафы тёмно-красного дерева, стулья, обитые жёлтым бархатом, рояль «Беккер», звенящие люстры, но в период разрухи, когда наступил голод, родители Ольги всё продали, оставили один рояль – дети родились музыкальные, подбирали мелодии по слуху.

Как-то в квартиру позвонил Николай Сергеевич Барсов, тридцатипятилетний офицер, один из немногих оставшихся в живых офицеров

в Хамовнических казармах. Когда начались расстрелы и солдаты выводили офицеров на плац, кто-то крикнул:

– Барсова оставьте! Хороший, душевный человек, хоть и барин!

Барсову открыла мать Ольги. Он нерешительно вошёл в коридор, улыбнулся.

– Вы меня помните? Мы вместе с вами снимали комнаты у хозяйки на набережной. Может быть, вы сдадите мне одну комнату? У вас теперь три. Дозвольте мне пожить у вас.

– Ой, барин, – смутилась мать. – У нас же много детей, они вас стеснять будут.

– Да что вы! Я люблю детей.

Полгода прожил в квартире Николай Сергеевич и ежедневно по вечерам учил детей рисовать и играть на рояле.

– Все ваши дети на редкость одарённые, – говорил он родителям Ольги. – Все прекрасно чувствуют музыку, быстро схватывают и запоминают мелодии. Особенно Оля. У неё природный абсолютный слух и редкостный голос. Надобно ей серьёзно заниматься музыкой, поверьте мне.

На Чудовке произошли крупные перемены: сломали постройки частных мастеровых, открыли продуктовый магазин, фабрику Жиро переименовали в «Красную Розу», пустили новый трамвай с блестящими цифрами на боку – он выскакивал из-за церкви и наполнял улицу скрежетом и лязгом, он звенел, раскачивался и пружинил и, рассыпая искры, катил в сторону Крымского моста. На улице появились папиросницы от Моссельпрома, которые фасонили новенькой формой и громко расхваливали свой товар, а по вечерам прогуливались сильно накрашенные девицы, которые говорили о наступивших «беспечальных днях» и о «спокойной жизни с маленькими волнениями». По воскресеньям на Крымской площади устраивались танцы под духовой оркестр, и вся площадь пестрела плакатами, призывающими к непримиримой борьбе с классовым врагом, к беспощадной борьбе за дело Ленина, к смертельной борьбе за мировой коммунизм.

«Буржуйский» дом тоже коснулись перемены – и в масштабе дома немалые: Краснопольских и Персианиновых переселили в подвалы,

генерала Панова арестовали, а француза де Лионде заставили жениться на экономке.

Раннее детство особенно отчётливо запечатлелось в памяти Ольги. Она помнила, как мать всё время боялась, что история повернёт вспять «и всё у нас отнимут». Помнила, как в церковь врывались молодые «строители новой жизни» и освистывали верующих – эти выходки заканчивались стычками прихожан с наглецами.

Однажды Ольга с матерью возвращались из магазина; внезапно на встречу им из Тёплого переулочка хлынула разнузданная толпа – выкрикивая «новые лозунги», молодые люди, в приступе массовой истерии, направлялись в церковь, в очередной раз измываться над верующими. Один парень, увидев на Ольгиной матери красный фартук, подскочил, сорвал и пошёл дальше, размахивая «флагом» над головой. Другой молодец, заметив, как доктору Персианинову старушка поцеловала руку, ударил старика по шляпе:

– Сними шляпу, интеллигент!

Шло огульное разрушительное созидание; многое захватывало, радовало Ольгу, но многое вселяло в неё смутную тревогу и страх. Каждый вечер отец с матерью молились перед иконами и негодующе бормотали:

– Господи, что ж происходит?! Оскверняют святые места! Антихристы! Бог накажет их!..

Не раз Ольга слышала, как отец говорил матери:

– У неверующих чёрные души, у них нет терпимости, милосердия, они не любят ближних. Люди без религии – дикая орда.

Ольгу и её сверстников записали в пионеры; они собирали металлолом и мусор, в подвале школы, в качестве «наглядного примера», помогали вожатому Алёхину проводить «воспитательную работу среди неорганизованных детей». В те двадцатые годы по улицам бродили ватаги беспризорников; по ночам за церковью они разжигали костры и, завернувшись в лохмотья, укладывались вповалку у огня. Алёхин приводил беспризорников в школу, требовал «вступать в коммуны», рассказывал о пионерии, духе коллективизма, но беспризорники, вкусившие другой дух – дух свободы, никак не хотели «жить правильно

и радостно», они посмеивались над вожатым, презрительно осматривали пионеров и всякий раз что-нибудь у них воровали.

Однажды Алёхин выхлопотал для своих подопечных путёвки в Ялту, и одна из путёвок досталась Ольге... Те десять дней, проведённые в Крыму, остались в её памяти как прекрасный миг жизни. Она вспоминала горячий крымский воздух, пышную растительность, тёплое синезелёное море, пахучие сочные фрукты. И паровозы с огромными красными колесами, и белые пароходы. И пионерские линейки, и песни, которые они пели, когда строем проходили по городу, и вспоминала, как навстречу им шли отдыхающие: мужчины в широченных, подметавших асфальт брюках клёш и женщины в длинных юбках и беретах.

Только два эпизода омрачили её пребывание в Крыму. Как-то Ольга заметила, что к столовой, в которой они обедали, после их ухода крадутся жалкие старушки в допотопных платьях и красивые, точно кинозвёзды, женщины в потрёпанных шляпах, из-под которых смотрели тревожные испуганные глаза, и небритые мужчины с безучастными лицами. Они собирали со стола объедки и бесшумно исчезали в проулках. Алёхин сказал, что «это буржуи, которые не успели уплыть за границу», но Ольге стало не по себе – она не могла понять, почему эти люди хотят уехать со своей родины, почему вожатый называет их «кровопийцами рабочего класса», никак не могла представить «кровопийцами» профессора Краснопольского и доктора Персианинова, и уж совсем эти «буржуи» не были похожи на тех, кого изображали на плакатах. Тихие культурные «буржуи» ей нравились несравненно больше агрессивных горлопанов из числа «строителей нового мира».

В другой раз Ольгу пытались похитить местные парни татары. Несколько дней они уговаривали её сходить в горы, обещали показать водопад; Ольга говорила, что с удовольствием посмотрит водопад, но только со всеми пионерами. Однажды парни подкараулили девочку и, зажав ей рот, потащили в горы. Ольге всё-таки удалось крикнуть, позвать на помощь; её крик услышал Алёхин, догнал негодяев и жестоко отлупил.

Из Крыма Ольга вернулась с золотисто-коричневым загаром и с выгоревшими, почти белыми волосами. Она без умолку рассказывала

подругам о Крыме, рассказывала и смеялась задорным, заразительным смехом. В те дни девчонки во дворе звали её «крымчанкой», а парни «парижанкой», считая, что «крымчанка» – заниженное прозвище для такой красавицы.

У Ольги были две близкие подруги: Лидия, некрасивая, рябая, со светлыми бровями и ресницами, и Антонина, девчонка прямо-таки с переводной картинкой.

– Ты, Ольга, такая счастливая, тебя все так любят, – говорила Лидия с неприкрытой завистью.

– И такая талантливая, – добавляла Антонина, поджимая губы. – Тебе, Ольга, всё так легко даётся, прям поражаюсь. И когда ты всё успеваешь?

Ольга действительно была способная. В школе на Пироговке, где она училась, её «художественные» сочинения зачитывали перед всем классом. И на уроках математики она проявляла редкую сообразительность. Прекрасно сложенная, наделённая избытком жизненных сил и прямо-таки клокоцущим темпераментом, Ольга была отличной спортсменкой: быстрее всех сверстниц пробегала стометровку, выше всех прыгала и делала всё это без видимых усилий, с улыбкой и весело блестящими глазами. Ольга прекрасно играла на гитаре и пела, а в школе балетных танцев, куда одно время ходила, преподаватель брал её в партнёрши, как самую музыкальную и пластичную ученицу. Все были уверены, что Ольга имеет множество талантов, неограниченные возможности и на любом поприще достигнет успеха, но ей самой больше всего нравилось заниматься немецким языком. Её подруги не разделяли этого увлечения.

– Немецкий язык сухой, деревянный, – говорила Лидия.

– Немцы не говорят, а лают, – вторила ей Антонина. – Брось ты, Ольга, этот немецкий. Тебе надо идти в актрисы.

В ответ Ольга смеялась и читала наизусть стихи Гёте.

Она любила немецких поэтов. В их поэзии её восхищала простота, строгость и предельно ясный смысл. Некоторые стихотворения она даже пыталась переводить, а особенно понравившиеся слова выписывала в блокнот и потом всё время повторяла, любуясь их весомостью и звучанием.

За Ольгой ухаживали все парни двора. Смотреть новые фильмы приглашал «великий ухажёр» и «законодатель мод» Сергей, высокий блондин с бакенбардами, щеголявший яркими пиджаками и переливчатыми галстуками. Сергей оканчивал курсы художников-оформителей, со сверстниками разговаривал надменно, насмешливо и носил в кармане две пачки папирос: «Норд» – для себя и махорочные «Гвоздики» – для «стреляющих» приятелей.

Серьёзный «дылда» Борис носил Ольгин портфель из школы, брал для неё в библиотеке сборники стихов.

Задиристый, драчливый полуцыган Михаил готовился в сыщики – «ловить разных подонков», а пока защищал Ольгу во дворе.

Замыкал круг поклонников Володя, болезненно робкий паренёк, сын портного; он всегда застенчиво стоял в стороне, не привлекая к себе внимания, не вступая в беседы, – боялся, что его общество будет неинтересным. Он никогда не ходил посередине двора – всегда вдоль дома, и, когда шёл, вглядывался в окно, перед которым Ольга обычно делала уроки, и, если замечал её, краснел и смущённо улыбался.

Все эти поклонники ревностно охраняли Ольгу от «чужих ребят» – встречаться с парнями из соседних дворов считалось нарушением некоего священного закона нравственности. Однажды Антонина нарушила этот негласный дворовый закон и привела мальчишку с другой улицы. Он был под стать ей – конфетная внешность, на поводке держал «диванную» собаку мопса... Когда Антонина появилась во дворе со своим ухажёром, ребята оторопели, окружили «влюбленных», и Михаил процедил:

– Ты, пижон, забудь сюда дорогу! А ты, Тонька, марш домой!

Даже повзрослев, парни Ольгиного двора придирчиво присматривались к «чужим воздыхателям» своих подруг и, как правило, осуждали подобные встречи. Ольге повезло: когда у неё появился жених, его сразу оценили.

– Хороший парень, хоть и не наш, простой, умный. Нам он нравится, – сказали телохранители и благословили на брак.

Кроме Ольги была во дворе ещё одна красотка и певунья – девица Шейкина. Она работала папиросницей от Моссельпрома и носила

белый фартук, экстравагантную кепку и плоский чемодан – складной столик. Днём она стояла на Крымской площади и продавала папиросы, а по вечерам, вызывая гнев общественности, приводила к себе мужчин... Когда Шейкина шла на работу, все высовывались из окон; парни восторженно щёлкали языками, а девчонки застывали в тихом восхищении – ведь она не просто шла, а вальсировала, запрокинув голову, размахивая плоским чемоданом, и при этом на весь двор распевала:

– Крутится, вертится шар голубой...

И это было не просто веселье – в звонком чистом голосе, в пританцовывающей походке билась радость беспечного отношения к жизни, такой гимн озорству.

В то время подростки во дворе стали покуривать – большинство тайком, но некоторые и открыто; курение считалось проявлением независимости. Шейкина давала папиросы в кредит, а иногда и даром – парни к ней так и липли. Девчонки старались её не замечать, но плохо скрывали свой жгучий интерес.

– Девочки, почему вы со мной не здороваетесь? – с лёгкой усмешкой как-то спросила Шейкина. – Я вам совсем не нравлюсь? Не сердитесь, я знаю, что плохая, но ничего не могу с собой поделаться, – и мягко добавила: – Попробуйте мои папиросы. Все говорят – фартовые.

Она протянула пачку и улыбаясь обратилась к Ольге:

– А ты, Оля, не хочешь поработать папиросницей? У тебя, я уверена, дело пойдёт. Ты такая шикарная, обольстительная, твоя красота завораживает. Мы неплохо зарабатываем, сможешь себе покупать, что захочешь. Будешь жить стильно, шик-блеск.

Ольга твёрдо покачала головой.

Много на Шейкину писали доносов за порочность, вульгарный вид, расточительство; эта греховодница ниспровергала устои двора, растлевала подрастающее поколение. И однажды двор не услышал её песен. Двор без неё опустел и напоминал пересохшую реку, рощу без листвы.

– Жалко Шейкину, – говорила Ольга подругам. – Пусть она плохая, но ещё неизвестно, почему она стала такой. Может быть, её кто-то об-

манул. А потом она встретила бы хорошего человека и сама стала бы хорошей.

Как многие щедро одарённые натуры, Ольга всех хотела оправдать, простить, сделать счастливыми.

А между тем во дворе появилась новая распутница – четырнадцатилетняя Антонина. Говорили, «влияние Шейкиной»; на самом деле у Антонины ещё в двенадцать лет некоторые замечали «порочный взгляд»; кое-кто вообще называл её «блудницей с ангельским лицом». В этом была доля правды: все девчонки носили косы с бантами, она – причёску с завитушками-завлекалками и легкомысленную шляпку; девчонки читали приключенческие книги, она – книги про любовь, и постоянно мечтала «хорошенько поразвлечься».

Два года Антонина демонстрировала пионервожатому лёгкое бесстыдство, «строила ему глазки» и в конце концов добилась своего – «завоевала неприступного Алёхина» и родила от него сына. Алёхина исключили из комсомола и заставили жениться на несовершеннолетней. Сына они назвали в честь вождя – Сталь.

В те годы многие оригинальничали, называли детей Днепрогэс, Пятвчет (пятилетку в четыре года), Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике), а то и совсем нелепо – Глобус, Трактор, Шестерёнка, но чаще – Сталь, Сталина. Вождь был Богом. Даже когда вырубали Садовое кольцо и разрушали церкви, все были уверены – «отец всех народов» не знает об этом.

Ольга помнила, как взрывали храм Христа Спасителя. Она ходила на Остоженку с матерью. Его взрывали несколько раз; дрожала земля, в сотрясённом воздухе висела пыль, трескались соседние дома, а исплин не сдавался, медленно, по кирпичу оседал. Старики крестились:

– Ничего они здесь не построят. Бог этого не простит!

На месте храма планировали возвести Дворец Советов. Поставили фундамент – его затопило водами Москвы-реки. Откачали, начали строить – рухнули леса, погибли люди, и снова появилась вода. Так и отказались от проекта.

Родители Ольги жили в нужде, и мать хотела, чтобы после окончания школы Ольга пошла работать на ткацкую фабрику, где уже работала её старшая сестра Ксения, но отец сказал:

– Не надо торопиться. Оля способная, пусть учится дальше.

Мать продолжала настаивать на своём, говорила, что учиться можно и по вечерам, а в доме нет самого необходимого.

– Может, и правда, Оленька, немного поработаешь? – сдался отец. – А потом начнёшь учиться на рабфаке или где захочешь? Тебя везде возьмут. Я слышал, теперь только детей буржуев никуда не принимают, их вначале посылают мостить мостовую, а тебя-то всегда возьмут, ты ж из рабочих.

Ольга собиралась поступать в Институт иностранных языков, но ей пришлось выбирать между своими планами и долгом перед семьёй, особенно перед младшими сестрой и братом. В конце концов она согласилась пойти работать, но только не больше чем на год.

Отец устроил её к себе на почту, продавать марки, открытки, и уже на следующий день возле Ольгиного окна выстроилась очередь: почтовые изделия покупали даже те, кто просто приходил за письмами и газетами, – каждый хотел увидеть приветливую улыбку новой девушки, услышать её голос. Ольга относилась к работе добросовестно: каждое отправление расцвечивала разными знаками, искусно подбирала открытки, сделала выставочный стенд «Животный мир в марках», но на почте у неё был мизерный оклад, и, как только в бухгалтерии на ткацкой фабрике появилось свободное место, она не раздумывая – а решительности ей было не занимать – перешла на новую работу.

Главный бухгалтер фабрики, маленький, сухощавый, дотошно-педантичный немец Шидлер, сразу заметил Ольгины способности и трудолюбие, а когда узнал, что она занимается немецким языком и готовится поступать в институт, стал к ней относиться прямо-таки с отеческим вниманием, часто даже отпуская с работы пораньше. Как-то директор вызвал Шидлера и попросил у него объяснения на этот счёт.

– Она справляется быстрее всех, – сказал Шидлер. – И совершенно не делает ошибок. Зачем же барышне сидеть сложа руки, когда работа сделана?! Сидеть ждать конца смены?!

У него была своя, немецкая логика; начальству это не нравилось – оно руководствовалось предписаниями сверху, и вскоре лучшего работника фабрики уволили.

Новым бухгалтером назначили Виктора Кирилловича Бодрова, «видного мужчину с шевелюрой-мечтой», как охарактеризовали его работницы фабрики и от которого они сразу «сошли с ума». С первого дня работы Виктор Кириллович ко всем сотрудникам был подчёркнуто внимателен и предупредителен, но больше других – к Ольге. Она считала это дружеским покровительством, а он вдруг пришёл к её родителям и сделал предложение. Матери он понравился, как «человек с положением», отец неопределённо пожал плечами:

– Пусть Оля решает сама.

А Ольга растерялась, её взгляд заметался, она посмотрела налево, направо, как бы ища защиты, закачала головой и, густо покраснев, убежала. Замужество ей представлялось какой-то романтической и таинственной связью, её предназначением и обязанностью; она догадывалась, что это ожидает её впереди, но в каком-то неопределённом будущем, после окончания института. А пока она не думала о замужестве, тем более не могла представить Виктора Кирилловича своим мужем, он казался ей слишком взрослым мужчиной. Она ещё чувствовала себя недоигравшей девчонкой; в восемнадцать лет в ней ещё не проснулась женщина. Ко всем знакомым парням она относилась как к приятелям; ещё ни один молодой человек не затронул её сердце, не заставил думать о нём, волноваться при встрече.

На следующий день после визита Виктора Кирилловича Ольга не вышла на работу.

– Не пойдёшь на работу – кормить не буду, – заявила мать.

– Хорошо, мама, – сказала Ольга. – Я вернусь на работу, но осенью обязательно поступлю в институт.

Виктор Кириллович встретил её радушно и в последующие дни проявлял к ней только товарищеское расположение, но Ольга чувствовала – это даётся ему нелегко, чувствовала – между ними всё равно существует какая-то напряжённость. Да и работницы при случае подтрунивали над «тайными вздохами главбуха». В конце лета Ольга написала заявление об уходе.

...Много лет спустя, оформляя пенсию, она зашла на фабрику и узнала, что Виктор Кириллович погиб, защищая Москву, в сорок втором

году. Ольга вспомнила первомайский праздник, весёлую уличную разноголосицу, и как они, молодые работницы, шли на Красную площадь со знаменем и цветами, и как среди них шагал улыбающийся, со сбитой ветром «шевелюрой-мечтой» Виктор Кириллович. Обнявшись с девчатами, он пел и раскачивался в такт песне – он казался таким взрослым, а ему было всего двадцать пять лет.

Ольга подала заявление в Институт иностранных языков и, блестяще сдав экзамены, была зачислена на первый курс... Училась она увлечённо, со всевозрастающим интересом, преподаватели отмечали её любознательность, ненасытную жадность к занятиям.

– В институте удивительно интересно, – ликующим голосом возвещала она родным. – Каждый день узнаёшь что-то новое, одерживаешь маленькие победы.

Среди студентов Ольга выделялась открытостью, искренностью и – главным образом – постоянным стремлением принести пользу другим. Что немаловажно – обладая безудержной фантазией, будучи природжённой выдумщицей, она чуть ли не ежедневно являлась как бы в новом качестве, казалась немного новой. Всё это и неиссякаемая энергия наделяли её немалой притягательной силой; даже самые пассивные, общаясь с ней, чувствовали прилив сил.

...Позднее многие, с кем Ольга училась в институте, утверждали, что она покоряла сразу одной своей улыбкой, что над ней всегда светился воздух и каждый около неё ощущал тёплый ветерок – так велико было её обаяние; и все как один были уверены, что счастье ей на всю жизнь обеспечено.

Спустя месяц после начала занятий у Ольги проявились черты лидера и вокруг неё сгруппировались несколько единомышленников; они создали драматическую студию, в которой ставили пьесы на немецком языке. На один из спектаклей Ольга пригласила Лидию с Антониной. После спектакля подруги похвалили Ольгу, но и покритиковали – сказали, что студенты забыли про «ценностные рамки и ставят себя вровень с актёрами» и что вообще она, Ольга, слишком «заводная», много развела в институте друзей и эта неразборчивость в людях скоро ей «выйдет боком».

– Чем больше друзей, тем больше радости в жизни, – улыбнулась Ольга, догадываясь, что в подружках говорит ревность.

После занятий Ольга с сокурсниками ходила в музеи и театры, играла в волейбол, а позднее увлеклась плаванием. В то время на Москвереке открыли Водный стадион и по воскресеньям устраивали праздники на воде: соревновались пловцы и гребцы на шлюпках, носились глissеры. Ольга записалась в секцию плавания и быстро стала первоклассной пловчихой – как лучшая спортсменка в группе даже участвовала в параде физкультурников.

...Тот парад она отлично помнила – такое запоминается на всю жизнь: они шли по Крымской площади, красивые молодые люди в белоснежной спортивной одежде, – маршировали, высоко взмахивая руками; время от времени останавливались, делали пирамиды, вызывая всеобщий энтузиазм – с тротуаров и балконов, из подъездов, окон и трамваев их приветствовали многочисленные ликующие зрители.

Иногда после занятий собиралась группа студентов – активистов комсомола. Они распевали:

Долой, долой монахов!  
Долой, долой попов!  
Мы на небо залезем,  
Разгоним всех богов!

И звали Ольгу с собой в церковь вести атеистическую пропаганду, но она решительно отказывалась. Её воспитывали в уважении к религии... Ольга не верила во всесильность Бога, в могущество святых на иконах, но ей нравилась торжественность и величие церковных обрядов. Для неё религия была не верой, а сводом определённых правил, в основе которых лежали нравственность, гуманизм, совесть.

В институте, как и во дворе, и в школе, к Ольге тянулись не только друзья, но и липли разные ухажёры, особенно «победители женских сердец», но она любезно и твёрдо, без всякого притворства отклоняла «заманчивые предложения» – как каждая женщина, она интуитивно чувствовала, где серьёзное, а где легковесное, где искреннее, а где фальшивое.

Старшая сестра Ольги Ксения, прыщавая дурнушка, долго не выходила замуж, всё искала свой идеал, в каждом поклоннике видела недостатки, пока ей не исполнилось тридцать лет и на её лице не появилось выражение угрюмой горечи.

– Ты, Ксюша, неверно подходишь к людям, – сказал однажды отец. – Надо видеть в человеке хорошее, а ты выискиваешь плохое. У тебя очень большие запросы.

Мать была ещё прямолинейней:

– Останешься старой девой со своей любовью. Выходи за любого, а там слубитесь.

Ксения подождала ещё несколько лет, а потом с отчаяния вышла за парня моложе её на десять лет. Его звали Фёдор, он только что приехал в город из глухой деревни, работал забойщиком в шахтах метрополитена и жил в общежитии. Хмурый крепыш с огромными красными ручищами, он всё время молчал, а когда с ним заговаривали, бурчал что-то неопределённое.

Родители выделили молодожёнам маленькую комнату, но Ксения с первых дней совместной жизни всячески избегала мужа, называла его «тюфяком» и все вечера проводила в комнате родителей.

– Не могу жить с этим тюфяком, – говорила матери. – Он примитивный, неотёсанный... И чёрт меня дёрнул выйти за него, уж лучше осталась бы одна.

Несколько раз Ксения намеревалась развестись с мужем, но так на это и не решилась. Детей она не завела, с годами смирилась со своей «дурной» участью и стала украдкой выпивать.

Ольгины братья, длинноногие вихрастые парни, служили на телефонном узле, были первыми заводилами во дворе и отличными спортсменами: делали кульбиты с парадного, быстрее всех бегали на «норвежках». Старший, Алексей, после призыва в армию участвовал в финской кампании и был контужен. Демобилизовавшись, вернулся на телефонный узел, а как только его перевели из телефонистов в начальники смены, женился на девушке-украинке, с которой встречался до армии. Её звали Лариса. Она была высокая, с худым нервным лицом и властным голосом. Переехав к мужу, она размашисто

прошлась по квартире, выбрала лучшую из трёх комнат и настояла, чтобы Алексей занял именно её. На следующий день она переставила на кухне столы, часть вещей вынесла на чёрный ход, привезла новые занавески, новый светильник, а свекрови заявила:

– Вы, мама, ничего не понимаете, живёте по старинке.

Спустя месяц мать жаловалась:

– Люська свои порядки заводит. Кто ж здесь хозяйка, она или я? И Алексей изменился, пляшет под её дудку, грубит мне. Правду говорят: «Приведёт в дом сын хорошую невестку – мать дочку приобретёт, приведёт плохую – мать и сына потеряет».

Отец только вздыхал:

– Ладно, родная, не печалься. Ну, много ли теперь нам с тобой надо? Детей вырастили, дождёмся внуков и на покой.

Младший брат, Виктор, насмотревшись на браки своих старших, сказал матери, что «не женится вообще». Виктор тоже служил в армии, но демобилизоваться не успел, началась Вторая мировая война.

Ольгина младшая сестра, «тихоня» Анна, была слабой, суеверной натурой. Подростком она мечтала стать певицей, но поступила на рабфак и «изменила стиль жизни» – начала разводить герань и увлеклась хиромантией. Окончив рабфак, Анна, по выражению Алексея, «обабилась», годами носила одно платье, ради экономии мало ела – все заработанные деньги откладывала на приданое. Впоследствии она привела домой молодого, но лысого военного.

– Это мой муж, – сказала, собрала вещи и больше в доме не появлялась.

Все Ольгины сёстры и братья обладали музыкальным слухом, играли на гитаре, пели. Особенно преуспевали братья – они серьёзно занимались чечёткой, даже выступали на городских конкурсах, а как гитаристов их хвалил сам Иванов-Крамской. Ко всему, Ксения делала живописные аппликации из лоскутов, Анна прекрасно вышивала гладью, Алексей с Виктором увлекались радиотехникой и собирали приёмники... Но всё-таки самой талантливой была Ольга. И если её сестры и братья с годами забросили все свои увлечения, превратились в ничёмных обывателей, погрязли в семейных склоках, то Ольга, несмотря

на тяготы и лишения, жила духовной жизнью, постоянно занималась самообразованием, «самосовершенствовалась» и в конце концов ушла далеко вперёд от родни.

...Однажды на вечеринке у Лидии Ольга встретила парня, который сразу привлёк её внимание. Он был среднего роста, в очках, в простой рубашке с расстёгнутым воротом, неглаженных брюках и стоптанных башмаках. Когда Ольга вошла, он сидел на диване и под гитару пел модную тогда песню Лещенко «Чубчик». Ольга стала подпевать, и так дуэтом они и закончили песню.

– А вот эту вещь знаете? – парень улыбнулся Ольге и заиграл песню Козина, потом романс Вертинского.

Как-то само собой за столом они очутились рядом и, разговорившись, обнаружили несколько общих знакомых. Затем выяснили – им нравятся одни и те же кинофильмы, книги и театральные постановки. Отключившись от всей компании, они проговорили весь вечер, а прощаясь, условились пойти на следующий день на оперетту «Сирокко».

Его звали Анатолий. Он был всего на год старше Ольги, но уже успел многое пережить и, в отличие от своей беспечно-счастливой подруги, выглядел серьёзным и самостоятельным.

Он родился в Ленинграде, его отец работал бухгалтером, мать – портняхой-надомницей. В городе на Неве они жили более-менее благополучно, правда отец Анатолия, будучи слабохарактерным и малодушным, часто выпивал, но никогда не переходил грань дозволенного. Всё изменилось в конце двадцатых годов, когда отца перевели на работу в Москву, и то ли повлияла непривычная среда, то ли так было предназначено судьбой, только переезд сыграл неправдоподобно трагическую роль в семье. Первым не выдержал перемен отец – он начал выпивать больше прежнего, и однажды, во время запоя, у него случилось умопомрачение – он повесился. Затем, простояв на холоде в очереди за продуктами, заболела менингитом семилетняя Анна, младшая сестра Анатолия; спасти её врачам не удалось. Эти страшные несчастья подкосили здоровье матери; через год она заболела тифом и вскоре скончалась.

Одного за другим Анатолий потерял всех родных. Соседи навещали его, стирали бельё, приносили еду и... уходили, а он оставался один в пустынной трёхкомнатной квартире... Через несколько дней квартиру уплотнили: в большую комнату подселили жильцов, оставив шестнадцатилетнему квартиросъёмщику две маленькие комнаты. Новые жильцы искренне заботились об осиротевшем подростке, всячески пытались вывести его из подавленного состояния, утешали и приободряли:

– Ты уже взрослый, будь мужчиной, будь мужественным. Держись, ты способный, у тебя большое будущее...

Анатолий слушал рассеянно; оглушённый смертью родных, он чувствовал себя загнанным в угол, всё больше замыкался в себе, всё чаще уходил из дома, где каждая вещь напоминала о жуткой утрате. По совету соседей, «чтобы избавиться от духа умерших», он продал все вещи, кроме кухонного столика с кобальтовой посудой, и за небольшую приплату обменял свою жилплощадь на десятиметровую комнату в Орликовом переулке у Красных ворот. Затем, вместе со школьным приятелем, поступил в чертёжно-конструкторский техникум на Зубовском бульваре.

Это был момент взросления, начало самостоятельной жизни. Новая обстановка в техникуме, плотные интенсивные занятия не оставляли времени на горькие раздумья и постепенно приглушали душевную боль. Товарищи по группе, узнав судьбу Анатолия, окружили его особым вниманием, затащили в секцию бокса, поставили защитником в футбольную команду; случалось, всей группой корпели над начерталкой, или подрабатывали – писали вывески для магазинов, плакаты, или устраивали мальчишник у Анатолия с шахматными баталиями и песнями под гитару; с годами это товарищество переросло в крепкую дружбу.

Окончив техникум с отличным дипломом и характеристикой, в которой отмечалась редкая работоспособность, «умение просчитывать все варианты и выбирать лучший», Анатолий был направлен на авиационный завод.

...Так скрестились две судьбы, два разных человека: простодушная девушка с живым характером и много переживший, благора-

зумный и осмотрительный парень... Они ходили в театр, а после спектакля долго гуляли по бульварам и с того дня встречались ежедневно.

Анатолий познакомил Ольгу со своими друзьями, инженерами Доравтотранса, – одержимые, увлечённые техникой, они вечно копались в разных механизмах, что-то конструировали, паяли и клеили, и занимались спортом и рыбной ловлей, и дружили с художниками, и сами рисовали – придумывали эмблемы спортивных обществ, и даже участвовали в конкурсе проектов Дворца Советов. Они собирались у Анатолия, слушали новые пластинки Руслановой, Козина, Шульженко, Утесова, и вели жаркие споры, и обсуждали открытие метро, и двухэтажные троллейбусы на улице Горького, и новые парки культуры, и зарубежные кинокартины с участием Дины Дурбин, Гарри Пила и Мэри Пикфорд, и отечественные комедии с Орловой, Алейниковым, Жаровым. Ольга попала в захватывающий, насыщенный событиями мир; с Анатолием и его друзьями она ходила на выставки, стадион и купальню на Москве-реке.

В Анатолии ей нравилось всё: его внешность и предельная напряжённость жизни, его серьёзное увлечение книгами и шахматами и то, что он всегда что-нибудь мастерил. И нравилось, как он держался в компаниях: просто и естественно, подтрунивая над друзьями, а к ней, Ольге, проявлял великодушие и снисходительность; и нравилось, что во время затяжных споров с друзьями он не заострял разногласия, а старался свести их к шутке. Ольга восхищалась им и, что бы он ни предложил, откликалась с радостной готовностью; ради него она в любую минуту могла расстаться со своими привычками и привязанностями. Ей даже нравилось, что Анатолий был неумелым ухажёром и что влюблённость не затмевала его разум, что он всегда прекрасно владел собой. «Мужчина и должен быть именно таким, – рассуждала она. – Сдержанным, поглощённым работой, а не юбочником, вроде всяких прилипал».

О своей семье Анатолий ничего не рассказывал; всё, что Ольга узнала, позднее ей рассказали его друзья. Он только вскользь обмолвился:

– Мои все умерли, Олечка. Так получилось. Давай не будем об этом говорить, те годы как страшный сон. Просто поверь мне на слово, я много пережил.

Иногда в компании Ольга замечала, что Анатолий внезапно отключался от разговоров и впадал в хмурую сосредоточенность; она догадывалась, что его терзает, и в такие минуты пыталась его отвлечь от тяжких дум; ей хотелось как-то помочь ему, но как именно – она не знала.

Подруги считали Ольгу «талантливой затейницей», «добрейшей душой» и в то же время «взбалмошной, легкомысленной»; её весёлость и общительность принимали за ветреность, но Анатолий видел за Ольгиной весёлостью лёгкий характер, открытость, в её «затейливости» – непосредственность, бесхитрость, а в её голосе угадывал добросердечие и правдивость.

Однажды в солнечный майский день он пришёл на свидание сильно взволнованный, словно растерял всегдашнюю сдержанность... Тот день Ольга помнила до мельчайших подробностей: он был не слишком жаркий, не слишком холодный, но небо синело ярче обычного. Бульвар, где они встретились, уже зеленел маленькими клейкими листьями, а от гомона птиц сотрясался воздух – их голоса заглушали слова влюблённых. Непрерывно теребя пиджак, Анатолий объяснился Ольге в любви, потом посмотрел ей прямо в глаза и сказал:

– Давай, Олечка, поженимся?!

Ольга зажмурилась, улыбнулась, запрокинула голову и выдохнула:

– Давай!

Их любовь родилась дружбой, доверием друг к другу... Они шли в загс, не замечая улиц; завидев их, прохожие расступались и улыбались – как бы благословляли на брак.

Свадьба была простой: днём отметили событие с родственниками Ольги, вечером собрались с друзьями. Отец с матерью и Ольгины братья искренне порадовались за молодожёнов, но Ольгины сёстры отнеслись к браку настороженно – по их понятиям, срок знакомства – каких-то четыре месяца – выглядел смехотворно коротким, и вообще

в поведении невесты было мало целомудрия, а жених ничего особенного из себя не представлял.

И подружки Ольги не верили в продолжительность их совместной жизни, забывая, что только один брак достоин осуждения – брак без любви. Скривив губы, Антонина усмехнулась:

– Олька совсем потеряла голову. Очень рада за неё, испытываю море радости, но ещё неизвестно, как у них будет.

Лидия высказалась ещё смелее:

– Разойдутся, как пить дать, тут и говорить нечего. Они же знакомы всего ничего. Знаю я эти браки с бухты-барахты. Нет чтобы узнать друг друга как следует, присмотреться. Как была Олька вздорной, легкомысленной, так и осталась. Надо же, сразу выскочила замуж! За очкарика!

– Не слушай никого, – говорил Анатолий Ольге. – Неверна поговорка: «Друзья познаются в беде». В радости они познаются. Когда мы испытываем затруднения, многие выслушают, придут на помощь, но мало кто искренне радуется нашему успеху. Уж так устроены большинство людей – сострадание им ближе, чем восхищение. Твоим подругам не понять, что мы с тобой необходимы друг другу. Мы с тобой подходим, как две половинки ореха, и ничто не сможет нас разлучить.

Его-то друзья по-настоящему радовались за молодых. Особенно Иван и Михаил, закадычные «дружки-неженатики», заядлые курильщики и остроумные насмешники, колючие, беспощадные спорщики – стриженный бобриком «толстяк Ванюшка» и нескладный «фитиль Мишка». При встрече с Анатолием они вставали в боксёрские стойки.

– Давай, Толька, защищайся! Сейчас тебе покажем, где раки зимуют, – и, делая выпады, колошматили «женатика».

– Ванька, хороший, пригожий, весёлый наш толстяк! – отбиваясь, Анатолий пел популярную тогда песню. – Да ты стал ещё толще. Я знаю неплохой рецепт похудеть – в кого-нибудь влюбиться и истязать себя ревностью. Правда, здесь надо быть осторожным – можно исчезнуть совсем! А ты, Мишка, забыл все наши встречи! – Анатолий переключался на Михаила, напевая другую, не менее популярную песню.

Их связывала въедливая симпатия, весёлое противоборство, которое нередко переходило в серьёзные споры, когда они разговаривали

«с помощью жёсткого прессинга» и обращались друг к другу без всякого панибратства, только – Иван, Михаил, Анатолий; но стоило одному доказать свою правоту, как другие тут же сдавались.

– Молодец! Положил меня на лопатки! – Анатолий снимал очки и протирал глаза.

– Ты прав на все сто. Здесь я сливаю воду и беру свои слова назад! – поднимал руки Иван.

– Перед этим я снимаю шляпу! – Михаил наклонился и театральным жестом снимал несуществующий убор.

Однажды Анатолий несколько раз подряд выигрывал эту борьбу.

– Да, сегодня, пожалуй, мне лучше шляпу вообще не надевать, – сказал Михаил. – Вижу, тебе, Анатолий, женитьба пошла на пользу, ты здорово поумнел.

– Точно! – согласился Иван. – Это его жена поднатаскала, – и, обращаясь к Ольге, спросил: – Оль! Хочешь узнать голую правду? Как мы с Мишкой раньше чихвостили твоего Тольку?!

– Не верится, – откликнулась Ольга. – Ну а теперь у него есть защитница.

– Вдвоём вы, само собой, непобедимы. Вдвоём вы как рыбы в воде. Не в море, конечно, – в аквариуме.

У Анатолия с Иваном и Михаилом была настоящая мужская дружба, чистая, бескорыстная, надёжная. Именно Михаил, который знал Ана-толия с отрочества, поведал Ольге о его судьбе и в заключение сказал:

– Ты, Оль, хорошая, я это понял сразу. Ты украшаешь любую компанию. И Толька золотой паренёк. У вас любовь, а перед этим я снимаю шляпу. Но прошу тебя об одном: не забывай про Толькины душевные травмы, будь к нему повнимательней, поласковей, – и, расплывшись, добавил: – Ну и о нас не забывай. Встречай нас как положено – супчиком и так далее. Мы же будем друзьями вашей семьи. И учти: как только займете квартиру с балконом в сто метров, мы с Ванькой переберёмся на балкон. Надоело ютиться в клетушках, да с родителями.

А Иван однажды взял Ольгу под руку и отвёл в сторону.

– Ты, Оль, вроде в курсе Толькиной жизни. Так вот, что я хочу тебе сказать. Мы ведь с Толькой друзья давние и до гроба. Это я затащил его в техникум. Я его, понимаешь, ценю. Светлый ум. И порядочный он. Но, как ты догадываешься, был лишён родительской заботы, теплоты... Ты уж постарайся... Понимаешь, о чём я говорю?..

–...Какие мы были беспечные и дружные, – позднее вспоминала Ольга. – Как искренне радовались успехам друг другу, как искренне огорчались неудачам. Иметь настоящих друзей – огромное счастье; друзей, на которых всегда можно положиться, которые не подведут... В то время мы интересовались буквально всем на свете. И что странно – жизнь только начиналась, а мы спешили жить, работать, любить, словно предчувствовали скорую трагедию.

Анатолий с Ольгой начинали семейную жизнь в десятиметровой комнате в многонаселённой квартире. «Уголок» (так называли они свою комнату, на манер романа «Наш уголок нам никогда не тесен...») только и мог вместить диван, стол и шкаф, зато на полу вдоль стен лежало множество книг и журналов «Техника – молодёжи», а на подоконнике красовался патефон с пластинками и кобальтовая посуда. Ольге нравилось их жилье. В те дни ей вообще всё нравилось: и старинный дом, где она теперь жила, и улица Кирова со множеством магазинов, и Чистые пруды, и доброжелательные соседи, которые сразу взяли её под свою опеку, причём мужчины подготавливали Ольгу к семейной жизни туманными теоретическими рассуждениями:

– Самой природой женщине предназначено быть помощницей мужа, его другом, советчицей. Женщина – стержень семьи, и какой ритм установит, такой и будет. Жена отвечает за дом, за честь семьи...

А женщины без всякой поучительной морали открывали Ольге житейские премудрости, давали практические советы в хозяйстве, учили готовить, покупать недорогие, но добротные вещи.

Больше других Ольгу опекали Ксения Максимовна и Панка. Акушерка Ксения Максимовна и её муж, страховой агент, были бездетными, тяготились обществом друг друга и все вечера напролёт проводили на кухне. Ксения Максимовна развлекала домочадцев историями из практики родильного дома, рассказывала про артисток-рожениц, про

матерей, оставивших младенцев, и про тех, кто их усыновил. Каждую из историй муж Ксении Максимовны дополнял анекдотом. Ксения Максимовна сразу отнеслась к Ольге по-матерински, подробно объяснила существующий порядок в квартире, поставила Ольгин кухонный стол рядом со своим, подарила льняные салфетки, показала, где находятся ближайшие магазины, поликлиника, научила делать морковный пирог и вышивки ризелье.

Панка была старше Ольги всего на два года, но взяла над ней покровительство – и в знак женской солидарности, поскольку обе «представляли молодое поколение», и на правах старожилки. Панка вводила новую жилочку в «курс всех дел» ещё и по привычной обязанности – на заводе, работая сборщицей, она числилась секретарём комсомола. Панка была маленькая, остроносая, большеглазая и... хромая. Она жила с родителями, но их Ольга с Анатолием почти не видели. Отец Панки, тучный военный в отставке, работал инструктором в Осоавиахиме и с раннего утра до позднего вечера находился в своём обществе.

– Горит на работе, – говорила Панка. – У него вместо сердца пламенный мотор. Готовит молодёжь к труду и обороне, готовит значкистов.

Мать Панки страдала подагрой и редко выходила из комнаты; большую часть времени сидела в кресле и слушала радио... У Панки часто собирались комсомольцы с завода; они входили в квартиру громкогласно, хором здоровались с жильцами, рапортовали о своих делах, шумно рассаживались в Панкиной комнате и вели горячие, запальчивые споры.

Как-то после ухода комсомольцев Панка постучалась к Ольге и попросила её выйти на кухню, «поговорить».

– Ты видела того белокурого парня в куртке? – проговорила тревожно и сбивчиво. – Он работает у нас слесарем... Я его давно люблю... Из-за него всех к себе приглашаю... А он меня даже не замечает. Я для него просто товарищ, секретарь комсомола... Однажды даже хлопнул меня по плечу... Конечно, зачем ему уродина и калека... Что мне теперь делать, прямо не знаю...

Ольга сразу поняла – это было отчаянное откровение, и чистосердечно возмущилась:

– Что ты говоришь?! Ты молодая красивая женщина, посмотри, какие у тебя глаза! А то, что ты немного хромаешь, это ерунда. Даже незаметно. Да и главное в человеке – душа, а ты такая чуткая, добрая. Плюнь ты на этого слесаря. Тоже мне сокровище! Свет клином на нём не сошёлся. Я уверена, ты встретишь замечательного человека, который полюбит тебя.

– Не знаю, не верится, – отозвалась Панка со слабым жестом протеста.

В этот момент Ольге вдруг захотелось, чтобы в мире всё перевернулось и каждый увидел бы в уродине красавицу, в калеке – принцессу, чтобы все женщины в мире нашли своё счастье, как его нашла она.

– То было замечательное время, – вспоминала Ольга. – Надо же, жили в тесноте, никаких особых условий не имели, а как дружили, помогали друг другу, делились деньгами, если кого-нибудь поджимало. У нас было одно крохотное окно, но мне казалось – у нас десятки окон, распахнутых в разные миры.

Теперь жизнь Ольги обрела новый, значительный смысл: у неё, замужней женщины, появилась ответственность за мужа, за его самочувствие, настроение и внешний вид, и это добавляло к её радостному состоянию чувство гордости. Ольга была счастлива и не скрывала своего счастья: всем знакомым без умолку рассказывала, какой у неё замечательный муж, какая у них замечательная комната, в каком замечательном районе они живут. Порой она даже не верила своему необычному везению.

– Господи, за что мне такая награда?! – шептала. – Что я из себя представляю, что такого сделала?! Всего лишь обыкновенная симпатичная девчонка. А Толя! Он такой необыкновенный, самый лучший на свете!

Она изо всех сил старалась быть хорошей женой: после занятий в институте спешила в магазины, и готовила мужу его любимые блюда, и на звонок в дверь бежала его встречать. А по утрам вставала чуть свет, готовила завтрак, гладила Анатолию рубашки, чистила его костюм... И никогда не садилась за стол, если Анатолий ещё был занят, и ставила для него самую красивую тарелку, и то и дело спрашивала:

– Тебе там удобно? Тебе там не дуёт?

Она не ждала, когда Анатолий что-нибудь сделает для неё, но постоянно думала, что сама для него может сделать, и что бы она ни делала, ей всё было в радость, в удовольствие. В те дни она чаще всего пела песню о влюблённом капитане из кинофильма «Дети капитана Гранта».

– Когда у нас будет своя квартира, я постараюсь, чтобы она была уютной, чтобы тебя всегда тянуло домой. Я буду очень заботиться о тебе, – говорила Ольга Анатолию, и её лицо освещала улыбка.

– Олечка, ты у меня прелесть! – гладил жену по волосам Анатолий. – У тебя наполеоновские планы. Ничего мне особенного не надо, вот только бы сына.

– И дочку! – ликовала Ольга. – Пусть у нас будет двое детей!

Анатолий считался талантливым чертёжником-конструктором. Практик без диплома о высшем образовании, он вскоре получил должность инженера с приличным для того времени окладом. Как-то с его зарплаты Ольга накупила разных безделушек, чтобы украсить их комнату, и вечером ей стало стыдно за свои глупые покупки.

– Наверно, я мещанка, да? – спросила она Анатолия.

– Ну что ты, Олечка, – добродушно ответил Анатолий. – Мне нравятся эти штучки. А потом каждая женщина немножко мещанка, потому и создаёт в комнате уют. И мне это нравится, я ведь по натуре домосед.

По воскресеньям молодожёны устраивали «день святого лентяя» и вместе с Иваном и Михаилом уезжали на Пахру; удили рыбу, пели песни у костра под гитару. Инициатором вылазок на природу был Иван. Лёгкий на подъём, готовый в любой момент «катануть куда угодно», он влетал в комнату молодожёнов и с порога басил:

– Чахните, черти, в прокуренной комнатухе, а погода – шик! Махнём за город, а?! Совсем оторвались от природы! Собирайтесь живо! Заедем за Мишкой, сколотим мировой коллектив, купим винца – и на Пахру, где «на рыбалке у реки тянут сети рыбаки»...

С реки приезжали к молодожёнам, жарили рыбу, пили чай с вареньем, спорили по каждому пустяку и снова пели. В то время ни одна

их встреча не обходилась без песен. И кинокартины смотрели только с песнями; считалось, фильм без песен – не фильм.

В будние дни за ужином Анатолий с Ольгой рассказывали друг другу, как провели день, и каждое сообщение выслушивали предельно внимательно. В еде Анатолий был непряхотлив, старался поскорее встать из-за стола и подойти к чертёжной доске.

– Жалко тратить время на еду, – говорил Ольге, но всегда благодарил её за вкусный ужин.

До полуночи Анатолий чертил за столом, или читал книги, или просматривал журналы «Техника – молодёжи» и газеты и, поминутно поправляя очки, бормотал:

– Та-ак, сказал Спиноза, – и делился с Ольгой прочитанным: сообщал о челюскинцах, папанинцах, перелётах Чкалова.

Эти вечерние часы, когда они были вдвоём в их маленькой обители, Ольга любила больше всего; рядом с Анатолием было не просто интересно и надёжно, он воплощал в себе целый мир.

Однажды Ольга ждала Анатолия около проходной завода и внезапно увидела, что он вышел под руку с яркой блондинкой. Ольга чуть не задохнулась от ревности и, когда муж подошёл к ней, сумбурно выплеснула своё возмущение, но Анатолий сразу взлохматил её волосы:

– Ну что ты, Олечка! Это ж Лида, наша сотрудница, копировщица. Моя приятельница.

Эта «приятельница» несколько дней не давала Ольге покоя: она чувствовала, что блондинку с её мужем связывает что-то тайное. В подтверждение Ольгиных домыслов блондинка однажды явилась сама. Ольга стирала в комнате, когда в дверь постучала Панка:

– Оля, это к тебе.

Ольга вышла в коридор и увидела её, «приятельницу» Анатолия.

– Вы Оля? Можно к вам? Я пришла с вами познакомиться.

В комнате она попросила разрешения закурить и, нервно перебирая бусы, сказала:

– Я много слышала о вас от Толи. Я с ним встречалась до вас и несколько раз бывала в этой комнате. Не думайте, у нас ничего серьёзного не было. Ну да теперь это неважно. Я просто пришла посмотреть

на его жену. Вы и правда красивая. Желаю вам с Толей счастья, – она решительно направилась к двери.

Позднее Ольга узнала, что на следующий день она написала заявление о переводе на другой завод. А тогда, после её ухода, ревнивая Ольга еле дождалась мужа и, как только он вошёл, обрушила на него водопад обвинений. Анатолий еле успевал защищаться.

– Ну что ты, Олечка!.. Как ты не понимаешь: ни одна женщина не сравнится с тобой. Ведь мы с тобой как две половинки ореха...

Ольга его не слушала и всё больше теряла голову: настаивала, чтобы он повёл её к блондинке и при ней сказал «о любви к жене». И настояла на своём – Анатолий пошёл – и успокоилась, только когда он выполнил эту безумную и бессмысленную просьбу.

...Спустя много лет, вспоминая то глупое положение, в которое поставила Анатолия, Ольга корила себя за невыдержанность и чрезмерную ревность, но всё же и оправдывала свой поступок:

– Я так сильно любила своего мужа, что ревновала его ко всем и ко всему, и не вижу в этом ничего ужасного. Настоящая любовь не может быть без ревности. Кажется, Бальзак писал: «Любовь без ревности – это тело без души».

В начале зимы соседка Ксения Максимовна взяла беременную Ольгу к себе в родильный дом и сама принимала ребёнка, потом прибежала в квартиру и объявила:

– Ольга родила хорошего мальчугана. Правильно говорят – от любви и дети рождаются красивыми.

Жильцы бросились поздравлять Анатолия и готовить Ольге подарки. Спустя полтора года они с ещё большим энтузиазмом повторили поздравления и вновь преподнесли подарки – уже для Ольги с дочерью.

Учёбу в институте пришлось отложить, но Ольга была молода и счастлива, и ей казалось, что всё успеет, – вот только дети немного подрастут, и они получат отдельную квартиру, тогда и займётся любимым языком.

После рождения детей шкаф из комнаты пришлось передвинуть в коридор, на его место поставили две кровати-качалки. Между дива-

ном и столом осталась узкая щель, в которую протискивались попеременно: то Анатолий за Ольгой, то она за ним; чтобы разойтись, одному из них приходилось залезать на диван.

Забот у Ольги прибавилось: целыми днями она занималась детьми, бегала в магазины, готовила на кухне, но никто не видел её уставшей, всегда она просыпалась в хорошем настроении и всегда по утрам пела.

А вечера они проводили на Чистых прудах. Вернувшись с работы и поужинав, Анатолий сажал детей в коляску и катил на пруды; чуть позднее, прибрав в комнате, к нему присоединялась Ольга.

– Это были чудесные минуты, – вспоминала Ольга. – Я чувствовала себя самой счастливой на свете... И невероятно гордилась своим мужем и тем, что я такая молодая, но уже мать двоих детей.

На обратном пути они непременно заходили в кондитерскую, где покупали ромовую бабу или фигурное печенье к чаю, – оба любили сладкое. Ольге было всего двадцать два года, Анатолию – на год больше.

Летом, чтобы дети окрепли на свежем воздухе, они сняли комнату на Истре. Комната была маленькой, зато прямо в окна лезли ветви яблонь и цветы дельфиниума.

– Какие изумительные цветы! – воскликнула Ольга, увидев их впервые. – Такая гуща высоких стеблей! И какие голубые и синие граммофоны! Кажется, прислушайся – и услышишь музыку. Надо же, какое чудо создаёт природа!.. Но всё же я больше люблю полевые цветы. Особенно ромашки. Ромашка – солнечный цветок: посмотришь на него – и сразу становится весело. (В самом деле, ромашки как нельзя лучше соответствовали её характеру).

Теперь по утрам прямо с постели всей семьёй бежали к реке. Купались на мелководье, где светлел лежащий под водой песок, а потом, взявшись за руки, брели по утреннему влажному лугу...

После завтрака Ольга провожала Анатолия до платформы и всегда подолгу махала уходящей электричке; потом в пристанционном магазине покупала продукты и весь день занималась домашним хозяйством и детьми, и всё время пела.

– Я пою не только для себя, – объясняла она свой жизнерадостный настрой, – но и для детей, ведь их с детства должны окружать краси-

вые вещи, цветы и музыка, песни. Красота обладает чудодейственной силой, она не только облагораживает душу, но и создаёт хорошее настроение, и даже вылечивает болезни.

Соседний дом снимали дачники, состоящие в «интернациональном браке», – рыжий немец журналист Рудольф Бергович и русская хохотушка Мария; у них было двое сыновей-подростков. Будучи заядлым рыболовом, Рудольф Бергович часто приглашал на рыбалку Анатолия и по пути расхваливал Ольгу:

– Ваша жена, Анатолий, настоящая красавица! И так хорошо знает немецкий. И так умно воспитывает детей, а ведь ещё сама ребёнок. И вы – молодец, бережно к ней относитесь. Вы и Оля – идеальная пара.

По воскресеньям к Рудольфу Берговичу приезжали друзья, тоже немцы, и у них начинался «расслабленный отдых»; гости ходили по участку в шортах, много ели, и пили пиво, и говорили по-немецки. Иногда кто-нибудь из них подходил к забору и заговаривал по-немецки с Ольгой. В эти минуты Анатолий не скрывал гордости за жену, а про себя удивлялся её знанием чужого языка, свободой и лёгкостью в общении с иностранцами.

Выпив ящик пива, немцы нестройно затягивали свои песни и время от времени восклицали:

– И Мария, и Ольга – чудо женщины! Все русские женщины – чудо!

Мария смеялась, подмигивала Ольге, а при случае говорила поселковым женщинам:

– Надо уметь выходить замуж, дорогие!

«Что значит «уметь»?!» – недоумевала про себя Ольга. – Просто надо выходить замуж по любви».

На следующий год по городу покатила волна слухов о «врагах народа». Атмосфера подозрительности губительно отразилась на отношениях между людьми – каждый в каждом видел доносчика; кое у кого из-за недоверия рушилась многолетняя дружба. Людей охватил страх. Точно зловещее облако, страх расползлся, проникал в каждую семью.

Первым из знакомых как шпиона арестовали бухгалтера Шидлера. Потом забрали бывшего вожатого Алёхина. Говорили, что он сын эмигранта, великого шахматиста, и что, будучи комсомольским вожаком, «вёл вражескую пропаганду». Антонина сразу же после ареста мужа развелась с ним, сына отвезла к матери и начала «новую жизнь». Она любила всё необычное: встречалась с необычными мальчишками, необычно вышла замуж, необычно быстро развелась, а позднее уехала с иностранцем в какую-то необычную страну.

Потом Ольга случайно на Сретенке встретила одного из сыновей Рудольфа Берговича.

– Вчера за папой пришли милиционеры, – тревожно сообщил подросток. – Сказали, что он шпион, что его посадят в тюрьму. А мы с мамой скоро поедем на поезде. Куда-то далеко.

В одну из ночей обитателей Орликова переулка разбудил скрежет тормозов воронка; тут же на лестнице послышался тяжёлый топот, раздался резкий звонок, и в квартиру вошли мужчины в кожаных пальто, уполномоченные с Лубянки. Они произвели обыск в комнате Панки и увели с собой её отца.

– Что вы делаете?! – кричала Панка. – Мой отец никакой не враг народа! Он преданный родине человек! Будёновец!.. Тогда и меня забирайте!..

Ольга вышла из комнаты, попыталась заступиться за соседа, но ей сразу приказали «не лезть не в свои дела» и дали понять, что всякое сочувствие такого рода рассматривается как пособничество «врагам народа». Всю ночь на кухне Ольга успокаивала подругу; только под утро Панка ушла в свою комнату, а когда вновь появилась, Ольга её не узнала – она поседела. А у матери Панки случился сердечный приступ, её увезли на скорой помощи.

Через месяц «за анекдоты» арестовали мужа Ксении Максимовны, а ей самой посоветовали «держаться язык за зубами и не сеять панику». Перед этим Ксения Максимовна сказала соседям по лестничной клетке, что «в роддоме рождаются одни мальчишки и это к войне». Когда уводили мужа Ксении Максимовны, все жильцы попрятались по комнатам, но Ольга вновь не выдержала и подошла к уполномоченным.

– Вы не смеете этого делать! В нашей квартире нет «врагов народа». Это какая-то ошибка или чья-то клевета...

– А вы, гражданка, помалкивайте, если не хотите неприятностей! – отчеканил один из уполномоченных и хлопнул дверью.

– Господи! За что?! Что эти люди сделали? – Ольга обращалась к Анатолию, но он прикладывал палец к губам.

– Тише, Олечка! У стен тоже есть уши. Нужно время, всё утрясётся, встанет на свои места.

– Я больше не могу находиться в этой квартире, – сказала Панка Ольге после всего случившегося и через несколько дней уехала на Дальний Восток на комсомольскую стройку.

Позднее, там же на стройке, как и предрекала Ольга, Панка нашла своё счастье – вышла замуж и родила дочь.

Ольгиной семьи репрессии не коснулись, только отца вызвали на Лубянку за письмо родственникам в Белоруссию, где он написал, что стало плохо с продуктами. Его продержали на Лубянке два месяца. Вернувшись, он собрал родню, выбросил иконы и отрёкся от Бога.

– Что ж происходит? – шептал ночью Анатолий Ольге. – И отца Ванюшки посадили... Здесь что-то не то. Вначале взрывали храмы, теперь сажают людей... Что-то не то... Можно строить новый мир, но зачем разрушать старый? Как можно уничтожать вековые ценности, культуру?! Какие-то жуткие перегибы... Ты, Олечка, смотри, будь осторожна. Ни с кем ни о чём не говори.

## 2.

Летом сорокового года в Подмоскowie на станции Правда закончилось строительство заводских домов, в которые вселили живущих в подвалах и тесных коммуналках. В число новосёлов попали и Анатолий с Ольгой. Посёлок располагался на опушке леса и представлял собой двустенные засыпные дома с голландским отоплением; в каждом доме две комнаты на две семьи и общая кухня. К посёлку от станции вела шлаковая дорога.

Ольга с радостью согласилась переехать, подумав, что жизнь за городом будет несравненно легче – ей не придётся тратить время на прогулки с детьми, они смогут гулять на участке, а она тем временем займётся немецким... На семейном совете решили, что следом за Ольгой в вечерний институт поступит и Анатолий. Они строили серьёзные планы и намечали их осуществлять последовательно и терпеливо. Жизнь представлялась им некоей лестницей, ведущей в светлый гармоничный мир, где их ждала интересная работа, семейное благополучие, увлекательные путешествия и многое другое. И они собирались взойти на эту лестницу, но ради детей были готовы задержаться на одной из ступеней.

Анатолий был на заводе, когда Ольга с детьми приехала на станцию. Открыв дверь дома, она обнаружила, что им на четверых выделили пятнадцатиметровую комнату, а смежная двадцатиметровая предназначалась бездетному конструктору Толчинскому с женой.

– Возмутительная несправедливость, – проговорила Ольга и, не дожидаясь приезда соседей, заняла большую комнату.

Став матерью, она решительно отстаивала интересы семьи, и порой её решительность выглядела как своеволие.

Вечером Толчинский устроил Анатолию скандал – не стесняясь в выражениях, отчитывал своего сослуживца за «безответственность», за то, что «распустил жену», не может её «приструнить за безрассудные выходки». Анатолий стоял, вытянув руки, как школьник, краснел, поправлял очки на переносице.

–...Конечно, конечно. Не сердитесь, моя жена погорячилась. Простите её. Я завтра же переставлю вещи обратно.

– Ой, Олечка, что ты натворила, – вздыхал Анатолий в комнате, нервно закуривая папиросу. – Мало быть правым, надо ещё уметь доказать свою правоту. В тебе энергии, как у динамо-машины, но, пожалуйста, всегда советуйся со мной.

– Ты должен постоять за себя, – настаивала Ольга. – Ты же мужчина, глава семьи! Когда речь идёт о благополучии семьи, нужно отбросить всякую мягкость, интеллигентность. Ты прекрасно знаешь, у нас это

не ценится. Тихим интеллигентам садятся на голову. Надо уметь сражаться за своих родных, а ты сразу сдался и просишь простить меня. Вот ещё! Я и не подумаю просить прощения. Будь у этого Толчинского хоть капля совести, он сам предложил бы нам большую комнату. Я на его месте именно так и поступила бы.

На следующий день на эмке прикатил председатель месткома, его эскортировали члены жилищной комиссии. Осмотрели дома, комнаты, прочитали жалобу Толчинского.

– Кто вам разрешил занять комнату, предназначенную другим? – спросил председатель месткома Ольгу.

– Разве это справедливо? Они вдвоём, а у нас дети! – с жёсткой прямоотой безбоязненно заявила Ольга (всегдашняя её лучезарность мгновенно улетучилась, взгляд стал строгим, непримиримым; словно тигрица, защищающая своих тигрят, в эту минуту она была готова противостоять любому противнику). – Если мой муж вам нужен как инженер, обеспечьте его семью достойным жильём.

Члены комиссии не ожидали такого напора и сконфуженно заулыбались, а председатель засмеялся:

– Резонно! Ваш муж как инженер нам нужен. Даже очень... Придётся уговорить товарища Толчинского сделать широкий жест – поступиться несколькими метрами в пользу соседей. Ведь добрые отношения важнее всяких метров-сантиметров, не так ли?!

Переговоры с Толчинским закончились успешно, и Ольге даже стало стыдно за свою вспылчивость и резкие слова, которые она наговорила Анатолию накануне; она вспомнила просьбы его друзей и сразу оправдала его мягкотелость.

Когда комиссия уехала из посёлка, Анатолий сказал жене:

– Ну, Олечка, я поражён. И как ты не испугалась целой комиссии, как сумела их убедить?!

– А что здесь убеждать?! Каждому нормальному человеку понятно, что большая комната должна быть нашей, у нас ведь дети! И как этой комиссии не стыдно – так несправедливо распределять жильё?! Им надо бы извиниться перед нами, а они пошли уговаривать соседа. Просто смешно!

Убеждённая в своей правоте, Ольга ради детей была способна и на более смелые действия. Позднее она призналась Анатолию, что, если бы им не дали большую комнату, она поехала бы в дирекцию завода, дошла бы до областных властей, но добилась бы своего. В тот день Анатолий понял: в его молодой жене прекрасно уживаются приветливость и стойкость, женственность и дух воина; понял, что именно она будет лидером в их семье; ему, не очень-то уверенному в себе, не умеющему чего-то добиваться и вообще непритязательному в быту, такая спутница жизни была совершенно необходима.

– Как здесь чудесно! – воскликнула Ольга, когда они с Анатолием расставили мебель. – Комната просторная, хоть катайся на велосипеде, из окна видны колокольчики, – раскинув руки, она протанцевала от двери к окну и устало плюхнулась на диван. – А для детей здесь будет просто рай.

Ольга посадила в палисаднике ромашки и дельфиниум, сшила на окна занавески, на пол из разноцветных бечёвок связала коврик.

– Ты, Олечка, одарённая рукодельница, – сказал Анатолий, разглядывая новые «украшательства» в комнате. – Надо же, из пустяковин сотворила чудо!

– Теперь у нас есть всё, о чём я мечтала, – Ольга обняла мужа и крепко поцеловала в щёку.

С женой Толчинского, тихой, неприметной женщиной, подружались сразу. Бездетная, она искренне завидовала Ольгиному материнству, постоянно играла с её детьми и угощала их сладостями, а Ольге ежедневно, как притказку, повторяла:

– Ты, Оля, такая счастливая.

– Счастливая, правда, – смеялась Ольга. – Даже неловко быть такой счастливой, ведь вокруг много замечательных женщин, у которых не очень удачно складывается судьба. Хотя... Всё-таки каждый сам делает свою судьбу. Вот моя старшая сестра. Прекрасная женщина, но слишком быстро отчаялась и вышла замуж не по любви, а теперь жалуется на судьбу.

Жена Толчинского была намного старше мужа и отчаянно боролась со своим возрастом – покупала настойки и кремы, изучала книгу «Как

сохранить свежесть и стройность»; боясь потерять молодого супруга, всячески ублажала его, пыталась задобрить подарками, готовила изысканные блюда, а он развалится в кресле и тянет ленивым голосом: «Поддай газету, милая». Или: «Что-то коленки трещат. Сделай массаж, милая». За глаза в адрес жены он отпускал пошлые остроты, называл её «моя старушенция», а её любовь – «любовью увядающей женщины». Он был недалёким, самовлюблённым мужчиной: слишком много крутился перед зеркалом и каждое утро в трусах, с полотенцем на голове совершал «променаж» – насвистывая мотивчики, размашисто бегал вокруг посёлка, бахвалясь мускулатурой, – «занимался саморекламой», по выражению его жены. Завидев детей Анатолия и Ольги, свирепо вздыхал и предсказывал суровое наказание:

– Ты, шкет, будешь лазить на забор – перестанешь расти. А ты, пигалица, будешь громко говорить – станешь немой.

Единственным его увлечением был немецкий язык, на этой почве они с Ольгой вскоре и помирились.

В бараке у леса жили холостяки и незамужние женщины, среди которых выделялась Груша, великанша с грубыми чертами лица, но с чувствительной, ранимой душой. Она мечтала о «настоящем мужчине», который «однажды возьмёт за руку и поведёт за собой», ей хотелось встретить мужчину сильнее себя, которому она с радостью подчинилась бы и относилась бы к нему с рабской покорностью.

– Ой, Ольга, – вздыхала она, смущённо покашливая, – так хочется заботиться о ком-то, кому-то принадлежать, но вокруг одни хлюпки, а не мужики... Так немного нужно для бабьего счастья: любимого мужа, ребёнка, комнату... И всё это так трудно получить.

– Всё у тебя будет, Груша, – Ольга брала великаншу за руки. – Вот увидишь. Нам лет-то с тобой всего ничего, только жить начинаем. Ты обязательно встретишь прекрасного мужчину, который оценит тебя. Конечно, это дело случая, но мне кажется, тебя непременно ожидает такой случай. Представляешь, сейчас, вот в это самое время, где-то ходит, работает твой будущий муж и даже не догадывается, что скоро судьба его сведёт с тобой. Я уверена, он замечательный человек...

– Не знаю, – вздыхала Груша. – Вот у тебя с Анатолием всё – лучше нельзя придумать. Вы замечательная пара. Вас даже трудно представить друг без друга, у вас любовь на всю жизнь. И дети у вас замечательные: девочка – куколка, и мальчуган такой сообразительный.

Анатолий с Ольгой жили только на одну зарплату, но по тем довоенным понятиям, жили неплохо, даже купили этажерку, радиоприёмник и фотоаппарат «Лейка» и каждую покупку отмечали как важное событие.

– В нашей комнате уже уютно, – говорила Ольга мужу. – А когда я получу диплом и стану работать, у нас станет ещё лучше. Тогда мы сможем купить красивую мебель.

–...Как странно, – позднее вспоминала Ольга. – В те дни столько фотографировались, а снимки не сохранились, как будто и не было того чудесного времени. Как будто всё, что я вспоминаю, – всего лишь красивые фантазии, выдумки, а ведь это было, было!

По воскресеньям приезжали родственники Ольги и друзья Анатолия Иван и Михаил; брали патефон, гитару и отправлялись на озёра в Тишково. Располагались на солнечной поляне, среди мшистых камней и широколистных деревьев, готовили обед на костре, танцевали под пластинки, Анатолий с Ольгиным братом Алексеем попеременно играли на гитаре, и всей компанией устраивали хоровое пение.

Одно время Алексей слишком зачастил на Правду, приезжал чуть ли не каждый вечер, и они с Анатолием отправлялись на рыбную ловлю в Тишково, и каждый раз на обратном пути заглядывали в пристанционную пивную, где пили портвейн, и возвращались ночью. После одной из таких рыбалок Ольга вспылила и сказала брату:

– Знаешь что! Не смей спаивать моего мужа! Если не можешь обойтись без выпивок, лучше не приезжай! – сказала твёрдо, и Алексей понял: в борьбе за свою семью сестра не остановится ни перед чем.

С того дня рыбаки брали с собой только по бутылке пива и возвращались сразу же после захода солнца.

Станция Правда представляла собой нечто среднее между деревней и дачным посёлком: деревянные срубы, источенные короедом, соседствовали с кирпичными домами, в палисадниках росли розы,

а на улицах – полевые цветы. Около платформы высились сосны, под ними ютились обычные станционные постройки, а на пятаке, откуда ходил автобус в Тишково, находились керосинная лавка, пивная, магазин и газетный киоск.

Лето прожили как дачники, а осенью начались затяжные дожди, и в доме появилась сырость. Немецким Ольга так и не занималась – не было времени. За хлебом и керосином приходилось ходить на станцию, за молоком – в Тишково, за остальными продуктами – ездить в Пушкино. С утра до вечера Ольга готовила, стирала, подшивала, выкапывала овощи с грядок, играла с детьми; Анатолий уставал ездить в электричках на работу и с работы; но они были молоды, сильно любили друг друга и трудности загородной жизни рассматривали как временные барьеры на пути, которые Ольге помогал преодолевать её прирождённый оптимизм, а Анатолию – чувство юмора.

Зимой завьюжило, посёлок засыпало снегом, и до приезда мужей поселковые женщины вместе с детьми коротали время у Ольги; к ней тянулись, с ней никогда не было скучно. Жизнестойкая, активная, она умела приободрить, придумать интересное занятие, развлечь. Случалось, потрескивают дрова в печи, на полу играют дети, женщины вяжут свитера и носки, обсуждают будничные дела, вдруг Ольга встряхнётся:

– Да что мы в самом деле, как старухи, говорим о пустяках. Давайте споём что-нибудь, – она брала гитару и громко затягивала «Катюшу», а потом, непоседливая, откладывала инструмент, вскакивала:

– Смотрите, за окном-то сказка! Одеваемся быстренько и идём встречать наших муженьков.

Шумной ватагой они направлялись к станции, а, завидев Анатолия, Ольга лепила снежок и бросала его навстречу мужу.

Тот год был самым счастливым. На следующее лето началась война.

После объявления о мобилизации Анатолий пришёл в военкомат, но его в армию не взяли по зрению; военком заявил:

– Как инженер вы нужнее в оборонке.

Его завод эвакуировался в Казань. В посёлок прибыли грузовики; Анатолий перекидал в кузов саквояж, ящик из оцинкованного железа,

наспех связанные узлы. Ольга с детьми забралась в кабину, и машина покатила в сторону Москвы.

На вокзале была паника и давка; плакали дети, кричали женщины; Анатолий отыскал заводской состав, помог Ольге с детьми забраться в телятник на сколоченные из досок нары. Их провожал отец Ольги.

– Знаешь что, папа! Уговорил бы ты маму, и поехали бы с нами, – с тревогой сказала Ольга.

– Ну что ты, Оленька. До Москвы немцы не дойдут, и вообще война быстро кончится. И куда на старости лет ехать? Мы с матерью уж как-нибудь здесь. Вам-то, понятно, надо ехать, у вас дети...

Локомотив дал сиплый сигнал, залязгали сцепы, состав тронулся, покотил с привокзального полотна; Ольгин отец стоял на платформе и долго махал старой шляпой. Тогда ещё Ольга не знала, что видит отца в последний раз, – таким и запомнила его: сидящим, с добрым взглядом и какой-то виноватой улыбкой, со старой фетровой шляпой в руке.

Когда выехали за город, Ольга повернулась к Анатолию:

– Что же теперь будет?

В понурой задумчивости Анатолий пожал плечами, и Ольге стало ещё тревожней; она-то думала, что он всё знает, – где ей было понять, что он ещё в сущности сам мальчишка. Как и большинство женщин, она видела в мужчине не только защитника, но и более мудрого человека... Обняв детей и точно окаменев, Ольга смотрела в окно – в её голове не укладывалось, как могло так случиться. Казалось, земной шар стал вращаться в обратную сторону, всё перевернулось, было столько планов, и вдруг... И как Германия, страна, которая дала миру столько поэтов, музыкантов, могла совершить такое?! – она вспомнила бухгалтера Шидлера, дачника Рудольфа Берговича... Эти немцы никак не вписывались в образ «вероломных захватчиков». И вот теперь родные остались в городе, а они с детьми куда-то едут, и что их ждёт впереди?!

Не успел состав проехать и пяти километров, как началась бомбёжка; заскрежетали тормоза, вагон задёргался и встал; послышалась команда – «Выгружаться!». Спрыгнув на землю, Анатолий увидел, что два головных вагона горят, и вместе с другими мужчинами побежал

на помощь. Огонь тушили долго, потом локомотив оттащил тлеющие вагоны в тупик, «погорельцев» распределили по другим вагонам, и состав покатил дальше; он тянулся медленно, подолгу стоял на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад, – из тех вагонов солдаты весело махали руками и кричали, что вернутся с победой. Молодые пареньки, почти подростки, смеялись и пели песни.

Во время стоянок мужчины собирали грибы в лесополосе вдоль путей, ловили раков в прудах и речушках; женщины ходили в близлежащие деревни за продуктами; детям «для разминки» разрешали играть у вагонов. Однажды на одном из полустанков не успел Анатолий набрать в чайник кипяток, как состав тронулся, а путь к нему перегородил встречный товарняк; когда товарняк пронёсся, состав уже набирал скорость. Анатолий побежал к своему вагону; крышка чайника упала, и горячие брызги обжигали руку. Высунувшись из проёма двери, Ольга закричала:

– Брось чайник!

Но Анатолий упорно пытался догнать свой вагон и, только когда состав покатил быстрее, бросил чайник и вскочил на подножку одного из последних вагонов.

Около месяца состав тянулся до Казани и наконец встал на разъезде Аметьево. На разъезде было тихо; за поворот убегали ржавые рельсы и сгнившие шпалы, на бугре стояла будка стрелочника, за ней виднелись овраги с красной глиной и деревня, за которой темнел город. Выгружались прямо на траву; через несколько часов за вещами пришли грузовики, а людей построили в колонны и повели за пять километров на территорию небольшого завода. Семьи размещали в подвалах и под тентами, одинокие приступили к постройке бараков.

Анатолию с Ольгой достался сарай, но спустя неделю, когда организовали бюро для расселения по частным квартирам, они переехали в деревянный дом на улице Малая Красная.

В доме царило запустение: поломанная мебель, пыльные полки, надбитая посуда. Хозяйка, больная женщина, Евгения Петровна, занимала две дальние каморки, в проходной комнате поселились Анатолий с Ольгой. Комната продувалась насквозь, и на ночь поверх одеял

накрывались ватными телогрейками и обкладывались бутылками с горячей водой; дети спали на старой железной кровати, Анатолий с Ольгой – на настиле, сколоченном из досок.

Евгения Петровна перебралась в Казань задолго до войны. Когда-то, по её словам, она жила в Москве и работала массажисткой; не раз рассказывала Ольге о «чудодейственных кремах», а показывая свои руки, восклицала:

– Эти руки массировали Ермолову!

Вместе с Евгенией Петровной жила её мать, совсем дряхлая полунемка, и тощая собака Кэт. У старухи было синее, бескровное лицо и скрюченные пальцы, она еле передвигалась и постоянно бормотала какую-то молитву. Когда Евгения Петровна обедала, старуха, как затворница, сидела в стороне и голодными глазами смотрела на стол. Время от времени Евгения Петровна выдавала матери и Кэт кусок хлеба, хвосты селедочек и беспощадно ворчала:

– Ты меня не воспитывала. Сама жила весело, припеваючи, а я росла беспризорницей.

Старуха молча сносила упрёки, только мелко тряслась и кивала, как бы соглашаясь с дочерью и благодаря за подачки; порой, всплакнув, шепелявила, что «очень переживает войну», и просила прощения – непонятно, у кого и за что: то ли у дочери за своё прошлое, то ли у всех россиян за немецкую нацию.

– Мать – эгоистка! – объясняла Евгения Петровна Ольге. – Меня никогда не любила. Когда у меня появился жених, прогнала его... Она и Кэт не любит. Если бы не я, давно продала бы её на мясо. Ведь здесь всех собак поели.

– Всё равно вы очень жестоки к матери, – говорила Ольга и втайне совала старухе варёные картофелины.

В Казань прибыли станки Московского авиационного завода, и на местном предприятии началось переоборудование; вскоре часть эвакуированного предприятия уже выпускала продукцию. Ольга отдала детей в детсад и устроилась на завод контролёром ОТК; по двенадцать часов в сутки проверяла детали, а потом ещё стирала грязное солдатское бельё, выдаваемое каждой работнице, кроме жён начальников.

Анатолий не выходил из отдела по четырнадцать часов. Случалось, его вызывали на завод и ночью – оборонные предприятия работали круглосуточно; в цехах у станков стояли женщины и подростки. Анатолий был специалистом по формам, придумывал и рассчитывал формы, в которых под давлением отливались различные детали; он внёс множество рационализаторских предложений, на его столе всегда стоял красный флажок передовика. В отделе он слыл «скромником»; когда его хвалили на собрании, старался незаметно ускользнуть из зала, но, если немного выпивал, хорохорился перед женой:

– Честное слово, Олечка, всё, что делают инженеры нашего отдела, я тоже могу, но ещё могу и то, чего они не могут.

– Я уверена в этом, – улыбалась Ольга. – Только ты ведёшь себя чересчур скромно. Не обязательно выпячиваться, бить себя в грудь и говорить, какой ты талантливый, но всё-таки надо держаться с достоинством, поуверенней, потвёрже.

Приближалась осень. Продуктов, выдаваемых по карточкам, не хватало, и перед зарплатой в доме совсем не было еды; тогда варили похлёбку из лебеды, жарили «чёртиков» из картофельных очистков, которые собирали у столовой госпиталя, но даже в эти дни Ольгу не покидало мужество. Это мужество непроизвольно передавалось другим, и в первую очередь её мужу, теперь часто впадавшему в уныние. По совету жены Анатолий купил на барахолке старый бредень, и несколько раз они вдвоём ночью ловили рыбу на Казанке; раздевались догола и, поёживаясь, брели в тёмной воде, среди осоки, по топкому, вязкому дну, то и дело выволакивая тяжёлый бредень на мелководье, и в плотной темноте среди трав отыскивали бьющихся скользких рыбёшек.

После рыбалок варили уху, а на работе подробно рассказывали о своих уловах. По цехам пошли разговоры, что Ольга по ночам таскает бредень, и над Анатолием стали подшучивать, к тому же у него от холодной воды опухли ноги, и рыбалки пришлось прекратить.

Как-то Ольга сказала мужу, что одна женщина из их отдела ездила за город, нарвала колосьев ржи и сварила кашу.

– Нам тоже надо съездить, – заключила она. – Детей в саду кормят плохо, и у нас ничего нет.

Анатолий сразу заявил, что он против поездки.

– Как мы будем смотреть людям в глаза? – недоуменно спросил у жены. – Нас считают безупречно честными. Да и самому себе этого не прощу. Лучше одолжу деньги у кого-нибудь.

Он пытался занять деньги у всех знакомых, но у него ничего не вышло, большинство семей было в таком же положении.

– Собирайся! – решительно сказала Ольга. – Здоровье детей дороже всего.

Они взяли рюкзак и ночным поездом приехали на станцию Дербышки. Сойдя с платформы, прошли сумрачные заросли и очутились на краю поля ржи; осмотревшись, вошли в посадки и начали обрывать тяжёлые литые колосья. Когда рюкзак наполнился до половины, слышался лошадиный храп, голоса. Приподнявшись, Анатолий увидел прыгающие пятна фонарей.

– Обьездчики, – прохрипел он. – Бежим к станции.

– Уже рассвет, заметят. Лучше спрятаться, – спокойно прошептала Ольга.

Анатолий поразился смелости и находчивости жены в минуту опасности. Они забрались в спутанную гущу колосьев и замерли. Топот и говор усилились, потом начали стихать.

– Ты такая счастливая, Олечка! – пробормотал Анатолий, когда объездчики скрылись. – Тебе так во всём везёт. И ты такая бесстрашная, мужественная.

– Хм, мужественная! – усмехнулась Ольга. – Никакая не мужественная. Просто у меня есть чувство долга перед детьми. А мужество – не что иное, как преодоление страха.

Хлебного клейстера хватило на несколько дней, и все эти дни доверчивая Ольга рассказывала сослуживцам, какие они с мужем удачливые. Но однажды в заводской многотиражке появилась статья, где говорилось о некоторых работниках завода, которые крадут колхозное зерно. Статья заканчивалась предупреждением, что к таким людям будут применять крутые меры. В тот же день вечером Анатолий с тревогой сказал Ольге:

– Я узнал, за колосья могут посадить. Скажи в отделе, что ты всё придумала.

– Вот ещё! И не подумаю! Меня не посадят, у меня двое детей.

– О чём ты говоришь, Олечка?! На соседнем заводе арестовали инженера только за то, что он хвалил немецкую технику.

– Меня не посадят, – твёрдо повторила Ольга. – А если это случится, я на суде всё скажу. И про то, как многие получили тёплые квартиры в центре, и приобрели дополнительные карточки, и спекулируют ими. Думаешь, я это не знаю?! И про то, как мы, рядовые работницы, по ночам стираем солдатское бельё, а жёны начальников от этого освобождены. Почему? И про то, как в нашем ОТК здоровые мужики получили бронь, увильнули от армии, как бы по болезни. Я всё скажу! И кое-кому не поздоровится... На моей стороне правда. А правда многим не нравится, потому что она жестокая... А то, что я своим голодным детям сорвала несколько колосьев, это разве преступление?! Дирекция завода и городские власти должны были в первую очередь позаботиться о детях, а они позаботились о себе...

Зима наступила внезапно, суровая, мгlistая, с леденящими морозами. Трещали деревянные дома, лопались провода и трубы, замёрзшие птицы падали с деревьев. И вдруг однажды, когда Ольге и Евгении Петровне удалось раздобыть охапку поленьев и они растопили печь, Анатолий сообщил, что на чердаке их дома... летают бабочки. Ольга с детьми залезли на чердак и увидели, что вокруг печной трубы кружат жёлтые бабочки.

– Какое чудо! – воскликнула Ольга. – Они отогрелись и решили, что наступила весна. Надо же, какая сила у природы! Уж если бабочки переносят холода, то мы и подавно должны. Сейчас нам нелегко, но знаете что? Спартанская обстановка закаляет организм. Судьба посылает нам трудности, проверяет нас на прочность, но мы крепкие, не сдадимся, верно, ребята?!

Валенки на рынке стоили дорого, и в морозы ноги обматывали газетами и тряпками. От безденежья Ольга продала саквяж, ящик из оцинкованного железа, одну из своих сумок, а потом и эмалированные кастрюли – взамен купила алюминиевые и, для экономной чистки

картошки, самодельный вогнутый нож, но чаще клубни просто отмывали и варили в мундире. Кроме картошки изредка варили чечевичные похлёбки, ещё реже – супы из воблы.

Кое-как перезимовали, а весной пришли несчастья. Вначале получили телеграмму о смерти отца Ольги, потом заболела воспалением почек дочь, и её, распухшую, положили в больницу. В больнице детей кормили перловыми кашами без масла, молоко давали по пятьдесят граммов в день. Для выздоровления дочери требовалось хорошее питание, и Ольга поехала в татарские деревни обменивать на масло и крупы единственную ценность в семье – кобальтовую посуду.

Тогдашние пригородные поезда представляли собой грохочущие, лягающие составы, скопище оборванных людей с мешками и чемоданами. Люди набивались на лавки и в проходы, стояли в тамбурах, на буферах, висели на подножках, лежали на крышах. По вагонам шныряли карманники; на станциях хулиганы кидали на крыши вагонов «кошки» – верёвки с крюками; зацепят мешок – стаскивают; случалось цепляли и людей.

Ольга поехала после работы, и, когда вышла из вагона на станции Бирюли, уже начало смеркаться. Она направилась к ветряной мельнице, махавшей лопастями на бугре, за которым виднелись крытые соломой дома. Впереди Ольги вышагивала рыжеволосая девушка с чемоданом. Поравнявшись, Ольга спросила, куда она идёт. Рыжеволосая насторожилась, насупилась.

– Менять вещи.

– Я тоже. Пошли вместе. Вдвоём веселее.

Пугливо озираясь, девушка осмотрела Ольгу.

– Нет. Я пойду в дальнюю деревню, – и свернула на тропу.

Из первой избы к Ольге вышла полная женщина в ярком платке: заговорила по-татарски, жестами попросила развязать мешок. Подошли другие женщины; одна покачала головой.

– И кому теперь такой тарелка нужно?

Совсем стемнело, и хозяйка пригласила Ольгу к себе, в пропитанную дымом избу, усадила за стол, пододвинула картофелины, горячее

молоко, а когда гостья поела, показала на лавку и протянула лоскутное одеяло.

Ольга проснулась рано утром от солнца – оно светило прямо в глаза; хозяйка разливала чай, смотрела на Ольгу, улыбалась, кивала на стул и тараторила:

– Твой садись, пей чай.

Пока Ольга пила чай, хозяйка достала из погреба шарообразный кусок масла, кулёк гречи и ведро картошки.

От неожиданной удачи всю обратную дорогу Ольга почти бежала. Когда до станции оставалось меньше километра, из-за поворота вынырнул поезд; подкатил к платформе и начал тормозить. Ольга знала, что поезда ходят всего два раза в сутки, и припустилась быстрее; пот заливал её лицо, в горле пересохло, мешок бил по худой спине, болели стёртые ноги... а состав поскрипел тормозами, погромел сцепами и замер. Из вагонов вышли лесорубы с топорами и пилами, обёрнутыми рогожей, спустились с платформы, зашагали навстречу бежавшей Ольге.

– Нажми ещё немного, – крикнули. – Должна успеть.

Но локомотив дал сигнал, пустил пары, бешено на одном месте прокрутил колёса, как бы разминаясь, и тронулся... Спотыкаясь, увязая в гальке, Ольга бежала по насыпи из последних сил, а поезд медленно покидал границы станции. Ольга бежала, а из будки на неё смотрел машинист и не прибавлял скорости. Догнав вагон, Ольга ухватилась за поручень и плюхнулась на подножку; отдышавшись, вползла в тамбур и так и ехала до следующей станции, и ветер обдувал её горячее обмякшее тело.

На остановке вошла в вагон, и следом за ней... контролёр. Идёт с каменным лицом и щёлкает компостером.

– Ваш билет? – буркнул, подходя к Ольге.

Ольга машинально вынула из кармана вчерашний билет. Контролёр поднял глаза. Увидел худую женщину, старое платье, грязное от пота и пыли лицо, запёкшиеся, потрескавшиеся губы, сбитые волосы, вздохнул, пробил билет и отвернулся.

Только перед самым городом Ольга пришла в себя и прислушалась к разговорам:

– Нашли в лесу мёртвую... рыжеволосая, молодая... видно, шла в деревню менять... а в чемодане-то оказались детские игрушки!..

«Господи! – подумала Ольга. – Неужели та девушка?! И какой негодяй посмел?! И за что?!»

Дочь проболела до лета, и всё это время каждый вечер Ольга проводила в больнице, с разрешения врачей работала сиделкой и, как говорила позднее, «ежедневно сражалась с болезнью дочери». Больница была переполнена, дети лежали даже в коридорах; лекарств и перевязочных средств не хватало. Ежедневно умирал то один, то другой ребёнок. Женщины уже не плакали, только крестились:

– Слава богу, отмучился, бедняжка. Избавился от голодной смерти!

Но Ольга твёрдо решила не сдаваться: сходила в военный госпиталь, достала лекарства, уложила в мешок кое-что из своей одежды, снова поехала в деревню за продуктами.

Спустя месяц дочь выписали, но она была слишком слаба – с кровати не вставала, во сне всё время плакала, но главное – у неё резко ухудшилось зрение. Это испугало Ольгу, и, завернув дочь в одеяло, она пошла к врачу, который жил на соседней улице.

Осмотрев дочь, врач сказал:

– Её недолечили. В больницах не хватает мест, и всех выписывают раньше времени. Она сейчас плохо видит, но это пройдёт.

За визит Ольга отдала врачу последние деньги, а по дороге к дому вспомнила доктора Персианинова, который никогда не брал денег у тех, кто находился в бедственном положении.

На окраине города построили казармы, в которых собрали курсантов из военных училищ волжских городов для прохождения ускоренной подготовки. При казармах открыли столовую и на столбах расклеили объявления: «Требуются официантки, поварахи, посудомойки и уборщицы». В столовую приходили женщины из города и близлежащих деревень, приходили и девчонки-подростки, и старухи.

– Я тоже пойду работать в столовую, – сказала Ольга Анатолию. – И сама буду сыта, и домой смогу что-то приносить.

Она уволилась с завода и пришла во временный отдел кадров столовой. За столом сидели два майора; тщательно просмотрев документы Ольги, один из них спросил:

– Сможете ли работать, вы такая хрупкая? Работа будет тяжёлой, придётся ежедневно мыть полы и лестницы, оставаться на ночь, чтобы приводить помещение в порядок.

– Я сильная и работы не боюсь, – твёрдо заявила Ольга.

– Ну хорошо, посмотрим. Действия выразительнее слов. Пока прием вас, а там посмотрим.

На следующий день в шесть часов утра Ольга надела заштопанные юбку с кофтой и направилась в столовую.

Работниц встретил старший лейтенант с нашивкой ранения.

– Моя фамилия Стурлис, – возвестил он пронзительным голосом. – Я буду вашим начальником, иначе говоря, директором столовой. Вы должны беспрекословно подчиняться мне. Завтра мы открываем столовую. Это ответственная работа. Мы будем кормить будущих офицеров, которые в скором времени отправятся на фронт.

Женщины переоделись в халаты, начали мыть полы, окна, столы и лавки. Потом чистили плиту, котлы, чаны, кастрюли – приводили в порядок кухонную утварь. Весь день работали, к вечеру, измученные и голодные, валились с ног от усталости, но продолжали мыть и скоблить. Некоторых тошнило, две девушки упали в обморок. Их и ещё трёх женщин Стурлис отправил домой. Несколько раз он подходил к Ольге и с проникновенной вкрадчивостью спрашивал:

– Не устали?

Мокрые волосы прилипали к щекам Ольги, ручьи пота текли по шее и худым плечам, но она понимала, что лейтенант спрашивал с определённой целью: проверял её выносливость.

– Ещё могу работать.

– Посмотрим, посмотрим, – едко усмехался Стурлис и, заложив руки за спину, размашисто шагал к выходу.

«Утончённый садист», – думала Ольга.

Поздно вечером на кухню вступили повара, Стурлис отобрал нескольких женщин им на подмогу, остальных отправил убирать сосед-

ние помещения. Снова Ольга скоблила, натирала полы... Время от времени Стурлис появлялся в дверях и делал резкие замечания. Когда он уходил, многие женщины усаживались на мокрые доски и отдыхали, а Ольга, стиснув губы, продолжала работать; окна и двери были распахнуты, но ей казалось – в столовой стоит плотная духота.

В полночь работу закончили. Повара принесли миски, в которых оказалось всего несколько ложек супа; работницы ждали второго, но пришёл Стурлис и отчеканил:

– Больше ничего не будет. Надеюсь, утром вы завтракали. Сейчас отправляйтесь по домам, а к семи утра извольте прибыть чистыми, умытыми и в хорошем настроении.

Домой Ольга пришла в два часа ночи и тут же свалилась от усталости.

Утром её разбудил Анатолий, поставил на стол кружку чая, хлеб, две печёные картофелины. Ольга чувствовала себя разбитой: болела голова, ломило руки и ноги; не открывая глаз, поплескала на лицо водой, оделась, позавтракала и, пошатываясь, побрела на работу.

На столах работниц ждал завтрак: каша, хлеб, маленький кусочек масла и кофе с молоком. Женщины набросились на еду, масло прятали для детей и родных. Узнали, что ночью две поварахи объелись и их отправили в больницу.

– Теперь вы понимаете, почему вчера не было второго? – дружелюбно спросил Стурлис.

Через несколько дней Ольга поняла, что Стурлис не столько жестокий, сколько требовательный, и перестала злиться на его хлёсткие замечания; позднее она узнала, что он и к себе беспощаден: написал рапорт, что после ранения поправился и дальнейшее пребывание в тылу рассматривает как дезертирство.

Столовые заполнились курсантами. Совсем юные, красивые, в форме с нашивками и значками, они шумно рассаживались, перекидывались шутками, с работницами были приветливы, доброжелательны. Когда Ольга смотрела на курсантов, ей становилось тревожно и за этих парней, и за своего младшего брата Виктора, который целый год находился на фронте и от которого не было вестей.

Во время раздачи еды Ольга работала официанткой, в перерывах – посудомойкой, вечером – уборщицей; она сильно уставала, но от хорошего питания даже немного поправилась и каждый день приносила домой кусочки масла, хлеб, сахарин.

Некоторые курсанты приходили в столовую до открытия, помогали работницам принимать хлеб у возниц, резать буханки на ломти, разносить подносы по столам. Чаще других появлялся скромный паренёк с грустными тёмными глазами. Он входил бесшумно, с виноватой улыбкой. Его звали Николай. Однажды, когда Ольга закончила работу, Николай подошёл к ней.

– Знаете, Оля, я сегодня назначен патрулём. Пожалуйста, погуляйте вместе со мной.

Ольга и раньше замечала, что Николай к ней равнодушен. И когда она накрывала скатертями столы, и когда разносила еду – он всё время за ней наблюдал. Даже поздно вечером, уходя из столовой, Ольга чувствовала на себе его взгляд. С одной стороны, ей было приятно, что из многих молодых женщин Николай обратил внимание именно на неё, с другой – это её пугало. Ольге казалось, что в такие минуты между ней и Николаем возникают какие-то невидимые нити; она опускала голову, убыстряла шаг. По ночам ей снилось, что эти нити уже многие видят и даже судачат о чём-то более серьёзном, связывающем её с Николаем. Ольга оправдывалась, защищалась, а проснувшись, злилась на свои выдумки.

Она слишком любила Анатолия и была ему безоглядно преданна (хозяйка Евгения Петровна за преданность называла её «собакой»), остальные мужчины для неё просто не существовали, она смотрела на них как на сослуживцев, знакомых и приятелей мужа, и все они были для неё чужими, посторонними, а Толя своим, родным. «Но как это объяснить застенчивому пареньку? – подумала Ольга, когда он предложил ей прогуляться. – Конечно, через несколько дней он уйдёт на фронт, и нехорошо обижать его отказом, к тому же нет ничего страшного в том, что они погуляют пять минут». Рассуждая об этом, Ольга и не заметила, как пошла рядом с Николаем; она спохватилась, когда они пересекли улицу, и сразу вздрогнула, ей показалось, что в эту ми-

нугу Анатолий почувствовал её предательство. Ей захотелось побежать домой, но Николай рассказывал о себе, и Ольга не решилась оборвать его на полуслове. Она слушала рассеянно, то и дело оборачивалась: боялась, что их увидят знакомые.

Он рассказал ей всю свою девятнадцатилетнюю жизнь: зелёный город Саратов, дом на берегу Волги, яблоневоый сад, отец на фронте, живёт с матерью, два года в училище... Они прошли почти до центра города, и Николай остановился.

– Вообще-то дальше мне нельзя. Черта. Зона патрулирования кончается. А, ладно. Провожу вас.

– Нет, нет. Возвращайтесь. И мне пора...

Что-то вроде жалости к влюблённому парню сковало Ольгу, и у неё не повернулся язык сказать о муже. На другой день она узнала, что Николая посадили на гауптвахту; она догадалась, что это случилось из-за неё, и подошла к полуподвалу, около которого вышагивал часовой.

– Николай здесь? – спросила у часового.

– Здесь, но подходить нельзя, – часовой подмигнул, и Ольга поняла, что он всё знает.

Покраснев, она хотела отойти, но услышала, что кто-то барабанит по стеклу, и, обернувшись, увидела в окне Николая – он махал ей рукой и улыбался. Часовой тактично отошёл в сторону, и Ольга, наклонившись, спросила:

– За что вы здесь?

– За вас.

– Потому что перешли ту черту?

– Ага. Но это ничего... Вот только... вас видеть хочется.

А на другой день Николай сообщил, что их отправляют на передовую. Он сбегал в казарму и принёс открытку с видом Саратова и адресом матери.

– Это вам, Оля... Я не успел вам сказать... Очень прошу вас, ждите меня... Вы будете ждать, Оля?

Ольга только опустила голову.

...Прощальный парад состоялся на центральной площади города. Под духовой оркестр маршировали вчерашние курсанты в новеньких

гимнастёрках, в начищенных сапогах; красивые, юные, они отправлялись на фронт. Ольга стояла среди провожающих и махала рукой. Поравнявшись с ней, Николай улыбнулся и что-то проговорил одними губами. Ольга не поняла что – то ли «ждите меня», то ли «люблю тебя».

Из столовой Ольга приходила в одиннадцать вечера, а то и за полночь, ставила на стол банку какого-нибудь рассольника и тут же укладывалась спать. Анатолию приходилось после работы стоять в очередях, готовить ужин да ещё чертить за доской – выполнять срочный заказ. В конце концов решили, что Ольге лучше подыскать другое место.

Уволившись из столовой, она несколько дней обивала пороги разных учреждений; кто-то посоветовал сходить на хлебозавод.

– Туда не возьмут, – безнадежно махнул рукой Анатолий. – Наши мужчины там нанимаются грузчиками в ночную смену, но берут только двух-трёх. Работа там тяжёлая, а чуть ошибся – выгоняют. За воротами всегда толпа желающих.

Но Ольга настойчиво заявила:

– Я буду сыта, и моя хлебная карточка останется в семье.

На следующее утро почти босиком – туфли развалились и хозяйка дала драные тапочки – Ольга пришла на хлебозавод и вошла в проходную, где мужчины ожидали подённой работы.

– Знаете что?! Мне нужно в отдел кадров, – сказала охраннику. Сказала так убедительно, что охранник показал на дверь.

В отделе кадров сидели две женщины.

– Кто вас пропустил? – спросила старшая. – Нам никто не требуется. Весь штат укомплектован... Постоянных-то не знаем, куда ставить.

– Ваш завод – единственная моя надежда, – сказала Ольга. – Я согласна работать кем угодно, на любых условиях.

Женщины посмотрели на старое платье, на тапочки...

– Сейчас пойдём в цех, – вышла из-за стола старшая. – Если сдвинешь вагонетку с хлебом, возьмём разнорабочей.

– Я обязательно сдвину, – просияла Ольга.

В огромном цехе было жарко и пахло свежеиспечённым хлебом; повсюду стояли вагонетки, набитые буханками хлеба, от которых шёл пар. В горле у Ольги запершило, на глазах появились слёзы.

– Вот тебе хлеб, отойди в сторонку, поешь, потом будешь двигать, – женщина протянула Ольге полбуханки.

Ольга стала есть горячий мякиш и вдруг простодушно спросила:

– А можно половину спрятать? Я хочу отнести детям.

– Выносить хлеб нельзя. За это отдают под суд! – женщина кивнула на вагонетку, стоящую около печи. – Откати её в угол.

Ольга ухватила за поручень и напряглась изо всех сил, но вагонетка не сдвинулась. Ольга упёрлась ногами в пол, навалилась на вагонетку всем телом, но та даже не качнулась. Подошли рабочие, заулыбались, женщина тоже улыбнулась, встала рядом с Ольгой, толкнула поручень, и вагонетка покатила.

– Ну ладно, молодец. Старание налицо. Пойдём, оформлю тебя разнорабочей в сухарный цех. Завтра выходи на работу.

– Всё-таки ты, Олечка, удивительно счастливая, – сказал вечером Анатолий. – Ты как-то действуешь на людей, тебе никто не может отказать.

– Да никак я не действую, – рассмеялась Ольга. – Просто я энергичная.

– Да, действительно, ты не динамо-машина, ты шаровая молния.

Утром Ольге выдали рабочую карточку – шестьсот граммов хлеба в день.

– Целое состояние! – воскликнула Ольга дома. – И всё это для семьи, а в цехе я буду есть сколько влезет.

Через неделю Ольга заметно поправилась и возила вагонетки без особых усилий. Но работа была и опасной. Как-то Ольга везла хлебные формы, и вдруг сбоку вынырнула виляющая из стороны в сторону вагонетка – на её подножке стоял рабочий и спал, вцепившись в железный каркас. Ольга вскрикнула, застыв на месте, но в ту же секунду рабочий-электрик дёрнул её за руку, Ольга плюхнулась на пол, а вагонетки с грохотом врезались друг в друга.

Ольга работала усердно, к тому же она была одной из самых грамотных женщин на заводе, и вскоре её перевели в учётицы. Теперь кроме учёта продукции в её обязанности входило набирать людей для ночной погрузки и подвозки хлеба... Когда Ольга выходила за ворота,

её окружала толпа небритых, усталых мужчин, отработавших смену на других предприятиях. Требовалось десять человек, а тянули руки две сотни, и каждый протискивался поближе к Ольге. Первыми она брала самых истощённых, записывала их в тетрадь, а остальных просила прийти на следующий день. Таким образом, в конце концов каждый побывал в цеху.

...Осенью сорок второго года всё было затянато дождевой сеткой. Временами переставало лить, но воздух оставался пузырястым, и водяная пыль проникала даже в дома. В ту осень получили известие о гибели друзей Анатолия – Ивана и Михаила; об этом сообщила сестра Ксения. Анатолий был на работе, когда принесли письмо. Ольга хотела подготовить мужа к известию: вначале сказать, что Иван и Михаил ранены, а уж потом показать письмо, но у неё ничего не получилось: она не умела играть, прятаться за спасительную ложь – и сбивчиво выпалила ужасную правду.

Потрясённый Анатолий долго не мог прийти в себя; он осунулся, ссутулился, с работы возвращался поздно, выпивши; усаживался на кухне в углу, поминутно снимал очки, тёр глаза, говорил Ольге, что ему стыдно – его друзья погибли, а он отсиживается в тылу. Втайне от жены он снова ходил в военкомат, просился на фронт, но его не отпускали с оборонного завода, да и зрение подводило.

Гибель друзей для Анатолия стала вторым, после смерти родных, страшным ударом, от которого он так и не смог полностью оправиться. Стоило ему хотя бы ненадолго остаться наедине с самим собой, как в него, и без того слабавольного, вселялись бессилие и хандра.

– Я всех потерял, – бормотал он, – у меня осталась только Ольга и дети.

С каждым годом его всё сильнее охватывали неуверенность и малодушие. В семейной драме и в гибели друзей он видел предначертание судьбы, определённый рок. Только постоянная поддержка, самоотверженность и преданность жизнестойкой жены выводили его из состояния подавленности.

Через год часть работников завода переселили в общежитие Казанского университета на окраине, в четырёхэтажное строение из жухлого

кирпича со сгнившими водостоками. Рядом в овраге пролежала железно-дорожная колея, с одной стороны уходившая в тоннель, с другой – упирившаяся в стрелку станции Аметьево. Перед общежитием склоны оврага связывал деревянный мост.

Анатолию с Ольгой достались на втором этаже две крохотные комнаты, переделанные из туалета; в них был холодный, выложенный плиткой пол, между стеной и расшатанной дверью зияла щель, которую приходилось занавешивать. Несколько дней из досок и ящиков Анатолий сколачивал стол, табуретки и козлы под матрацы. Он не признавал работу на скорую руку и всё делал неторопливо, основательно, с поразительной тщательностью.

– К вещам, сделанным своими руками, и отношение особое, – говорил.

– Отличная мебель, – сказала Ольга, поглаживая самоделки мужа. – Прямо стиль «Людовик», – она ещё пыталась шутить, взбодрить своё сникшее семейство.

Через общежитие тянулся сумрачный коридор, по обеим сторонам которого были комнаты с пыльными лампочками; заканчивался коридор умывальной и кухней с железными печурками-буржуйками; единственный туалет находился на третьем этаже. Электричество давали только на два часа, и вечером сидели при коптилках. То и дело в общежитии появлялись клопы, и тогда мебель ошпаривали кипятком. А однажды обнаружили вши, и, поскольку мыло выдавали редко, вместо него использовали глину с золой, но эта смесь была малоэффективна, и многим женщинам пришлось остричь косы.

Вечерами по коридору стелился едкий дым – на печурках готовили скудную еду, сушили обувь, кипятили баки с бельём, плавил стearин и лепили из него свечи. После ужина все снова собирались на кухне, слушали по радио последние известия. Кухня была неким клубом, где каждый мог высказаться, найти понимание, поддержку – и в первую очередь у Ольги. Как и всюду, в общежитии неутомимая Ольга была главным действующим лицом; она объединяла самых разных людей, примиряла самых непримиримых противников. Несколько минут, проведённые с ней, поднимали настроение на целый

день. Все в один голос называли её «сердечной, отзывчивой, душевной».

Общежитие почти не отапливали; крайне редко в батареях слышалось бульканье и в комнатах становилось теплее; тогда грелись у радиаторов, сушили на них сухари из чёрного хлеба; в такие дни Ольга в кругу семьи непременно восклицала:

– Давайте-ка вот что! Постелим матрацы у батареи и выспимся на полу по-царски. А перед сном тихонько споём прекрасные русские песни, – и она вполголоса затягивала «Степь да степь кругом...», затем «В низенькой светёлке огонёк горит...».

Комнату рядом с кухней занимала Тоня Бровкина, которая до войны жила на Правде. Её муж был на фронте, а она, имея двоих малолетних сыновей, работала в литейном цехе. «Фигуристая», с каштановыми волосами, Тоня, после увольнения Ольги, считалась «первой красоткой» на заводе; мужчины засматривались на неё, но она не замечала их – была полностью поглощена заботой о детях и беспокойством за мужа. Однажды один молодой литейщик попытался её обнять – то, что за этим последовало, позднее пересказывали как невероятный случай: Тоня так вспыхнула, с такой яростью оттолкнула парня и стала наносить ему пощёчины, что рабочие подумали, она сошла с ума. Её еле оттащили от обалдевшего несчастного литейщика.

Рядом с Тоней жила ещё одна работница завода – Катя Синькова. У Кати была обычная внешность, но звали её «шикарная женщина», потому что она носила модное крепдешинное платье и всегда резко пахла духами. Как и Тоня, Катя была женой фронтовика, но вела себя вызывающе; к ней наведывался комендант общежития, всемогущий Маркович, здоровенный, с двойным подбородком мужчина, который каким-то образом избежал мобилизации. Женщины в общежитии звали его «тыловой крысой», а мужчины – «упитанным от сытной жизни» и «маленькой сошкой с большими амбициями». Появляясь в общежитии, Маркович быстро, «для порядка» обходил умывальни и кухни, потом надолго исчезал в Катиной комнате, причём всегда входил со свёртком впечатляющих размеров, а уходил без него – женщины шушукались, что «крыса приносит Катьке крупы и сало».

– Война войной, а молодость проходит, – цинично, без всякого смущения говорила Катя на кухне. – Я вообще в любовь не верю. Жизнь-то проще. У нас с муженьком и не было никакой любви. Так... сожительствовали... Он там небось уже какую кралю завёл, связисточку или сестричку милосердия. У них ведь там не только бои, есть и передых.

– И как она может так рассуждать, – возмущалась Ольга. – Она в любовь не верит. Во что же тогда верить?!

– Катька просто дура! – резко говорила Тоня. – У неё ни стыда ни совести нет. Всё строит из себя кого-то. Считает, что у нас всё бабье, а у неё бабочка. Тоже мне целлулоидная красotka!

С наступлением зимы, после «специального разрешения» коменданта, буржуйки из кухни перенесли в комнаты, а трубы выставили в форточки, и общежитие окутала дымовая завеса. Для печурок по всей окрестности собирали щепки, ветки; на поиски топлива отправлялись целыми семьями, и случалось, некоторым везло – находили куски торфа и угля. Готовили на печурках баланды из всего, что можно было достать, – «супы-фантазии», как их называла Ольга.

На продуктовые карточки выдавали хлеб и перловку; суточная норма была ничтожно мала, и все обитатели общежития, кроме Кати, сильно похудели. Но то суровое время спланивало людей; в общежитии жили по-родственному, всем делились друг с другом: обувью, одеждой, варёной картошкой, сухарями, и что особенно дорого и примечательно – радовались, что могут поделиться.

В свободные от работы вечера женщины собирались у Ольги, «коротали время за чаем у огонька» – совсем как когда-то на Правде. Каждая женщина приносила полено или обрезок доски – поддерживать огонь в печурке. Чай заваривали горелой коркой хлеба и растворяли в нём сахарин.

– Мы, девчата, всё выдержим, – говорила Ольга. – Конечно, кое-кто и сейчас живёт неплохо. Некоторые пользуются бедственным положением людей, за бесценок скупают одежду, вещи. Ну да ничего, после войны разберёмся с этими зажиточными... Представляете, у нас на хлебозаводе у одной женщины живёт кот. Так он таскает колбасу у зажиточных соседей и приносит хозяйке, – Ольга пыталась шутить,

прекрасно понимая, что шутки снимают напряжение, отвлекают от мрачных мыслей.

– Мы всё выдержим, – уверенно повторяла она. – Ведь мы, русские женщины, двужильные...

Анатолий с работы шёл медленно, устало, по дороге отыскивал в снегу обледенелые палки для буржуйки. Входил в комнату, протирал запотевшие очки, снимал старое демисезонное пальто, калоши, пиджак с тонко очиненными карандашами в верхнем кармане и дюралевыми обрезками в боковых. Обрезки собирал на заводской свалке – из них они с сыном делали электроплитки. После ужина сын крутил дрель с зажатым в головке железным прутком, Анатолий направлял проволоку – делал спираль. Потом Анатолий нарезал из дюрала полосы, загибал их на болванке, сын сверлил дырки. Все части склёпывали – получался каркас плитки. В воскресенье приходили на барахолку, покупали изоляторы, прилаживали их к каркасу и готовое изделие отдавали спекулянтам. За неделю делали две плитки.

Сам Анатолий никогда не занялся бы подобным приработком – настояла Ольга. Предприимчивая, волевая, она сшила на руках одеяло из лоскутов и продала его на барахолке. Там же, на барахолке, она и узнала о ходовых товарах и способах их изготовления.

Вскоре на вырученные от продажи плиток деньги Анатолий с Ольгой купили на толкучке швейную машинку, собранную неизвестно из чего, – она напоминала модель паровоза с вывернутыми наружу внутренностями. Но уж очень понравился Анатолию её владелец. Среди колготящейся толпы он спокойно стоял, прислонившись к забору в промасленном комбинезоне, с ящиком инструмента через плечо. Стоял и смолил козью ножку, рядом красовался продаваемый агрегат.

– Вы не смотрите, из чего она сделана, – хриловато сказал мужчина. – Работать будет, как вечный двигатель. Я вообще-то механик. Эту штуковину сделал жене, да вот она померла нынче.

И машинка действительно работала пятнадцать лет безотказно, после чего Ольге купили другую, которая выполняла множество операций, но старую верную помощницу она помнила всегда. Ольга по-

дарила её Тоне Бровкиной, и новой хозяйке машинка прослужила без поломок много лет.

Ольга начала шить платья для продажи. Ещё в юности от матери она переняла основы швейного ремесла и теперь быстро стала отличной портнихой. Ей помогали дети: дочь обмётывала швы, сын бегал на кухню – набивал уют углями. По воскресеньям Ольга ходила на толкучку. Вначале, будучи неопытным продавцом, она часто отдавала платья дешевле, чем они обходились, но потом научилась торговаться, расхваливала свои вещи.

Семейное предпринимательство принесло ощутимый доход: стали вылезать из долгов, лучше питаться, даже отправили посылку родным в Москву с патокой-мальтозой и лярдом, а спустя некоторое время на барахолке купили поношенные валенки, которые время от времени Анатолий подшивал кожей.

– В те годы все заводчане подрабатывали, – вспоминала Ольга. – Бухаровы (тоже правдинские) всей семьёй шили стёганные ватные одеяла. Чистовский с сыновьями делал буржуйки, а сразу после войны собирал радиоприёмники. Его старший сын учился в техникуме связи и однажды нелепо пошутил: залез под кровать, дождался, когда мать войдёт в комнату, и по самодельному радиоприёмнику сообщил, будто на их облигации пал крупный выигрыш. С его матерью стало плохо...

Ольга устроила детей в школу, которая находилась недалеко от общежития и представляла собой большую избу с двумя русскими печками (в настоящей школе располагался госпиталь). Ребята занимались в две смены, вечерами при коптилках писали на обёрточной бумаге, один учебник выдавался на троих. Ольга понимала, что в начальных классах дети особенно восприимчивы, и старалась расширить их образование: придумывала задачки и рассказы, в которых предоставляла детям возможность самим изменять концовки. Точно прирождённый педагог, она стремилась развить воображение детей, научить их самостоятельно мыслить. Эти домашние уроки детям нравились больше, чем занятия в школе, и впоследствии принесли им неоценимую пользу.

Часто, собрав всех детей общежития, Ольга устраивала спектакли: ставила «Золотой ключик», «Хижину дяди Тома». Из обрезков фанеры с детьми сколачивала декорации, разрисовывала их акварелью, делала костюмы из разного тряпья, гримировала «актёров» помадой и сажой, осуществляла общую режиссуру. Дети с величайшей серьёзностью выслушивали всё, что она говорила, все её наставления, и старательно выучивали роли – репетиции для них были праздником. А само представление давали на кухне; зрителей набивался полный коридор, приходили даже жильцы из соседних домов.

– Делать Ольге нечего, – ворчали одни.

– Неугомонная чудачка! Ребячество! – усмехались другие.

Но большинство по достоинству ценили её «стихийное искусство», талантливость в общении с детьми.

Весной сорок третьего года в общежитие пришла первая похоронка. На имя Бровкиной. В безумном отчаянии Тоня металась по комнате и выла, а стихнув, впадала в глубокую апатию ко всему происходящему. За несколько дней Тоня постарела: её красивые глаза потухли, а роскошные каштановые волосы поседели и стали выпадать.

– Как жестоко устроен мир, – жаловалась она Ольге. – Вот так мгновенно может всё оборваться... Силы покинули меня, Олька. Не могу ходить на работу, общаться с людьми. Одно желание – забиться в свою нору и никого не видеть.

– Крепись, Антонина, – Ольга обнимала подругу. – Не забывай – ты нужна детям. Я уверена: ты возьмёшь себя в руки, не раскиснешь, не распустишься. Ты сильная.

...Позднее годы, прожитые в общежитии, Ольга вспоминала как что-то тусклое, безрадостное: полутёмные комнаты, буржуйки, холодный пол, свист ветра за окном, хлопающие двери и тени, прыгающие на стенах от пламени печурок. Эти тени, точно призраки нищеты и голода, ещё долго преследовали Ольгу. И всё, что происходило в общежитии, она никак не могла выстроить в последовательную цепь – только и остались в памяти два-три события, но и те еле различимые... Но что Ольга запомнила, так это свои «спектакли» и хоровое пение, когда она, накормив детей и мужа ужином «чем бог послал», предлагала что-ни-

будь спеть; когда всей семьёй усаживались вокруг буржуйки и вполголоса пели довоенные песни.

—...Эти песни несли душевный свет, они помогали нам не падать духом, — говорила впоследствии Ольга. — Они и теперь омолаживают таких, как я, возвращают нас в юность. И эти замечательные песни никогда не устареют, потому что они несут добро, потому что люди всегда будут ценить настоящую дружбу, порядочность, любовь. Я всегда, когда мне особенно тяжело, запеваю песню. Как Карузо. Он говорил: «Все неудачи в жизни, все самые тяжёлые минуты я встречаю только песней. И чем больше неудач, тем звонче моя песня». Именно с военного времени я знаю, как бороться за выживание. Я вывела для себя рецепт: когда неприятности наваливаются кучей, чтобы не впасть в отчаяние, надо вспомнить что-нибудь хорошее или спеть весёлую песню.

...Известия с фронта становились менее тревожными, в войне наступил перелом — уже освободили несколько городов, и Ольга всё чаще подумывала о возвращении в Москву, тем более что ждала третьего ребёнка.

— Уж терпеть лишения — так на родине, а не в захолустье, — говорила она Анатолию. — У матери мне будет намного легче... Война скоро кончится, ты уволишься с завода и приедешь тоже.

— Выкинь ты, Олечка, эти мысли из головы, — хмурился Анатолий. — Бесплезная затея. Сейчас Москва — закрытая зона, попасть в неё невозможно.

Но Ольга была не из тех, кто отказывается от своих планов. Осенью взяла расчет на хлебозаводе и однажды, когда Анатолий вернулся с работы, сказала:

— Проводи меня с детьми на станцию и помоги сесть в поезд.

Анатолий лишь тяжело вздохнул.

Билеты на московский поезд Ольге не продали — требовалось специальное разрешение, но на перроне стоял воинский эшелон; в ожидании отправки солдаты покуривали у вагонов-теплушек. Ольга подошла, окликнула одного солдата.

— Очень вас прошу, возьмите меня с детьми хотя бы до следующей станции.

– В вагон никого брать нельзя. Да и на каждой станции делает обход начальник поезда. Зайцев сдаёт в комендатуру.

– Но ведь я только до следующей станции... Возьмите.

Солдат посоветовался с кем-то в вагоне.

– Ладно, забирайтесь.

Анатолий поцеловал жену и детей.

– Береги себя, Олечка. И детей береги. Если на первой станции высадят, поезжайте назад на пригородном.

Ольга с детьми залезла на нары, солдаты прикрыли их шинелью. Когда состав тронулся, Ольга вылезла из укрытия.

– А вообще-то куда собираешься, милая?

– В Москву.

– У-у! – загудели солдаты.

Вагон трясся, раскачивался, стучали колёса на стыках рельсов – Ольга рассказывала солдатам о себе, о Москве, говорила о том, что с родными ей будет легче пережить войну. Солдаты повторили, что на станциях ходит начальник поезда и патрули и посторонних немедленно ссаживают, но Ольга с такой мольбой просила оставить её в поезде, что солдаты сжалились. На остановках детей укладывали под лавку и заставляли вещмешками, на Ольгу накидывали шинель с поднятым воротником, нахлобучивали пилотку и усаживали вместе со всеми в полукруг за ящиком – делали вид, что играют в карты. Начальник поезда забирался в теплушку, высвечивал фонарём закутки.

– Всё в порядке, товарищ начальник! – весело кричали солдаты и хлётко лупили картами.

Солдаты делились с Ольгой и детьми пайками, на ночь для «зайцев» стелили шинели поближе к печурке... Днём в приоткрытую дверь вагона влетали клубы паровозного дыма, хлопья гари, дождевые капли. Назад убегали унылые леса, размытые просёлочные дороги, чёрные от дождей деревни и полустанки.

В Раменском солдаты посоветовали Ольге пересесть в электричку, а с окраины добираться трамваями. На электричке Ольга с детьми доехала до Москвы-Товарной, но и там стоял кордон патрулей. У Ольги потребовали пропуск.

– Я к матери. Ездила за город к тётке.

Она назвала адрес матери, и её пропустили.

Когда сели в трамвай, дочь снова полезла под лавку. Ольга улыбнулась, вытащила девчущку, прижала к себе и с горечью подумала: «Эта война не только взрослых, но и детей изуродовала, вселила в них страх».

Когда мать открыла дверь, с ней стало плохо.

– Ой, Оленька, ты ли?! А дети-то – прям скелетики!

...Мать работала истопником.

– Сижу себе в подвале, кидаю в топку уголь, штопаю носки на лампе да пою, – говорила она Ольге, когда они поужинали и уложили детей. – Но сейчас уже несколько месяцев угля нет. Просто посменно дежурю... сижу и думаю о Вите. Так и не получила от него ни одной весточки. Говорят, пропадают без вести, а я не верю... Ну а как вы-то там жили?

Всю ночь они проговорили на кухне, растапливая плиту последним паркетом, вынутым из пола.

– Зря приехала, – сказал Ольге утром старший брат Алексей. – Здесь тебя не пропишут, да и Анатолия одного оставила. Такого человека! Дурёха! Тебе за него обеими руками держаться надо, а ты его там бросила.

Алексея освободили от мобилизации как контуженного в финской кампании. Он по-прежнему служил на телефонном узле и каждый вечер «буйствовал»: напившись, рвал продовольственные карточки – «проклятые бумажки», усаживался на кухне с гитарой, брал прежние прекрасные аккорды, пел какой-нибудь куплет, отплясывал чечётку, играл всё громче, пел на всю квартиру. Его пыталась остановить жена Лариса – то уговорами, то угрозами; сбегались соседи с лестничной клетки. Алексей медленно поднимал глаза, зловеще осматривал собравшихся и гремел:

– А ну всё к чертям собачьим! – и продолжал плясать.

Заканчивалось его буйство тем, что, обливаясь потом, он валился на пол, хватался за сердце и хрипел, вдрызг разбитый и опустошённый...

А по ночам во сне он кричал. Это был страшный крик. Вначале слышались только стоны и скрежет зубов, потом раздавался низкий протяжный вой – он нарастал, переходил в сиплый вопль, и внезапно ночную тишину разрывал неистовый долгий крик. От этого крика шатались люстры, падала посуда в шкафах; весь дом приходил в движение: люди испуганно вскакивали с постелей и в панике выбегали на лестницу. Пытаясь разбудить мужа, Лариса толкала его и била, стаскивала с кровати, но он продолжал кричать и на полу; кричал и дёргался, точно раненый зверь.

По утрам, отдуваясь и сопя, Алексей просил прощения у жены, извинялся перед соседями, склеивал разорванные карточки и на работу являлся в более-менее пристойном виде, но уже к концу рабочего дня становился раздражённым, взвинченным – то его мучила контузия, то он злился на «буквоедов» в военкомате, не пускавших его на фронт, то переживал за младшего брата, от которого по-прежнему не было вестей. На людях он ещё держался, но среди родных расходился. Особенно доставалось жене, она расплачивалась за его «загубленную жизнь». На нервной почве у Ларисы ухудшилось зрение.

Ольга недолюбливала брата за его необузданный нрав, агрессивность, хотя и понимала, что он тоже жертва войны, по-своему погибший человек, сгорающий изнутри.

Сестра Ксения находилась на трудовом фронте, а её муж после ранения лежал в госпитале.

– У него пустячная рана, – сообщила Ольге мать. – Говорят, сам пальнул себе в ногу, чтоб увезли с передовой. Но люди много чего болтают. Говорят, он в госпитале спутался с какой-то санитаркой... Но Ксюша всё равно его навещала. Она ведь добрая. Мне подарила шерстяной платок, а Лёшкиной Люське отдала свою посуду... Ксюша теперь красивая, статная, ты её и не узнаешь. А ведь помнишь, она с девичества была дурнушкой. Говорили, лицом не вышла. Но вот всё время делает добро, и Бог её вознаградил, она стала красивой. Сейчас на Ксюшу все засматриваются... Там, на трудовом фронте, они шпалы под рельсы кладут. А раньше окопы копали вокруг Москвы. Она рассказывала: стояли в воде – змеи плавали и ползали, целые клубки... А вот Анютка

совсем меня забыла. Как уехала в эвакуацию в Омск, так ни одной весточки и не прислала... Неужто трудно написать матери? Ну да Бог её простит!.. А вот от Вити почему нет вестей, никак не пойму. Не мог он мне не написать.

Ольга успокаивала мать, но самой ей было тревожно. Уже около трёх лет младший брат находился на фронте, и чтоб не написать ни одного письма!.. Ольга ходила в военкомат и даже в Министерство обороны, но ничего толком не выяснила; единственно, что ей сообщили, – воинская часть брата была в окружении.

В Москве по Садовому кольцу вели пленных немцев. Они брели медленно, грязные, оборванные, совсем не похожие на тех, которых изображали на плакатах. У Крымского моста стоял зенитный расчёт и висели воздушные заграждения; ежедневно по квартирам ходил домоуправ, смотрел, нет ли бреши в маскировке окон, заклеены ли стёкла на случай бомбёжки. К магазинам тянулись длинные очереди – по карточкам выдавали суфле и пивные дрожжи, а однажды дали продукты из Америки: сгущённое молоко, яичный порошок и тушёное мясо в жестяных коробках с приваренными ключами-открывалками. Первый раз за всю войну Ольга с детьми попробовала белого хлеба и мяса; но выпадали дни, когда питались одним «кулешом» – кашей из чёрного хлеба, запивая её кипятком с сахарином.

Москва была полна слухов; по одному из них – в яичный порошок вредители подсыпают битое стекло, а пирожки, которые продают на площадях, делают из собак и кошек, и даже из покойников; по другому слуху, город наводнили «попрыгунчики» – воры с пружинами на подошвах; будто бы эти воры перепрыгивают через заборы и даже грузовики. Каждый вечер мать рассказывала Ольге о трагических происшествиях: то про женщину из отряда ПВО, которая не успела отцепиться от аэростата-колбасы и улетела в небо, то про шпиона, который намеревался затопить метро водами Москвы-реки.

Целый месяц Ольга ходила по милицейским управлениям, пока не добилась разрешения на прописку.

– Ты такая счастливая, – удивились родные. – Тебе так во всём везёт. Надо же, прописаться в военное время!

– Знаете что?! – мгновенно сказала Ольга. – Везение сопутствует упорным, отважным, а не сваливается с неба! Когда плохо, нужно не ныть, а добиваться своего. А неприятности всегда можно так сгустить, что и жить не захочется.

Спали на кухонной плите, благо пупынинская плита имела внушительные размеры – во всю стену; стелили телогрейки на горячее железо и укладывались; уместались все: Ольгина мать, если не работала, Ольга, Лариса и четверо детей. Алексей спал в комнате. Однажды ночью завывала сирена воздушной тревоги, все вскочили и с одеялами побежали в станцию метро «Парк культуры». На платформе, прямо на полу, вповалку досыпали. Мать в метро не пошла:

– Мне всё равно, где умирать, днём раньше, днём позже. Мне уже давно к отцу пора, царство ему небесное!

У Ольги родился сын. Теперь целыми днями она занималась ребёнком; из дома выходила только в магазины и донорский пункт, где за продуктовую карточку кормила молоком сирот (позднее, опять же за продуктовую карточку, несколько раз сдавала кровь). Как только новорождённый засыпал, Ольга готовила к школе старших детей. В то тяжёлое время она не забывала давать детям «уроки прекрасного»: по вечерам читала им книги, учила писать и считать на грифельной доске, на последние деньги покупала цветные карандаши, альбомы для раскрашивания, настольные игры и два раза доставала билеты в детский театр.

Однажды во дворе Ольга встретила Михаила, друга детства и юности; он был в военной форме. Михаил обнял Ольгу.

– Бедная моя подружка! Держись, Олька, и помни – ты ещё будешь на высоте. Надо только пережить всё это... А я работаю в НКВД. Прямо из армии призвали. Помнишь, в детстве я всё хотел ловить подонков? Вот и осуществилась мечта. Ловлю рецидивистов и спекулянтов и этим искусством владею как надо, имею награду. Ведь для кого война, а для них нажива. Распоясались! Ходят разъевшиеся, с сытым брюхом. Но я всех пересажаю, так и знай!

Михаил сообщил Ольге, что в первый год войны погиб «скромник» Володя, а «дылда» Борис пропал без вести. Позднее Ольга узнала, что

и красавца Сергея убили в Берлине из-за угла уже после капитуляции. О них и о друзьях Анатолия – Иване и Михаиле – Ольга всегда вспоминала как-то по-особенному, с щемящей грустью.

– ...Как обидно, несправедливо, что они ушли из жизни совсем мальчишками, – говорила она. – Недоучившись, недолюбив, не узнав семейного счастья. Мать говорила, им сполна воздастся на том свете, но я сомневаюсь в этом. Если у многих так обрывается жизнь и они не успели испытать счастья, думаю, что Бога нет!

С Анатолием Ольга постоянно переписывалась, но всё равно сильно скучала по нему. Издалека её непрактичный муж казался совсем беспомощным. Она представляла, как он там, в Казани, много работает, спит урывками и ест кое-как, а по вечерам много курит в тягостном одиночестве. Ольга видела усталое, небритое лицо мужа, и смутная тревога охватывала её. Она вспоминала, как по утрам он всегда говорил ей «доброе утро, Олечка», а перед сном целовал её в щеку и желал спокойной ночи. «Какой он нежный, заботливый, – думала Ольга. – И ни разу не повысил на меня голос, не то что брат Алексей». Временами от этих нахлынувших воспоминаний Ольгу начинала мучить бессонница, а если она и засыпала, то слышала голос мужа, чувствовала прикосновение его рук. Она вскакивала с постели и была готова тут же ехать в Казань, но, увидев спящих детей, брала себя в руки. «Война скоро кончится, – говорила самой себе, – Толя приедет, и мы снова будем вместе».

Но Ольгина мать считала иначе: чуть ли не ежедневно она уговаривала дочь вернуться к мужу.

– Где муж, там должна быть и жена, – бурчала.

Она говорила это из лучших побуждений, побаиваясь, как бы Анатолий не разлюбил её дочь и не оставил одну с детьми.

– О чём ты говоришь?! Мы с Толей как две половинки ореха, – усмехалась Ольга, цитируя мужа. – Я даже не хочу говорить на эту тему.

Подобные разговоры Ольга считала оскорбительными для себя – была беспредельно уверена в своём муже.

К Новому году Анатолий прислал посылку с плитками шоколада и письмо с цветными рисунками для детей. Ольга достала ёлку, наря-

дила её самодельными игрушками из ваты и бумаги; утром под подушками детей ждали конфеты, а у кровати – тряпичный слон.

– Слоны приносят счастье, – сказала Ольга, поздравляя детей. – Я уверена: вы будете счастливыми.

...В середине зимы из госпиталя вернулся Фёдор, муж Ксении. Он всегда был здоровяком, а теперь весь высох. Когда домашние пытались с ним заговорить, он хрипло выдавливал из себя пару слов и спешно уходил в свою комнату. Только с Ольгой становился более-менее разговорчивым, но и то ненадолго – ссылался на головную боль:

– ...Давай в следующий раз побалакаем.

Фёдор вновь пошёл работать в метрополитен, а по вечерам грузил буханки хлеба на хлебозаводе. В дни, когда в доме не было еды, он приходил с хлебозавода облепленный под рубашкой мякишем; приходил ночью, и, пока расстёгивал рубашку, на него набрасывались голодные дети Ольги и Ларисы и отщипывали ещё горячий хлеб от потного тела.

– Пойдите, дайте раздеться, стручки, – хрипло бормотал Фёдор. – И тише. Если кто узнает, что выношу продукцию, посадят меня.

До войны Фёдор был замкнутым, угрюмым, но, общаясь с детьми, преображался, становился весельчаком-шутником. Ольга вспомнила, как он приезжал на Правду и играл с её детьми; они его дразнили:

– Дядя Федя съел медведя, хотел гуся, да сказал «боюся»!

А он надувался, рычал – пугал детей, изображая ненасытного обжору. Дети бросались наутёк, а он хлопал в ладони и топал – делал вид, что вот-вот их догонит.

– Эх, стручки! – смеялся. – Сейчас догоню и съем!

Ольга вспоминала, как перед эвакуацией Фёдор сказал ей:

– Ты, свояченица, смекалистая и крепкая – и в Казани не пропадёшь.

А детям, как всегда, отпустил шуточку:

– В Казани грибы с глазами. Когда их режут, они из-под ножа лезут! И вот теперь Ольга видела другого Фёдора – искалеченного войной.

Наступила весна, по всему городу потекли ослепительно сверкающие ручьи... Анатолий прислал письмо, в котором писал, что его пе-

ревели на должность старшего инженера и в общежитии дали светлую восемнадцатиметровую комнату. Письмо заканчивалось словами: «Приезжай, Олечка, теперь нам будет легче, да и сильно скучаю я без вас».

Но не для того Ольга столько мучилась, ходила по учреждениям, хлопотала о прописке, чтобы отказаться от Москвы. Она написала, что война скоро кончится и завод или вернут в столицу, или нужно устроить ему, Анатолию, перевод по работе. «Нереально, несерьёзно, маловероятно», – отвечал Анатолий. И вдруг анонимное письмо из Казани: какая-то «доброжелательница» сообщала, что к Анатолию ходит молочница, что раньше она приносила молоко, а теперь «ходит для любви». В глазах у Ольги потемнело, она чуть не задохнулась от ревности; тут же собрала детей и отправилась на вокзал.

...Ольга не вошла, а ворвалась в комнату, но её тревога сразу исчезла, как только она увидела мужа, – с такой безудержной радостью он бросился к ней. В комнате у Анатолия стояли бесценные вещи – две трёхлитровые бутылки: одна с мёдом, другая с топлёным маслом.

– Для вас копил, – сказал он, крепко обнимая жену и детей.

Некоторое время Ольга держалась настороженно, но потом пришла Тоня Бровкина.

– Ты, Олька, такая счастливая: Анатолий – замечательный муж, – сказала. – Только о вас и думал.

Ольга облегчённо вздохнула, и её взгляд потеплел, но всё же позднее на кухне рассказала подруге про письмо «доброжелательницы».

– Глупости! – быстро заявила Тоня. – В общаге всё как на ладони, ничего не скроешь. А завистников и клеветников, сама знаешь, у нас всегда хватало.

...Теперь жили впятером в комнате на четвёртом этаже общежития, под самой крышей. В окно виднелся синий квадрат неба, корзинки ласточек и труба водостока; пониже – крытая дранкой крыша сарая, метёлки берёз и скворечни; ещё ниже – двор, и тропы, стекающие к мосту через овраг, и, если там шёл пригородный поезд, белые клубы дыма. Кровля проржавела, и в дождь потолок протекал, лились целые

струи, под которые ставили разные склянки; но в солнечные дни вся комната наполнялась ярким светом.

Анатолий работал по пятнадцать часов в сутки: и на заводе, и дома – брал заказы других предприятий. Ольга подрабатывала рукоделием: летом шила платья, зимой – муфты, шапки; и по-прежнему много времени уделяла детям, всячески старалась скрасить, разнообразить их унылое детство. Так прожили ещё один год, и наконец наступила весна сорок пятого года. В ту весну только и говорили о скорой победе, по радио голос диктора, сообщавшего об освобождении всё новых городов, звучал приподнято; приближение конца войны чувствовалось во всём, даже в воздухе, – весна была необычайно бурная, звонкая.

В самом конце войны получила похоронку Катя; с ней случилась истерика.

– Так мне и надо!.. Меня покарал Бог! – кричала на всё общежитие. – Он меня любил, а я вела себя как последняя шлюха!

Вечером Ольга сказала Анатолию:

– Бог здесь ни при чём. Если бы он был, он наказал бы именно её, Катю, а не её мужа. Он-то ничего не знал и погиб в полной уверенности, что она его преданно ждёт. А она предала его. Его любовь. Предательство – самое омерзительное, что есть на свете. Хорошо хоть, Катя осознала, что так себя вела, и теперь раскаивается. Может быть, теперь она изменится и, если встретит хорошего человека, будет дорожить им. Хотелось бы в это верить.

В День Победы в общежитии одни веселились, радовались, что пришёл конец страданиям, другие ещё острее чувствовали горечь потерь... Анатолий принёс флягу со спиртом, и вечером, уложив детей спать, они с Ольгой помянули Ольгиного отца и погибших Михаила и Ивана. Закурив, Анатолий тихо проговорил:

– Представляешь, Олечка, мне никак не верится, что Мишка с Ванюшкой никогда не вернуться... Кажется, что это какая-то ошибка, что они просто где-то задерживаются... Ведь мы были друзьями с подросткового возраста, знали друг о друге абсолютно всё... С ними столько связано... Столько хорошего... А теперь в душе пустота.

– Для меня их гибель тоже огромная потеря, – вздохнула Ольга. – Мне их будет сильно не хватать. Но жизнь продолжается, и мы не имеем права расклеиваться. Мы обязаны теперь с удвоенной силой всего добиваться, и за моего отца, и за Ивана с Михаилом. Добиваться своего и того, чего они недополучили. Я думаю, они очень огорчились бы, узнав, что мы раскисли и всё пустили на самотёк – как будет, так будет. И мы докажем им, и себе, и жизни вообще, что мы не из робкого десятка. Прежде всего мы должны вернуться в Москву.

Чтобы развеять угнетённое состояние, Ольга предложила Анатолию погулять на свежем воздухе.

Некоторое время они бродили в окрестностях общежития, потом сидели на склоне оврага, сидели одни в огромном ночном пространстве; Ольга продолжала планировать будущую жизнь, Анатолий угрюмо курил. Внезапно со стороны Аметьево показался железнодорожный состав; когда он подъехал к туннелю, Анатолий с Ольгой увидели зарешеченные окна и прильнувшие лица солдат, небритые, хмурые.

– Наши военнопленные, – осведомлённо сказал Анатолий. – Есть приказ: кто был в плену, отправить в Сибирь на десять лет.

– Этого не может быть! – ужаснулась Ольга. – Что за чудовищный приказ?! Уму непостижимо! Ведь не все сдавались в плен. Наверняка многих взяли ранеными, без сознания!.. А если и сдавались, что ж здесь позорного?! Допустим, наших горстка, а немцев сотни. Зачем глупо умирать?! Во всех войнах были пленные, потом их обменивали... Господи, а как же Виктор?! Что с ним?!

Война закончилась, но трудностей не убавилось, предстояло наладить семейный быт, ставить детей на ноги...

Анатолий получил от завода клочок земли около Волги, и по воскресеньям всей семьёй ездили сажать картошку. Ездили на трамвае до конечной остановки на противоположной окраине города и дальше шли по тропам через огороды к тополям, за которыми угадывалось открытое пространство; оттуда тянул ветер, пахло водорослями, мокрой древесиной, смолой; слышался глухой рокот буксиров. За тополями открывалась прямо-таки необъятная ширь; полноводная река, высоченные красноглинистые склоны и дальние деревни на зелёных

холмах. А по Волге сновали моторные лодки и проходили пароходы – на их палубах среди мешков и бочек вповалку лежали люди.

Поработав на участке, спускались к реке, сбрасывали одежду, намыливались серым вязким илом, отмывались в воде и, если был тёплый день, делали заплыв по течению. Будучи отличной пловчихой с юности, Ольга учила детей плавать разными стилями, а после этих уроков собирала на берегу раковины, отшлифованные водой камни и коренья и дома устраивала выставку «речных драгоценностей». Несмотря ни на что, в ней сохранилось восторженное восприятие мира, свойственное детям, чудакам и мудрецам.

Жизнь на окраине приобретала спокойный, размеренный уклад: долгими летними вечерами по мосту и склонам оврага гуляли парочки, перед сараем на ящиках забивали козла любители домино, на «пятак» перед общежитием выбивали одежду, перетягивали матрацы, в нижних этажах студенты запускали музыку, а над общежитием носились ласточки.

Однажды получили письмо от Ксении: объявился брат Виктор. Он был в концлагере, а после освобождения отличился в боях. Ксения сообщила, что «брат весь седой и вообще какой-то другой, как будто его подменили... Его постоянно куда-то вызывают, допрашивают... Наконец прислала письмо Анна. У неё всё хорошо, а о нашей жизни и не спрашивает. Даже обратный адрес не написала».

Потом принесли срочную телеграмму о смерти Ольгиной матери. Ольга пыталась вылететь самолётом на похороны, но самолёт с полпути вернулся из-за нелётной погоды в Москве.

– Видимо, не судьба мне хоронить родителей, – с досадой сказала Ольга мужу. – Бедные трудяги, они всю жизнь только и знали, что работали и заботились о нас. И так и не увидели настоящей жизни... Знаешь, какой я запомнила маму? Сидящей на лавке в котельной: волосы густые, со множеством гребней, штопает носки на лампе, тихо поёт... Хорошо ещё, что она дождалась Витю... Но ничего, всё равно они со мной. Ты не поверишь, но я всегда мысленно советуюсь с ними.

– Олечка, твои родители всё-таки умерли в возрасте, а мои-то и во все молодыми, – поправляя очки, сказал Анатолий.

– Это верно. И потом, что я говорю?! Как это они не видели настоящей жизни?! Отец из простых почтальонов стал начальником почты, уважаемым человеком, а мать носила значок почётной ткачихи. За свою жизнь она наткала столько полотна, что им можно одеть всю Москву. У них пятеро детей, и все вышли в люди. Это ли не настоящая жизнь!

Анатолий кивнул:

– В конечном счёте иметь любимую работу и добросовестно её выполнять и воспитывать детей – есть уже счастье. Да что там говорить! Твои старики прожили хорошую жизнь. Ты подумай о тех стариках, у которых никого нет. Они точно отвергнутые, о них никто не заботится.

К осени опустели гнёзда ласточек, склоны оврагов пожухли, мост от дождей потемнел, огни станции Аметьево еле угадывались в тумане... Всей семьёй ездили на участок выкапывать картошку, привозили её домой в мешках, раскладывали у батареи отопления сушиться.

В общежитии появились новшества: в холле повесили зеркало, поставили ящик с щётками для обуви, на лестничную площадку постелили ковёр. На кухне буржуйки уступили место керосинкам и керогазам, и теперь «клуб» расцветивали жёлтые и синие огоньки. Особенно красочным общежитие выглядело во время праздников и выборов, когда в одной стороне холла устраивали агитпункт, а в другой – буфет-рюмочную, и устанавливали столы с шахматами и шашками, и с утра до вечера по «колоколу» запускали музыку.

Вскоре в общежитии появились студенты-китайцы; они часто приходили к Ольге, просили что-нибудь перелицевать, подшить и за работу давали миску риса, при этом называли «москвичкой портнихой» и «современной» и приглашали к себе на чаепития.

Прошедшие мучительные годы оставили рубцы на сердце Ольги, но не притупили её восприятия окружающего мира, не погасили её природного жизнелюбия. Она по-прежнему излучала притягательную теплоту и бодрость, и к ней по-прежнему тянулись люди. Одни – чтобы просто пообщаться, заразиться её энергией, поднять настроение после физических и душевных перегрузок.

– Ольга отдаёт нам свою доброту, наполняет душу светом, – говорила Тоня Бровкина. – Она так внимательна к людям.

Другие тянулись к Ольге, чтобы легче перенести всякие неурядицы, зная, что участливая Ольга не только горячо сопереживает, но и всегда найдёт выход из трудного положения. Что особенно важно – рядом с Ольгой никто не озлобился, не совершил отвратительного поступка, не употреблял нецензурных слов; наоборот, многие подобрали, стали вежливей; у некоторых даже прорезались таланты, о которых они и не подозревали. Каким-то неведомым чутьём Ольга угадывала в людях скрытые, неразбуженные возможности, выявляла «дарования» и всячески стремилась их развить.

Как всегда, Ольга много времени уделяла детям: читала с ними и рисовала, делала аппликации из лоскутов материи и коллажи из засушенных цветов и листьев – «приучала к чувству красоты»; и участвовала в дворовых играх, будь то лапта или «штандер»; и по-прежнему ставила домашние спектакли, только теперь более сложные – с пением и танцами, некие мюзиклы.

– Воспитание детей – основной смысл жизни женщины, – говорила она. – Воспитание начинается с первых шагов. Книжки, которые нам читают, музыка, которую мы слышим, картины, которые видим, – сильные впечатления детства, они остаются с нами на всю жизнь.

Анатолий тоже изредка занимался детьми: подсказывал, как сделать декорации к спектаклям, старшему сыну помог смастерить самодельный кат на подшипниках и шахматные фигуры из швейных катушек, дочери склеил пальцы для вышивания, младшему сыну из деревянных брусков выточил игрушки. Но на игры с детьми у него не было ни времени, ни сил – он слишком уставал на работе.

Весна сорок шестого года была для Анатолия с Ольгой особенно знаменательной – исполнилось десять лет их супружеской жизни. Событие отметили скромно, в семейном кругу за бутылкой портвейна. Анатолий подарил Ольге букетик ландышей и ткань на платье, она ему – портсигар.

– Досталось же нам с тобой, Олечка, – произнёс Анатолий во время застолья. – Так хорошо началась наша жизнь на Правде, и вдруг война, и всё рухнуло. Не знаю, когда теперь всё наладится.

– Скоро! – торопливо откликнулась Ольга. – Если у нашего народа хватило сил победить в этой жуткой войне, то всё восстановить и по-давно хватит. Мы вернёмся в Москву и, я уверена, сразу получим комнату. У нас трое детей, и мы все коренные москвичи. Мы с тобой будем работать и быстро купим всё необходимое. Всего можно добиться, если упорно идти к цели и не опускать руки от всяких неудач.

Вскоре из Москвы в дирекцию завода пришёл приказ: часть инженеров вернуть на прежнее местожительство для работы на новом авиазаводе. В список «ценных работников» попали начальники цехов, секретари профкома, те, кто достал ходатайства и справки, разные лизоблюды, вечно крутившиеся около начальства. Поговаривали, что некоторые из списка никогда и не жили в Москве, а попросту дали взятки. Анатолия в списках не было. Узнав об этом, Ольга пришла к директору завода и попросила объяснить, почему в списках нет фамилии мужа. Она говорила с директором вежливо, но твёрдо. Она со всеми говорила как с равными, невзирая на положение и титулы. Директор её обнадежил, сказал, что скоро весь завод вернётся в Москву. Через несколько лет Ольга узнала, что это было ложью; вторая часть приказа гласила: эвакуированные предприятия оставить на местах.

– Ты сам виноват, – говорила Ольга мужу. – Ведущий инженер, столько грамот имеешь! Нужно было требовать, чтобы тебя включили в список. Ты же палец о палец не ударил, а под лежащий камень вода не бежит. Как можно быть таким нерасторопным! Я бы на твоём месте...

– Да, пожалуй, ты права, Олечка, – вздыхал Анатолий. – Надо ж, обо мне и не вспомнили. За такой стаж работы... А ведь я кое-что сделал для завода. Побольше тех, кто уезжает. Обидно. Но такая несправедливость сплошь и рядом. У нас ведь ценятся не специалисты, а подхалимы, горлопаны... Но ничего, не огорчайся, ещё неизвестно, где лучше – здесь или в Москве...

– Хм, как можно сравнивать несравнимые вещи! Ты же прекрасно знаешь, что моё сердце там, я не представляю свою жизнь без Москвы. А ты – как ветка, которую где ни ткни, приживётся...

...Когда младшему сыну исполнилось три года, Ольга отдала его в детсад и снова пошла работать на завод – вначале в светокопировальный цех, а через несколько месяцев, после окончания курсов чертёжниц, её перевели в отдел главного технолога, где работал Анатолий. Их кульманы стояли рядом.

Как-то, разбирая тумбочку, Ольга нашла открытку с адресом Николая, курсанта из Саратова, с которым познакомилась, когда работала в столовой. Раньше она испугалась бы и почувствовала себя негодяйкой перед мужем, но после всех похоронок и всеобщего горя этот адрес был для неё всего лишь нитью к ещё одной судьбе. Она написала письмо в Саратов, чтобы узнать, вернулся ли Николай с фронта. Ей ответила мать Николая: «Мой сын погиб в сорок третьем году. Благодарю вас, милая девушка, за то, что вы любили моего сына. Желаю вам счастья!»

### 3.

Через три года после войны в центре Казани заводу выделили новый дом, в него перебрались разные предприимчивые люди и несколько многодетных семей. Остальным предложили ехать на остров Сахалин, заселяемый в срочном порядке, или же переехать в небольшой посёлок, достраиваемый в Аметьево на окраине Казани. О Сахалине Ольга и слышать не хотела, выбрали посёлок.

– Учти, – сказала она мужу, – это моя временная уступка обстоятельствам. Просто с заводом мы попали в трудное положение, но оставаться здесь навсегда я не собираюсь. Ещё чего! И наши дети москвичи. Их корни там, а не здесь, на чужбине.

Посёлок представлял собой шесть одноэтажных белокаменных домов в двух километрах от города. С одной стороны к посёлку подступал разъезд Аметьево, где когда-то выгружались из эвакуированного эшелона, овраги с сырой глухоманью и домами на склонах – всё это вместе называлось Арское поле. С другой стороны примыкали карьеры, где добывали глину, а за карьерами виднелись кирпичные заводы,

над которыми постоянно висела красная пыль. Но посёлок окружал широкий ромашковый луг – он-то и понравился Ольге больше всего, ведь ромашки были её любимыми цветами.

В каждом доме было две квартиры: крыльцо, чулан, крохотная кухня с русской печкой и две маленькие комнаты. Деньги за жилплощадь предстояло выплачивать десять лет, после чего дом переходил в собственность. Переехавшим семьям завод выделил кредит, и к домам начали завозить строительные материалы; сколачивали дворовые постройки, вскапывали участки, закладывали сады, заводили кур и поросят – обстоятельно приживались на новом месте, а для общего дела от Арского поля тянули линию электропередачи и водопровод – каждая семья должна была поставить три столба и выкопать двадцатиметровую траншею. Дворовые постройки возводили по чётко разработанному плану: сарай надлежало ставить напротив окон, туалет – в углу участка. Анатолий назвал план «нелепым» и всё сделал по-своему: сарай поставил напротив крыльца, а туалет за сараем. Посельчане оценили «весомое преимущество» плана Анатолия и последовали его примеру; даже те, кто вначале придерживался официального плана, впоследствии, убедившись в его «нелепости», переставили свои строения.

Переехав в посёлок, Ольга первым делом посадила перед домом шиповник, ромашки и дельфиниум. Анатолий принёс щенка – оценилась собака при заводской пожарной. Беспородный пёс оказался незлобивым и сообразительным, с явно врождённым чутьём на пожары: чуть где мальчишки разводили костёр, начинал предупредительно гавкать. Его назвали Челкашом. Вскоре Ольга подобрала бездомного котёнка.

– В каждой семье должны быть животные, – заявила посельчанам. – Животные не способны на коварство, предательство. Они возвышают нас, вызывают доброту, а где доброта, там и дети вырастают хорошими, настоящими людьми.

«Земледелием» занимались всей семьёй; по периметру участка посадили вишню, смородину, крыжовник, остальную землю использовали под грядки. Анатолий со старшим сыном выполняли в огороде

только тяжёлую работу, а когда дело доходило до ухода за овощами, переключались на «плотничество».

– Олечка, ты уж, пожалуйста, уволь нас от грядок, – говорил Анатолий. – Я от одной прополки, от этого нудного занятия, устаю больше, чем на заводе. Да и нам с сыном надо ещё кое-что доделать в сарае.

– А я люблю полоть, – невозмутимо откликнулась Ольга. – Пока рвёшь сорняки, размышляешь обо всём, наблюдаешь за насекомыми, правда, ребята? – она обращалась к дочери и младшему сыну. Она прекрасно знала, что такое однообразный, «неинтересный» труд, и брала его на себя, чтобы родные не переутомлялись.

Из москвичей кроме Анатолия и Ольги в посёлок переехали Дуровы и Сладковы. Дуров работал слесарем, имел золотые руки, любил и знал металл – на глаз определял прочность любой железной чурки. С полочки Дуров выпивал, покупал детям конфеты и печенье, но половину рассыпал по дороге, подходя к посёлку и горланя песни. Дурова целыми днями молчаливо работала по хозяйству, и её несокрушимое спокойствие раздражало мужа. Он звал её «мымрой», пытался вывести из себя, скандалил, подбирая слова пообидней, чтоб больней было, а она всё начищала, подшивала – только обвяжет голову полотенцем, надует губы и терпеливо отмалчивается. Но иногда она выходила из равновесия, и тогда надвигалось землетрясение: дуровские дети вылетали из комнат, точно их стеганули крапивой, и, подгоняемые страхом, неслись через сады и огороды подальше от дома; в мужа летела кухонная утварь, с окон срывались занавески, дом шатался от истощенного вопля. Казалось, разорвало бочку с перебродившим вином.

– Хватит! Надоело! – кричала Дурова. – Уеду отсюда! В Москву!

Вся накопившаяся боль выплёскивалась наружу, из окон и двери эта боль вырывалась в сад, разливалась по всему посёлку и, отражаясь от домов и построек, возвращалась многоголосым эхом. От этой боли сникали цветы и травы, обмякали чучела; прижав хвосты и уши, уползали в закутки собаки, затихали в домах люди. Постепенно крик становился неясным, сбивчивым, потом стихал, и его приглушённый отзвук оседал в садовых зарослях. Грозу пронесло; вновь распушались

цветы, в огородах распрямлялись тряпичные идолы; виляя хвостами, появлялись собаки, люди облегчённо вздыхали и улыбались.

Поведение Дуровых было своего рода защитной реакцией от ностальгии, своеобразным протестом отчаявшихся людей, и все их семейные раздоры происходили от замкнутой безотрадной жизни; они срывали друг на друге злость, словно кто-то из них был повинен в том, что они застряли в глухомани. Заслышав отчаянные вопли Дуровой, Ольга вспоминала ночные крики брата и думала: «Сколько же людей искалечила война, сколько сломала судеб, оставила вдов и сирот!»

Супруги Сладковы работали на заводе химиками; тихие, вежливые, они жили замкнуто, ни с кем близко не сходились.

– У меня принцип, – доверительно объяснял Сладков Анатолию, – не навязываться в друзья, не вмешиваться в чужую жизнь... И я стараюсь упреждать ситуацию. Ну то есть, если чувствую, человек лезет ко мне в душу, стараюсь держаться от него подальше. По опыту знаю, лучшие отношения – на расстоянии. Да и, честно говоря, здесь, в посёлке, особенно ни с кем и общаться не хочется, и чего зря разбрасываться словами. Вы с Олей другое дело. Вы наши земляки. А москвичи, сами знаете, видны издалека.

В момент особого душевного расположения Сладковы приглашали Анатолия с Ольгой на чаепитие с ликёром, причём для ликёра ставили крохотные рюмочки и, когда его пили, каждый глоток запивали чаем – «демонстрировали искусство интеллигентной выпивки», как говорил Анатолий жене, на что Ольга замечала:

– Вот именно! Не то что твои дружки-приятели, которые пьют стаканами.

Во время чаепития Сладковы вспоминали Москву, свою любимую Полянку, оставшихся в столице родственников и знакомых, спрашивали у Анатолия с Ольгой, планируют ли они возвращаться на родину.

– Хм, планируете! – удивлялась Ольга. – Не только планируем – мы безоговорочно, при первой же возможности вернёмся! Как можно жить вне родины?! Даже если бы мне предложили замок с парком где-нибудь во Франции, я променяла бы его на простую избу под Москвой.

Не случайно же все наши великие эмигранты тосковали по родине: Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Куприн...

У Сладковых было двое детей: сын учился в строительном техникуме, дочь – в одном классе с дочерью Анатолия и Ольги. Свою часть дома Сладковы побелили, ставни расписали узорами, в палисаднике посадили маки; посельчане называли их обитель «пряничным домиком», а самих хозяев «сусликами».

Но обосновались в посёлке и не заводские семьи. Они воздвигали высокие заборы, заводили «злых» собак, торговали на рынках овощами, выкапывали гигантские погреба, скупали соль, спички, продукты, занимались накопительством на случай новой войны.

– Чудаки! – смеялась Ольга. – Забаррикадировались в своём мире и ничего не видят вокруг, а между тем вокруг столько прекрасного! А мы сделаем чисто декоративный забор – просто посадим красивый кустарник. Только перед палисадником можно сделать небольшую загородку из штакетника с калиткой. Не возражаете, Анатолий Владимирович? – она обращалась к мужу и запевала романс «Калитка».

Ольга не терпела рамок и границ, они стесняли её воображение, угнетали свободолобивый дух. Кипучая, энергичная, общительная, она тянулась ко всему широкому, просторному, яркому.

Конечно, провинциалами Анатолий с Ольгой стали поневоле, война поломала их судьбу, обрекла на жизнь в захолустье. Они ещё вспоминали прошлое:

– А до войны в театрах... А раньше в Москве...

Но повседневность всё больше заземляла их до бытовых забот, постоянных приработков.

...В долгие летние вечера посельчане трудились в садах и огородах, часто работали до глубокой темноты. Для полива участков от колонки, стоявшей в центре посёлка, провели канавы для стока воды, а в садах выкопали ямы, чтобы за день вода отстаивалась и нагревалась. Канавы называли «каналами», а водоёмы на участках – «озёрами». С потугами на прежний юмор Анатолий говорил:

– Наш посёлок – как маленькая Венеция, только гондольеров не хватает.

– В самом деле, чем не Италия?! – откликнулась Ольга. – То же солнце, те же овощи и фрукты!

Они во всём пытались видеть красоту; в действительности посёлок выглядел заурядным поселением, но эти фантазии помогали им жить.

...Позднее Ольга вспоминала:

– Детям в посёлке было раздолье... посреди посёлка играли в волейбол, на участках купались в ямах-озёрах... С ребятами купались и собаки. Наш Челкашка очень любил воду, в жару прямо не вылезал из ямы. Однажды почтальонша подошла к калитке, а он выскочил из воды, как крокодил. Бедная женщина чуть не упала в обморок.

За кирпичными заводами находился небольшой лес и два озера. Иногда по воскресеньям ходили за грибами и ягодами и непременно купались на озёрах; Ольга и дети разбегались и влетали в воду, поднимая веер брызг.

– Водичка прелесть! – крикнет Ольга. – Анатолий Владимирович, бросьте нам мяч! Мы поиграем в воде!

Анатолий кинет мяч, не спеша разделенется, положит очки на одежду, протрёт ладонью вспотевшее лицо, спустится к озеру и бесшумно войдёт в воду.

Накупавшись, загорали, вдыхая запахи озера и трав, песка и ракушечника; рассматривали серебристые ивы и птиц среди ветвей и... вспоминали Правду.

С озёр Ольга приносила охапки цветов... В их комнатах всегда стояли цветы: летом Ольга составляла букеты из полевых цветов (в основном из ромашек), весной ставила в банки ветки вербы, которая цвела в лесопосадках у железнодорожной колеи, осенью собирала опавшие листья.

– Есть поверье, что осенние букеты приносят несчастье, – говорила она. – Но красота не может приносить несчастье... Я вообще не верю ни в какие приметы и суеверия. Чепуха это всё. В них верят только слабые люди с неуравновешенной психикой.

После вылазок на природу обедали в саду среди вишен; затем занимались домашним хозяйством; ближе к вечеру Анатолий с сыновьями отправлялся на стадион «Трудовые резервы» посмотреть матч заводской

команды, а после матча покупал сыновьям газировку, а себе сто грамм водки и кружку пива.

В будние дни, вернувшись с завода и поужинав, Анатолий обычно работал за чертёжной доской, но случалось, закуривал и читал книги из заводской библиотеки. Иногда Ольга обращалась к нему:

– Анатолий Владимирович, отложите, пожалуйста, книгу! Вы и так ходячая энциклопедия. Вспомните о нас. Пойдёмте-ка на волейбольную площадку, поиграем с поселковой молодёжью. Собирайтесь, ребята!

Всей семьёй выбегали из дома и присоединялись к играющим в волейбол.

Дети Анатолия и Ольги подросли. Старшему сыну Леониду исполнилось двенадцать лет, дочери Нине – десять, младшему сыну Толе – четыре. Ольга всегда была хорошим товарищем своим детям, с неподдельной готовностью поддерживала любое их увлечение. С Толей запускала змея, выжигала лупой на деревяшках, играла в разбойников и проявляла в этих играх недюжинную фантазию и прекрасные чудачества. С Ниной изучала английский язык, слушала музыкальные концерты по радио, вышивала гладью и болгарским крестом. С Леонидом занималась фотографией и была «моделью» на его «уроках рисования», а позднее, когда подростку купили ружьё, однажды выступила в роли загонщика – подогнала диких голубей к засидке сына; правда, после той охоты сказала:

– Всё-таки это занятие не для меня. Охота слишком жестока – я не могу смотреть, как убивают животных... Мы и поросёнка, и кур держим по необходимости. Вот их растишь, они становятся друзьями, а потом их приходится убивать. Если бы у нас было побольше денег, мы купали бы фрукты, соки... Ещё сыры, мёд и стали бы вегетарианцами. Фрукты и мёд содержат все необходимые витамины.

Летом Ольга с детьми плавала наперегонки на озёрах, играла в волейбол в центре посёлка, зимой каталась на лыжах в аметьевских оврагах и всем этим загоралась по-настоящему – и потому что сама в юности была отличной спортсменкой и знала, как необходимы детям занятия спортом, и потому что была увлекающейся натурой и ничего не делала вполсилы. Она постоянно жила интересами детей и разгова-

ривала с ними как с равными, точно они были одного возраста и имели одинаковый запас знаний. Здесь проявлялись её лучшие черты, вся её подлинная суть.

Анатолий тоже время от времени участвовал в воспитании детей – чаще всего в форме нравоучительных уроков: на примерах из жизни выдающихся людей объяснял, что такое трудолюбие, честность, порядочность, – ему, много читавшему, это было несложно. Иногда, чтобы возбудить у детей интерес к чтению, пересказывал сюжет того или иного произведения классиков или описывал необычного литературного героя, после чего ребята непременно брали книгу в школьной библиотеке. Но к увлечению Леонида живописью Анатолий относился со всей серьёзностью, особенно после того как подросток начал писать масляными красками. Анатолий приносил ему репродукции с картин великих мастеров, которые продавались в канцтоварах и стоили недорого. Однажды Анатолий принёс «Омут» Левитана и сказал сыну:

– Попробуй написать копию. Мой приятель, инженер нашего отдела, большой любитель живописи. Я пообещал, что ты непременно напишешь.

Когда Леонид написал копию, она ему показалась чуть ли не равной оригиналу, и он заявил отцу:

– Жалко её отдавать. Это моя лучшая работа. Твоему приятелю напишу что-нибудь другое.

– Но я обещал ему именно «Омут», – сказал Анатолий. – Получится неудобно. И вот что – думаю, он за неё заплатит.

На следующий день, вернувшись с работы, он торжественно вручил сыну десять рублей, отчего подросток немало возгордился, ведь это был его первый заработок. Только спустя несколько лет парень узнал, что отец, конечно же, просто подарил картину.

Летом Анатолий брился наголо, ходил в белом полотняном костюме и парусиновых ботинках; галстуки не носил, брюки гладил редко, вообще одежде большого значения не придавал. А Ольга просто-напросто царственно пренебрегала своим внешним видом. Само собой, основную роль играли деньги, которых постоянно не хватало, и перед

каждой получкой влезали в долги, а то и сидели на хлебе и овощах. Тем не менее после получки Ольга покупала не новую одежду, а игрушки младшему сыну, книги дочери, краски старшему сыну.

– Новая одежда подождёт, я старую починю, – говорила мужу. – А дети должны иметь всё необходимое. Второго детства у них не будет.

Как все нуждающиеся люди, Ольга мечтала выиграть по облигации. «Много нам не надо, – рассуждала она. – Хотя бы простыни и пододеяльники, ведь спим под колючими верблюжьими одеялами. И хорошую посуду вместо алюминиевых мисок...» Только спустя четыре года после войны они смогли купить кровати, ватные одеяла, простыни, а фарфоровую посуду ещё позднее. Тот день Ольге всегда было приятно вспоминать. Анатолий пришёл с работы радостно возбуждённым, с бутылкой вина, печеньем, конфетами и большой коробкой.

– Это тебе, Олечка, – сказал.

Ольга развязала коробку, и её лицо засветилось – в коробке лежал переложённый ватой фарфоровый сервиз.

По-прежнему, как и до войны, Ольга просыпалась с улыбкой и всегда по утрам пела, правда, её улыбка уже стала менее лучезарной, и пела она вполголоса, но, взглянув в окно, восклицала:

– Сегодня погодка – красота!

Даже в дождь и слякоть ей всё было «красота» и «чудо». Овощи на грядках были «такие красивые, что жалко их есть», а ягоды на кустах – «просто изумительные» и «просто чудесные». Змей, склеенный Толей, был «настоящее чудо, а не змей», Нина вышивала «чудесней всех», радиоприёмник с наушниками у Леонида был «необыкновенное чудо». Неуёмная собирательница чудес, она умела видеть радостное и не сгущать неприятности, ей хватало немногого для счастья, потому что она, в отличие от большинства людей, умела быть счастливой.

– У тебя, Ольга, всё так хорошо: хороший дом, сад, хорошие дети, хороший муж, – говорили сослуживцы. – Ты такая счастливая...

В эти минуты Ольге было трудно удержать свою радость, сдержать слёзы, готовые вот-вот брызнуть.

– Я и правда счастливая. Дети, слава богу, не болеют, и всё у нас чудесно. Светлые комнаты, мебели особой нет, но всё равно уютно. Дешёвые вещи, а дороги, потому что нажиты трудом... Сад прекрасный – крыжовника полно, вишни, смородины – приходите, рвите, сколько захочется... А через восемь лет продадим дом и уедем в Москву. Время быстро летит. Как раз ребята окончат школу... Может быть, и пораньше удастся переехать. Может, Толе дадут перевод, и тогда обменяем дом на квартиру в Москве, пусть самую захудалую, – всё родина... А сюда многие с радостью поедут. Прекрасный дом, сад, огород, и от города недалеко. Говорят, проложат дорогу и пустят автобус... А зелени здесь – хоть отбавляй! А воздух, какой воздух! Чудо, а не воздух!

В Ольге была непоколебимая убеждённая уверенность в благополучном исходе всего происходящего. Она на всё смотрела как бы отстранённо; неприятности и трудности были для неё всего лишь препятствиями на жизненном пути, как некие прелюдии, предшествующие удачам. Она была радостным человеком и даже о бедах говорила улыбаясь, давая понять, что все они – преходящие мелочи в огромном прекрасном мире.

Случалось, к ней зайдёт Дурова, глубоко вздохнёт:

– Если бы ты знала, Ольга, как всё надоело. С утра до вечера стираю, не отхожу от плиты, совсем стала кухаркой. В Москве хоть ходила в театр, в кино, а здесь... всю жизнь загубила...

– Клава, милая, ну кто ж знал, что будет война. Ты подумай о вдовах, у которых мужья погибли. Мы-то с тобой счастливые, а им каково?! А в Москву мы обязательно вернёмся, вот увидишь... А то, что мы много времени проводим у плиты и в огороде... Ну что ж поделаешь... Такова наша женская доля – ждать мужей, растить детей. Но всё, что мы делаем, мы делаем-то для своих любимых: мужа, детей. И потом, почему это ты всю жизнь сгубила?! Вот ещё! Молодая, интересная женщина. У нас с тобой жизнь-то только начинается... Вот знаешь, о чём я подумала? Что многие сами себя делают несчастными. Жалуются на судьбу, жалеют себя, а ведь нытиков не любят. Я так их терпеть не могу. Когда кажется, что всё плохо и жизнь невмоготу, надо посмотреть на себя другими глазами, и получится, что всё не так уж и плохо... А у тебя про-

сто всё замечательно: внешность, возраст, четверо детей, муж отличный мастер и тебя любит. Да что там говорить!.. Знаешь что! У нас есть сборник рассказов Джека Лондона. Я дам тебе, непременно почитай. Вот у кого надо учиться бороться с трудностями и не отчаиваться в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Чудесная книга! Джек Лондон – мой любимый писатель. Обязательно почитай!

Ольга всегда жила в особом свете духовности, неискоренимой внутренней культуры, она была выше будничной суеты, мелочных обид. Неспроста поселчане считали, что Ольга среди них временно, по нелепой случайности, что такие люди, как она, должны жить в другом месте, что она достойна лучшей участи.

Но среди соседей встречались и завистники, которым не давали покоя Ольгин оптимизм, её жизненная стойкость, умение держать себя в руках, её приветливость и даже её внешность. Такие люди за глаза называли её «интеллигенткой» и «барыней, много из себя строящей». Они завидовали Ольге только потому, что никогда не смогли бы стать такими, как она, подняться над житейскими неурядицами; не были способны на возвышенные чувства, на благородство. А то, что Ольга кого-то «строит из себя», выглядело по меньшей мере несправедливым; её отличительной чертой как раз была естественность. Она со всеми держалась непринуждённо, свободно и просто. Случалось, в своих рассуждениях Ольга допускала некоторые преувеличения, что свойственно творческим натурам; случалось, она выражалась несколько декларативно, но в этом проявлялись её склонность к обобщениям, умение видеть жизнь объёмно и, наконец, её победоносный дух. Но и в тех случаях она никого не играла, а была сама собой.

Ближе к осени в посёлке пилили дрова; чурбаки раскалывали, поленья складывали в поленницы и сверху накрывали толем от дождя. В листопадную пору из садов тянуло гарью – жгли палую листву, сухие стебли, ботву. Выкапывали и сушили картошку, морковь; жали серпами, молотили и просеивали просо. Запасы опускали в погреба, складывали в чуланах. И снова проявлялась Ольгина жертвенность: она выполняла самую чёрную работу, чтобы другим было полегче, при этом всё делала с улыбкой, как бы не замечая трудностей.

– Работать на свежем воздухе – одно удовольствие, – говорила. – Надо сочетать приятное с полезным!

О себе Ольга не думала и часто работала дольше всех, и не было случая, чтобы она жаловалась на усталость. Она вообще всё отдавала другим и никогда ничего не требовала взамен; отдавала лучшую одежду, лучшую еду, проявляла постоянную заинтересованность делами других. Она как бы одновременно проживала несколько жизней: свою, жизнь мужа, детей, родных, близких и просто знакомых. И что особенно важно – жизнь окружающих ей была намного дороже своей собственной.

Наступила полоса относительного благополучия, только Ольга просто разрывалась между работой, семьёй и хозяйством; ей постоянно не хватало времени, а ещё хотелось почитать книги, послушать музыку. Пришлось уволиться с завода, но и после этого забот не убавилось. Ближайший магазин находился за два километра, рынок – за три, аптека, телефон и почта ещё дальше. Ежедневно в семь утра Ольга отправлялась на рынок и обратно несла полные сумки: молоко, хлеб, керосин для керогаза; дети уходили в школу, а она шла за водой, кормила поросёнка, кур, прибирала в комнатах, готовила обед, полола огород. Потом садилась за чертежи мужа, ставила форматки (Анатолий по-прежнему дома выполнял заказы для других заводов); вечером перелицовывала, штопала, подшивала – и всё время негромко пела. Ольга работала, не давая себе передышки, без скидок на усталость и плохое самочувствие, и всё делала легко, на одном дыхании. Она не умела отдыхать, не могла сидеть без дела и спать ложилась позже всех, а вставала первой и всегда в хорошем настроении.

– Олечка, отдохни, пожалуйста. Всех дел не переделаешь, – говорил Анатолий. – И как ты не устаёшь, поражаюсь! Ты пламенный борец за наше семейное счастье, твоей энергии может позавидовать десяток мужчин. Ты не шаровая молния, ты целая электростанция.

– А для меня отдых – это смена занятий, – улыбалась Ольга. – И я считаю, нет неинтересной работы. В каждой можно найти радость и смысл.

Ко всему, работа помогала Ольге не думать о Москве.

Но если летом ей было некогда грустить о родине – еле успевала поворачиваться, – то зимой становилось тоскливо. Особенно когда завьюживало и от натиска снега в посёлке замирала всякая жизнь, когда во время пурги рвались провода и сидели при свечах; Ольга слушала завывание ветра и чувствовала себя оторванной от внешнего мира – где-то шумные улицы, театры, интересные люди, а вокруг неё унылое однообразие, безрадостная монотонность.

Зима в посёлке угнетала Ольгу; тоска по родине, словно оседающий песок, заполняла всё её существование. Снова и снова она подумывала о переезде в Москву, даже для будущей работы в столице поступила на заочные курсы стенографии и по вечерам для практики записывала радиопередачи.

Иногда Ольга заходила к Тоне Бровкиной, живущей в центре города.

– Ты, Оля, как всегда, выглядишь отлично, – говорила Тоня. – Модное пальтишко отгрохала, шляпа – прямо дамочка-иностраночка.

– Это я-то дамочка! – возмущалась Ольга. – Вот ещё! Да я труженица, вот я кто. Посмотри на мои руки, посмотри, как они загрибели... А пальто сама сшила. Ничего особенного. Как говорится, элегантная простота. И тебе могу такое сшить, если хочешь.

За чаем заводили разговор о Москве, вспоминали Правду – посёлок, окружённый лесом, поляны колокольчиков... Ольга запевала песни времён их молодости, и на глазах Тони появлялись слёзы; она жаловалась на свою незавидную участь, сетовала, что живёт беспокойно и безрадостно. На минуту и Ольга начинала грустить, но потом, встряхнувшись, снова говорила твёрдым голосом:

– Знаешь что?! Нельзя жить прошлым, всё время оглядываться, поворачивать голову назад. Надо смотреть вперёд. У нас с тобой впереди огромное будущее, целая жизнь. Я совершенно уверена, рано или поздно мы всё равно вернёмся на родину. Нужно только добиваться этого.

Ольга ходила в дирекцию завода, просила перевести мужа в Москву, но в то время с оборонных заводов отпускали в редчайших случаях. Ольге дали малоутешительное обещание – рассмотреть вопрос о переводе не раньше чем через три года.

– Они не хотят слушать мои доводы, – возмущалась Ольга дома. – Раздражённо отмахиваются от меня; сейчас, мол, преждевременно говорить о переводе. Я наталкиваюсь на несправедливость, равнодушие.

Разочарованная, но не ожесточённая, она всё равно не теряла надежды вернуться на родину.

– Пусть через три года, но мы всё равно будем жить в Москве, вот увидите!

Анатолий недоверчиво улыбался, ему переезд в Москву казался чем-то недостижимым, несбыточным замыслом, и если Ольга всегда смотрела на Аметьево как на временное местожительство, то он смирился с положением. Нерешительный и безынициативный, он всё больше подчинялся обстоятельствам и всё чаще после работы заходил в пивную, а дома говорил о погибших друзьях, вспоминал Правду, рыбалки. И эти воспоминания были для него самыми приятными, единственно счастливыми минутами, проблесками светлого, дорогого, потерянного в хаосе войны, от этих воспоминаний ему становилось не по себе.

– Смешно, у меня неплохой оклад, но я получаю меньше шофёра, – уже без всякого юмора говорил он жене. – Для чего я учился, для чего мои знания? Всё насмарку! Вот к чему привела уравниловка! Умственный труд приравнивали к физическому.

– Всё это отчасти так, но твоя работа приносит тебе удовлетворение, – возражала она. – Твои детали – на многих самолётах и на машинах компрессорного завода, где ты подрабатываешь, и в других местах... Ты создал ценные вещи.

– Только что! – хмыкал Анатолий. – Всё равно уравниловка приняла уродливые формы... И система окладов порочна. Я работаю больше и лучше многих, но получаю столько же, сколько и те, кто просто просиживает часы... Вообще идея равенства против природы. Она порочна в основе. В природе нет одинаковых существ – ни внешне, ни способностями. И почему талантливый, трудолюбивый должен получать столько же, сколько бездарный и ленивый?! Равенство убивает инициативу. Но главное, тем, кто на собраниях кричит «ура!», им и почёт,

и награды, и привилегии... И что я заметил: тупица начальник выбирает себе в помощники ещё более тупых, разных подхалимов, чтобы ему во всём безропотно подчинялись.

– Что же ты об этом не скажешь на собрании?

– Попробуй скажи, сразу упекут куда следует.

– Не упекут! Ты честный человек, и тебе нечего бояться... Надо уметь отстаивать своё. И не прав наш великий Толстой со своим «непротивлением злу». И религия чему учит? Терпению, смирению, возлюбить врагов своих! Тебя оскорбили, ударили по лицу, а ты подставляй другую щеку! Вот ещё! Что за чушь?! Надо уметь постоять за себя. Я всё больше прихожу к выводу, что православное христианство – рабская религия. Не зря мой отец отрёкся от Бога.

– Что и говорить, Олечка, мы живём под страхом. Нас приучили молчать; чтобы выжить, надо уметь молчать...

– Надо уметь видеть хорошее, – настаивала Ольга. – Многие не видят того, чего не хотят видеть. И потом зло всегда будет, оно составная часть природы. Это даже хорошо, что все люди разные. Зато на фоне негодяев особенно видны порядочные люди, на фоне дураков – умные. Не отчаивайся! Вот переберёмся в Москву – и жизнь снова покажется прекрасной.

Беспокойная Ольга во всём любила перемены, не выносила оседлости, не могла долго ни жить, ни работать на одном месте, ей везде было тесно. Даже входя в дом, она первым делом распахивала окна (зимой форточки) – «чтобы свежий воздух бодрил». И в огороде постоянно сажала что-нибудь «экзотическое»: фасоль, баклажаны. И каждый год меняла занавески на окнах, выбрасывала старую кухонную утварь и покупала новую; и без конца переставляла мебель в комнатах – разнообразие приносило ей радость. В своём стремлении к переменам Ольга не знала покоя; она была наполнена неисчерпаемой энергией, и – вот насмешка судьбы! – вся эта энергия уходила в кухню и огород; казалось, её, «целую электростанцию», использовали всегонавсего для работы захудалого ветряка.

Ольга начала курить. Всё чаще брала папиросы, усаживалась у окна и погружалась в свои мысли.

«Хорошо бы иметь комнату в Москве, – рассуждала она. – А домик на окраине ещё лучше. Какой-никакой... Можно было бы снова жить на Правде, всё ближе к родине».

Но наступала весна, и повседневные заботы отодвигали мечты Ольги о доме в Подмосковье. Дни расширялись, становились светлее, солнце буравило снежные корки, двор превращался в мокрое месиво, вдоль железной дороги убирали противоснежные щиты, начинали бушевать аметьевские водопады. Вскоре запах талого снега уступал место запаху сохнущей земли, на пригорках вылезала острая яркая трава, на ветвях набухали почки, всё тише бормотали задыхающиеся водопады, а облака становились высокими и неподвижными.

Однажды, когда Анатолий пришёл выпивши, Ольга, повысив голос, спросила:

– Когда это кончится? Вчера того встретил, сегодня этого... У одного – счастье, у другого – несчастье...

Анатолий попытался отшутиться:

– Не преувеличивайте, Ольга Фёдоровна! Не так уж часто я встречаюсь с приятелями.

Но Ольге было не до шуток:

– Знаешь что?! Мне надоели твои заветные компании. Ты неплохо устроился. На работе – общество, после работы – приятели. А я погрязла в огороде, на кухне. Очень надо! Я тоже хочу общаться с людьми, слушать музыку, танцевать. Ведь я женщина. Ты забыл об этом... И не разводи руками, не строй из себя глупца! Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю...

В другой раз Анатолий пропил треть получки, пришёл поздно и с собой привёл знакомого завсегдатая пивной.

– Олечка... Познакомься, мой новый друг Володя.

Они еле держались на ногах, и собутыльника мужа Ольга сразу выводила:

– Как вам не стыдно! Являетесь в таком виде в чужой дом. А вас наверняка ждут жена, дети!..

Потом досталось и Анатолию. Ольга отчитывала его, а он смиренно стоял перед ней, улыбался и бормотал:

– Не сердись, Олечка. Действительно, как-то так получилось, что мы с Володей потратили изрядное количество денег, но я заработаю, всё устроится.

Это ещё больше распалило Ольгу:

– И так здесь прозябаю, да ещё нянчиться с пьяницей! Вот ещё! Только этого не хватало. Подумал бы своими умными мозгами, каково мне и детям постоянно видеть тебя пьяным?! До чего ты докатился?! И на что мы теперь будем жить, ты подумал?! Эгоист несчастный!

Анатолий устал. Пятнадцать с лишним лет работал на заводе (часто сверхурочно), и постоянно по вечерам чертил дома за доской, и ни разу за все эти годы не брал отпуск – только получал отпускные деньги и продолжал работать. Накопленная усталость, постоянные недосыпания сказались на его здоровье – у него появился гастрит желудка. Ко всему, от порядков на заводе, при которых ценились не столько талант, сколько угодничество, от всяких летучек и собраний, где партийные деятели давали «ценные указания», он испытывал не только физическое истощение, но и нравственное.

– Вот нелепость – у нас человек в обществе единица, винтик... Не ценится личность, – говорил он Ольге. – А интеллигент – вообще презрительная кличка. Любой подсобный рабочий может тебе нахамить. Но всё ценное в мире создано как раз интеллигентами. Они носители культуры, лицо нации, без них общество загниёт.

Если бы всё это Анатолий говорил трезвым, Ольга нашлась бы что сказать, но он философствовал пьяным, и она особенно не вникала в его слова, её больше беспокоили его участвовавшие выпивки.

Как-то от соседей Ольга узнала, что Анатолий сидит в пивной у завода. Она влетела в пивную, выхватила стакан у мужа и кокнула об пол.

– Знаешь что?! Ты совсем потерял совесть! Сколько можно! И вы хороши! – она набросилась на собутыльников Анатолия. – Знаете, что ему пить нельзя. У него больной желудок. И подумайте о своих семьях. Ведь вас ждут жёны, дети.

И буфетчику досталось:

– А вы так и знайте! Ещё раз нальёте Анатолию Владимировичу хотя бы сто граммов, я подам на вас в суд за то, что вы его спаиваете, разрушаете семью.

Она вывела Анатолия на улицу.

– Глава семьи называется! В дом ничего не приносит, а на своих приятелей десятки тратит. Куда это годится?! Это последняя стадия падения!.. И очень надо с тобой нянчиться!..

Дома накипевшая горечь вылилась в пощёчину мужу; его очки слетели, и он сразу стал беззащитным. Ольга испугалась, торопливо подняла очки, положила на стол, закурила и, подавленная, ушла в другую комнату.

От водки и непрерывного курения гастрит Анатолия перешёл в язву желудка. Ночами он корчился от боли, стонал, потом прямо на работе у него случилось прободение язвы, и сотрудники еле успели вызвать скорую помощь.

После операции Анатолий две недели находился в больнице; Ольга приносила ему овсяные каши и варенье из лепестков розы, которое, как она узнала, заживляет рубцы и которое достала с огромным трудом. Из больницы Анатолий вернулся сильно похудевший, с потухшим взглядом.

– Ну и насмотрелся я там всякого, – сказал. – Как будто вернулся с того света.

Ольга была уверена, что после операции муж перестанет выпивать, но уже через месяц он наведалься в пивную. Потом ещё, и ещё, и вскоре стал выпивать больше прежнего.

Сыновья Ольги унаследовали от матери жизнестойкость, росли общительными, хорошо учились; Леонид по-прежнему занимался живописью и готовился после школы поступать в художественное училище, Толя участвовал в школьной самодеятельности. Ольга всячески поддерживала увлечения сыновей: старшему ставила натюрморты, в свободное время позировала; младшему выкраивала и шила костюмы, отдавала под реквизит стулья и посуду, а на представлениях была самым восторженным зрителем. Это приобщение к искусству Ольга всегда расцвечивала радостным взглядом на мир, старалась обратить

внимание сыновей на самые красивые вещи, умные лица, «чудесное» состояние природы, но больше всего на вечные ценности – классические примеры в мировой культуре. Позднее сыновья не раз вспоминали эти наставления матери; именно тогда она посеяла в них зёрна искусства, расширила их воображение, дала точные ориентиры, помогла осознать самих себя.

За будущее сыновей Ольга была спокойна, но дочь огорчала её. Нина росла слабым ребёнком. После тяжёлой болезни во время войны она так и не смогла полностью восстановить силы. Ей часто нездоровилось, во сне она плакала, со сверстниками не дружила и потому для поселковых ребят была предметом насмешек – её замкнутость они рассматривали как зазнайство, даже окрестили «воображалой» и «цыпочкой». Нина чувствовала антипатию и жаловалась матери:

– Они надо мной смеются, потому что я ничего не умею, у меня ничего не получается.

– Хм, что ты говоришь?! Как это не умеешь, не получается?! – удивлялась Ольга. – Ты всё умеешь. По хозяйству мне замечательно помогаешь и в огороде всё делаешь лучше, аккуратней и добросовестней всех нас... А чего не умеешь, тому научись. Главное – захотеть.

– Да нет, мамочка! – безнадежно вздыхала Нина. – Я родилась в плохом созвездии. Это плохая примета.

– Чепуха все эти приметы. Я в них никогда не верила. Главное – уверенность в себе. Вот чем надо обладать. Уверенность в себе надо воспитывать, развивать, постоянно говорить себе – это я могу сделать! И делать. Не получается – ещё раз попробовать. В конце концов получится. Без уверенности в себе ничего не добьёшься.

Сыновья Ольги имели некоторые способности, это признавали все учителя, но до сестры им было далеко; одарённость дочери Ольга заметила ещё в общезнании, когда устраивала «спектакли». Нина выступала лучше всех детей: пластичная, лёгкая, она отлично танцевала и пела, свободно делала кольцо и шпагат, мгновенно перевоплощалась из одного образа в другой, а главное, так искренне входила в роль, что и после «спектакля» подолгу не выходила из неё: идёт, при-

танцовывая, по общежитию, напевает, разговаривает с невидимыми героями. Случалось, неделями не возвращалась в реальность. В такие дни рассказывала Ольге про какие-то красочные, фантастические видения, или ходила съёжившись, с ускользящим взглядом, чтобы быть «неприметной мышкой», или убегала за общежитие, втыкала палки в землю и танцевала среди «деревьев» – за общежитием был пустырь, но она превращала его в станцию Правда, посёлок с палисадниками, – во всё то, что ей запомнилось из раннего детства.

– Странная девочка, – качали головами местные старухи.

– Что они говорят! – возмущалась Ольга. – Странная! А кто сейчас не странный?! Вся жизнь после такой чудовищной войны странная!

Ольга всё чаще заставляла дочь у окна отрешённо смотрящую вдаль. И во сне Нина по-прежнему плакала; иногда только всхлипывала, а иногда содрогалась от горьких рыданий; Ольга подбегала к её постели, будила, успокаивала и никак не могла понять, что видится девчужке по ночам, какие обиды переполняют её маленькое сердце. В Ольгу вселялась тревога за будущее дочери – в ночных плачах просматривалось определённое предзнаменование, отголоски уготованной судьбы.

Однажды Ольга около часа звала дочь ужинать, потом отыскала её у оврага: она пряталась в зарослях лебеды – её зрочки то расширялись, то сужались.

– Что ты здесь делаешь? – беспокоенно спросила Ольга.

– Прячусь от плохих людей!.. И почему они все как-то смотрят на меня?.. Иди, мамочка, сюда, спрячемся вместе, и нас никто не увидит!.. О боже мой, какие люди неискренние, мамочка... Все играют в жизни... И все говорят неправду... Но мне правду говорят сны.

– Нинуся, какие сны, что ты говоришь?! – Ольга взяла дочь за руку. – Посмотри, как много в жизни прекрасного! Эти травы, и цветы, и бабочки, и стрекозы!.. И сколько в вашем классе замечательных девочек! Разве они все говорят неправду? Этого не может быть!.. И в нашей семье никто не говорит неправды. Я не потерпела бы этого. И не нужно ничего выдумывать. Пойдём домой, я приготовила вкусный ужин, мы тебя уже ждали...

Нередко Нина выбегала в сад, танцевала среди деревьев или вставала на носки и отчаянно махала руками, пытаясь «взлететь». То она говорила, что «нельзя наступать на тени животных – они могут умереть», то писала письмо бабушке, которой давно не было в живых; и все вечера напролёт просиживала у старого «Рекорда» – прислонится щекой к радиоприёмнику, слушает, улыбается своим красочным фантазиям, неотвязным плавающим мыслям. Музыка околдовывала, парализовывала её чувство реальности. Иногда Нина представляла себя пианисткой, играющей в светлом зале, где танцевали принцы с принцессами; в такие минуты её глаза стекленели, а пальцы бегали по невидимым клавишам. Эти воображаемые картины делали Нину и счастливой, и несчастной. Счастливой – потому что она жила в выдуманном мире, а несчастной – потому что она не находила контакта с окружающей действительностью, никак не могла связать свой маленький мир с остальным огромным миром.

И поселковые женщины не раз говорили Ольге, что у Нины «какие-то странности».

– Она немного необычная девочка, – защищала Ольга дочь. – Впечатлительная, хрупкая... Потом, знаете, переломный возраст.

Ольга делала всё возможное, чтобы «заземлить» Нину, «закалить» её характер: по утрам поднимала делать гимнастику, вечерами звала играть в волейбол с поселковой молодёжью, часто каталась с ней в аметьевских оврагах на лыжах. Несколько раз ездила с Ниной в город на каток, где брала напрокат коньки и просила молодых людей покататься с её дочерью. Чтобы оградить дочь от насмешек, Ольга посылала Леонида встречать её из школы, а однажды собрала всех ребят в посёлке и строго отчитала:

–...Я всё ждала, когда у вас пробудится совесть и вы перестанете называть Нину всякими словами, но вижу, вы бесчувственные. Запомните – никакая она не «цыпочка» и не «воображала»! Она хорошая девочка. А если она чего не умеет, так научите. Вы же должны быть её друзьями... А она научит вас тому, чего не умеете вы. Например, танцевать и петь... И Нина прекрасно бежит на лыжах. Я уверена, она вас всех перегонит. Попробуйте соревноваться!..

В школе Нина была отличницей; учителя говорили о её способностях, примерном поведении, прилежании, но и отмечали «необычность, некоторое отклонение от нормы» – «задумчиво-сосредоточенный взгляд», «витание в облаках», «забывчивость». Зато в районной библиотеке, где Нина брала книги, её нахваливали без всяких оговорок; библиотекари называли «самой вежливой, образцовой читательницей»; по воскресеньям ей даже доверяли принимать и выдавать книги. Одно время Нина решила организовать детскую библиотеку в посёлке, собрала книги, завела картотеку на ребят, но читателями стали только дети Сладковых, остальные посмеялись над затеей «цыпочки».

Всё свободное время Нина читала классику, писала альбомные стихи, слушала по радио музыку. Она постоянно просила родителей записать её в музыкальную школу, но музыкальная школа находилась слишком далеко, в центре города, а на инструмент не было денег. Ольга решила найти репетитора и по объявлению познакомилась с пианисткой Чигариной.

Галина Петровна Чигарина, эвакуированная ленинградка, была нервной женщиной с болезненным воображением, но с доброжелательной улыбкой и мягким плавучим голосом. Она жила недалеко от Нининой школы на пятом этаже в коммунальной квартире, и соседи постоянно жаловались на её музицирование домоуправу. Галина Петровна носила старомодные платья и широкополую шляпу; она была некрасивой женщиной, но ходила, как королева, с балетной осанкой и, когда шла, не смотрела по сторонам; за ней тянулся шлейф резкого запаха духов. Когда она шла по улице, девчонки показывали ей язык, а мальчишки свистели, засунув в рот пальцы.

Ещё более гнусно вели себя соседи пианистки – они безжалостно подтрунивали над ней, без всяких границ дозволенного; посмеиваясь, говорили, что заходил, мол, её Пётр Иванович и обещал заглянуть попозже. Галина Петровна опускала голову, «не говорите глупостей» – бормотала и спешила в свою комнату. Но в комнате всё же подходила к зеркалу, надевала вечернее платье, пудрилась, прихорашивалась, то и дело поглядывая в окно.

Хромоногий Пётр Иванович никогда и не замечал Галину Петровну, и вообще не знал о её существовании; с утра все его мысли были направлены на свалку, где он выискивал «стоящие вещи», которые потом продавал на барахолке, а вечером, демонстрируя праздную лень, потягивал пиво в пивной.

Вначале только жильцы дома злословили над «чокнутой пианисткой», но со временем ей не давала прохода уже вся улица. Особенно изощрялись мальчишки, они неосознанно отпускали зловещие шуточки:

– Тётъ Галь! Он всё спрашивает о тебе. Сказал, что ждёт в пивной.

Одинокой больной женщине было нетрудно внушить несуществующую любовь; она стала рассказывать своим ученикам о любви Петра Ивановича, о его благородной душе...

Галина Петровна нашла у Нины «исключительные способности» и взяла её в ученицы.

Несколько дней спустя, направляясь к пианистке на урок, Ольга с дочерью внезапно услышали истошный крик и увидели женщину на противоположной стороне улицы; она кричала и смотрела в сторону дома Чигариной. Вскинув глаза, Ольга оторопела: от подоконника пятого этажа, как-то легко и невесомо, точно в замедленной съёмке, отделялась Галина Петровна. Босая, в розовой блузе и длинной тёмной юбке, она летела вниз, и её длинные волосы вились, как нераскрывшийся парашют. Она падала и придерживала рукой вздувшуюся юбку.

После этой трагедии Нина потеряла всякий интерес к занятиям в школе, дома перестала делать домашние задания и только и ждала, когда по радиоприёмнику начнут передавать классическую музыку, чтобы перенестись в прошлый век. Нина всё больше замыкалась в себе; ей казалось, что её никто не понимает и она никому не нужна, что всё в мире несправедливо и жестоко.

В семье постоянно не хватало самого необходимого: еды и одежды, керосина и дров; часто перед зарплатой приходилось занимать деньги у соседей и сослуживцев. Анатолий всегда вовремя отдавал долги и потому имел несколько постоянных кредиторов. Чтобы как-то

поправить бедственное положение, на лето Ольга сдала одну из комнат лётчику с женой. Другого лётчика приютили Дуровы.

Лётчики – красавцы в фуражках и кожаных куртках, всегда гладко выбритые, благоухающие одеколоном – три дня жили в казарме при аэродроме, на четвёртый приходили ночевать; иногда заглядывали только на пару часов – рассыпая шуточки, чмокали жён в щёки и снова уходили на работу. Их молодые жёны, пышнотелые украинки, были беременны; мучились от безделья и переживали небрежное отношение мужей. Вечерами они собирались у Ольги, и «сердечная, умная и добрая женщина» читала им прекрасные житейские лекции. Ей, почти сорокалетней, много пережившей, но сумевшей сохранить веру в себя и людей, все любовные обиды казались малозначащими. К Ольге по-прежнему тянулись – так тянется всё живое к доброму и чуткому. Как истинно хороший человек, она создавала вокруг себя атмосферу теплоты, доброжелательности, и каждый, общаясь с ней, стремился не только стать лучше, но и сделать что-то полезное для других.

Ольга всё ещё выглядела отлично; жизненный опыт прибавил дополнительную привлекательность её красоте, всему её облику. На людях Ольга никогда не падала духом, и никто не знал, каково ей было, когда она оставалась одна, какая тоска порой находила на неё. Оторванность от родины и выпивки мужа не давали ей покоя; она всё чаще нервничала, всё хуже спала. А тут ещё заболела Нина, учителя в школе уже настоятельно советовали Ольге обратить внимание на странное поведение дочери: на уроках рассеянна, рисует принцесс, отвечает невпопад, ни с кем не общается, сама с собой разговаривает, ни с того ни с сего смеётся и плачет и «всё делает не как все, постоянно оригинальничает»... Врачи порекомендовали временно оставить занятия.

Тоска Ольги сменилась ощущением безысходности. Временами ей казалось, что тревоги и опасности поджидают её повсюду, и обязательное десятилетнее проживание в Аметьево уже представлялось чуть ли не принудительной ссылкой, а невыплаченная ссуда за дом – кабалой. Выдержка покидала Ольгу. Осенью у неё произошёл нервный срыв и её положили в больницу. А спустя несколько дней резко ухудшилось самочувствие Нины.

Однажды Анатолий пришёл с работы раньше обычного, выпивши и, войдя в комнату, заметил, что дочь, прислонив ухо к радиоприёмнику, улыбается, хихикает и... разговаривает сама с собой. Когда из школы вернулись сыновья, Анатолий сидел на кухне и курил одну папиросу за другой; его рот был перекошен, взгляд выражал неимоверный страх.

– Идите посмотрите, что с Ниной творится, – дрожащим голосом проговорил он. – Она совсем помешалась. Какие-то выдумки, бред... Давайте отведём её в больницу.

Нина с нервной поспешностью согласилась пойти в больницу, по дороге рассеянна и неопределённо улыбалась, чмокала губами, запутывалась в разнонаправленности своих мыслей:

–...Я гуляла, встретила Татьяну Ларину. На ней было чёрное платье! Одежда ведь часть души женщины... У каждой вещи есть душа: у расчёски, у чашки. О боже! Их нельзя обижать...

Врачи «Красных домов» – больницы для душевнобольных – обнаружили у Нины «запущенную депрессию» и предписали немедленное лечение в стационаре.

В выходной день Анатолий с сыновьями навестили Нину, принесли ей вишню, крыжовник... Нина просилась домой, но Анатолий уговорил её «немного подлечиться».

После «Красных домов» зашли в больницу к Ольге. На вопрос: «Где Нинуся?» – Анатолий сказал, что она читает дома, но сыновья отвели глаза, и Ольга заподозрила неладное. На следующий день она выписалась и, узнав, где дочь, в смятении начала глотать воздух, потом прошла по комнате.

– Нину нужно немедленно забрать. Там она действительно может сойти с ума... Я представляю, какое там окружение... Таких, как она, полно. Любого можно брать с улицы и лечить. В определённые моменты у каждого бывают заскоки.

В тот же вечер она взяла дочь под расписку.

...День шёл за днём, в жизни Анатолия и Ольги на смену неприятностям приходили удачи, огорчения чередовались радостями. Анатолий по-прежнему после работы заходил в пивную, но сильно выпивал только с полочки. Нина урывками, но всё же посещала школу. Леонид,

закончив десятилетку, решил уехать в Москву поступать в художественное училище. Ольга не раздумывая поддержала его:

– Как только устроишься, подыскивай для нас дом на окраине. Мы здесь не задержимся, вот увидишь. Все должны жить там, где родились. Даже птицы возвращаются к местам родных гнездовий...

Но пришлось задержаться ещё на четыре года.

Все эти годы Ольга переписывалась с сыном. Леонид не поступил в училище, но устроился бутафором в театр; жил в общежитии и «усиленно занимался живописью». О родственниках сообщил, что был у них только один раз. «Все они – ужасно ограниченные люди и постоянно скандалят». Сообщил, что в квартире новые жильцы, а родственникам на три семьи оставили две комнаты... Потом Леонид служил в армии, а демобилизовавшись, приехал в Казань всего на два дня; повидал родных и вновь отправился «завоёвывать Москву». Через месяц Ольга получила от него письмо: «Снял комнату, временно прописался, снова устроился в театр, но уже декоратором...» Вскоре он женился, прислал фотографию жены и сообщил, что, как только заработает на кооперативную квартиру, поступит в художественный институт.

Чтобы не расстраивать старшего сына, Ольга писала, что в семье всё хорошо, скоро они продадут дом и приедут. На самом деле всё обстояло иначе. У Анатолия из-за постоянных выпивок вновь разболелся желудок, и Нина ещё дважды побывала в больнице – оба раза врачи чуть ли не насильно отрывали её у Ольги. Эта непонятная болезнь дочери стоила Ольге мучительных переживаний, её нервы расшатались настолько, что она потеряла сон; временами ей казалось, что она идёт по шаткому подвесному мосту, с которого вот-вот упадёт в пропасть, но всё-таки она находила в себе силы, чтобы не впасть в отчаяние.

...Позднее Ольга вспоминала:

– В те годы бывали очень трудные минуты, но я не опускала руки, не теряла контроль над собой и верила, что смогу победить обстоятельства. Как герои Джека Лондона. Мои любимые герои. Сильные, решительные, которые никогда не сдаются...

В какой-то момент Ольга решила устроить дочь на работу.

– Новые люди, новая обстановка немного встряхнут её, – сказала Анатолию и устроила дочь на автобазу выписывать наряды.

Но вскоре Нина заявила, что «на работе все люди грубые и ругаются», что там «жуткие запахи, от которых болит голова».

Теперь Ольга много курила, а её волосы седели прямо на глазах. Закурив, она представляла свою семью в квартире где-нибудь у Чистых прудов. «Пусть маленькую, однокомнатную квартирку, – думала она. – Для счастья много не надо...»

В Анатолии Ольга уже не видела поддержки и всю хозяйственную работу приняла на себя: носила воду, убирала урожай, договаривалась о дровах на зиму. Анатолий теперь еле вставал по утрам; случалось, опаздывал на работу, но ему всё прощали за былые заслуги, за двадцать лет безупречной работы. Ольга отвела мужа к врачу-психиатру.

– Немедленно бросьте пить, – сказал врач Анатолию. – Вы же умный, интеллигентный человек. Страдает ваша жена, дети. Подумайте о них.

– Я не могу, доктор, – безнадежно, с усталым упорством твердил Анатолий.

– Знаешь что! Ты мужчина или тряпка?! – отчитывала Ольга мужа по дороге домой. – Мало мне больной дочери, ещё нянчиться с тобой! Вот ещё! Очень надо!.. Господи, прямо земля уходит из-под ног! И всё война проклятая! Исковеркала нашу жизнь... Нужно немедленно перебраться в Москву, иначе всё это плохо кончится...

– Бесполезно, Олечка, – тяжело вздыхал Анатолий. – Да и кому мы в Москве нужны? И вообще, по-моему, глупо нам с тобой начинать новую жизнь в сорок с лишним лет.

– Чепуха! – возмутилась Ольга. – Начинать всё заново никогда не поздно. И в сорок, и в шестьдесят лет.

Анатолий только качал головой.

– И с завода меня не отпустят, и прожили мы здесь мало – продать дом сможем только через пять лет. Удастся пораньше – тем лучше. Но всегда надо настраиваться на худшее, тогда будет легче переносить неудачи.

– Какой дом, какая работа! – почти вскричала Ольга. – Здоровье ребёнка дороже всего... Господи! Неужели каждому отпущен лимит счастья, и мы свой исчерпали?! Но нет, я просто так не сдамся!

Решительная, уверенная в своей правоте, она снова пришла в дирекцию завода и целый час страстно и жёстко рассказывала о своей семье, и ей наконец подписали разрешение на продажу дома раньше срока и об увольнении мужа «по собственному желанию».

Начались хлопоты: расклейка объявлений о продаже дома, подписание бумаг у нотариуса, при этом требовали справки на тёс, купленный много лет назад, на каждое дерево, каждый лист шифера. Если справок не было, просили привести свидетелей; но и справкам, и свидетелям не очень-то верили – из райжилотдела приезжал инспектор и собственноручно обмерял участок, подсчитывал деревья, всё прикидывал, взвешивал; два месяца длилась волокита с куплей-продажей – бюрократическая машина делала всё, чтобы потрепать человеку нервы.

Дом купили молодожёны, приехавшие с Севера. Часть мебели Ольга раздарила посельчанам, часть оставила новым жильцам; несколько дней с младшим сыном связывала тюки, заказывала грузовик, отправляла контейнер с вещами в Москву; и ещё носила передачи дочери, которая снова была в больнице, разыскивала по пивным мужа и с последними отчаянными усилиями тащила его домой... Анатолий так и отправился на вокзал нетрезвым, придерживая за поводок собаку; Ольга несла чемодан, Толя – сумку с продуктами. Молодожёны просили оставить собаку «охранять дом», но Ольга порывисто заявила:

– Как можно?! Об этом и слышать не хочу! Что вы говорите?! Об этом не может быть и речи. Челкаш – член семьи. Он поедет с нами, я взяла на него билет.

– Эх, Анатолий! Зря уезжаете, – говорили посельчане, когда Анатолий обходил их с прощальными визитами.

– Что я могу сделать? Ольга хочет, – натянуто улыбаясь, отзывался Анатолий; ему уже было всё равно, где жить.

Поезд отходил вечером. За последние дни Ольге особенно досталось, и, как только сели в вагон, она прямо за столом уснула, а когда поезд тронулся, начала во сне разговаривать вслух:

– О господи, за что на нас свалились такие суровые испытания?! За что?!

#### 4.

На Казанском вокзале их встретил Леонид. Они стояли на перроне, загорелые «провинциалы», усталые, ошеломлённые гулом большого города; Ольга нервно листала записную книжку, Анатолий, опухший, с тусклым взглядом, держал волновашую собаку, Толя растерянно смотрел по сторонам. Был август, но солнце пекло, как в середине лета.

Ольга позвонила сестре, попросила приютить на два-три дня, пока они не купят дом в Подмосковье.

– Что ты, Ольга! – заявила Ксения. – Где вас разместить, сами еле поворачиваемся. Виктор с женой и я с Тюфяком живём в комнате, перегороженной шкафом, а у Алексея слепая Люська и двое детей...

– Я и знал, что мы не нужны твоей родне, – хмыкнул Анатолий.

– Тётка Ксения ещё ничего, – сказал Леонид, – на первое время приютила меня, а вот дядька Алексей делал всё, чтобы меня не прописали, даже временно. Он негодяй!

Ольга решила поехать на станцию Фирсановка, разыскать тётку Лукерью, сестру матери, и временно остановиться у неё. Вчетвером с собакой они перешли на Ленинградский вокзал, сели в электричку и через полчаса приехали в красивый лесистый посёлок...

Раньше у Лукерьи была большая семья – семь сыновей, но её муж умер, а четверо старших сыновей погибли на фронте; правда, Лукерья не верила в их гибель и не теряла надежды на их возвращение. Ещё один сын работал на Севере, двое подростков жили с матерью. У Лукерьи был большой, добротный дом.

– Подождите меня здесь! – Ольга показала родным на лужайку и постучала в дверь.

Лукерья топила печь; узнав племянницу, всплеснула руками, захохла, усадила Ольгу за стол.

– Вот, приехали из Казани, – проговорила Ольга. – Хотим купить дом где-нибудь в Подмоскovie... Пустишь нас, тётя, на несколько дней к себе, пока я не найду жильё?

– Не могу, Ольга, – покачала головой Лукерья. – Сыновья у меня, да и милиция что скажет?! Щас ведь не прописывают... Так что не обесудь...

– Эх, ты! – возмутилась Ольга. – Ты забыла, как до войны приезжала к моей матери и всегда останавливалась у нас?! А нам не хочешь помочь! У тебя такие хоромы!

Ольга порывисто встала и хлопнула дверью. «В конце концов за деньги любой пустит», – подумала она и пошла по посёлку; и уже отошла довольно далеко, как вдруг её остановил крик. Обернувшись, она увидела, что к ней бежит Лукерья – платок спал, волосы растрепались.

– Оля! Что же я, дура!.. Совсем спятила на старости лет. Родную племянницу не пустила. Зови скоренько своих...

Подойдя к дому, они увидели, что из открытой двери вырывается пламя.

– О-о! – застонала Лукерья. – Господь-то меня покарал!

Анатолий с сыновьями бросились к колодцу и вскоре сбили пламя водой, только обгорелые стены дымили. В дом вошли чумазые, мокрые.

– Дальше вам надо ехать, в конец области, – сказала за чаем Лукерья. – Здесь не пропишут... Тут всё перенаселено.

Утром Лукерья попросила оставить ей собаку.

– Моя-то очумилась и убежала... А этот – хороший пёс, сразу видеть... Сад сторожить будет.

Ольга покачала головой:

– Что ты, тётя! Как можно такое говорить?! Челкаш ведь член нашей семьи. Самый преданный из всех на свете. Мы его сильно любим.

Ольга купила четвёртую часть большого деревянного дома на станции Ашукинская за пятьдесят километров от города. Посёлок располагался по обеим сторонам железнодорожного полотна: станция, рынок с крытыми прилавками, магазин повседневного быта, продовольственная палатка, почта, медпункт, отделение милиции, клуб с «пятакон» для танцев и одноэтажные дома с палисадниками и огородами. Жильё состояло из двух маленьких комнат; к ним примыкал крохотный участок в одну сотку и сруб-сарай; удобства были те же, что и под Казанью: отопление печное, вода в колодце на улице через два дома, туалет на участке... В доме жили ещё три семьи. Всё было намного хуже, чем в Аметьево, зато недалеко от Москвы, всего в часе езды на электричке.

С одной стороны к Ашукино примыкала станция Софрино с кирпичным заводом и старой веткой к карьерам, с другой – полустанок в лесу Калистово. Теперь, отправляясь в Пушкино оформлять покупку, проезжали мимо станции Правда, на которой когда-то жили. За время войны там ничего не изменилось: всё так же к посёлку подступал лес, всё те же станционные постройки – всё было, как прежде, только раньше на Правде было множество цветов, а теперь они исчезли.

Жильё оформляли на Леонида, имевшего московскую прописку. Каждого начальника Ольга упрашивала, каждой секретарше делала подарки. Раньше Ольге всегда везло – её обаяние обезоруживало, располагало к ней людей, но теперь она изменилась и редко улыбалась; нотариусам, паспортисткам, домоуправам просто протягивала подарки, и её справки подписывали гораздо быстрее, чем когда она только упрашивала. «Надо же, до чего я дошла! – рассуждала Ольга. – Раньше никогда не унижалась и вообще за себя не просила, только за других. А теперь... Но ничего, это временная уступка. Дело стоит того».

Несмотря на подарки, оформление затянулось на три недели, и постоянно прописали только Ольгу с младшим сыном. Анатолию предстояло получить прописку по лимиту – на стройке... Он устроился разнорабочим в городе Клине: старший инженер-конструктор копал канавы, прокладывал трубы и кабель; домой приезжал только на вы-

ходные дни, всегда нетрезвым, подолгу сидел у печки, склонив голову, ко всему безучастный.

– Вот идиотизм, – бормотал. – Я со своим опытом и знаниями работаю лопатой. Питаюсь бульонными кубиками. Вот только в выходные и ем домашний суп... Но семью-то навещаю нелегально. В любой момент придут и схватят меня. Я ж без прописки... Живу под страхом. Боюсь милиционеров, контролёров в электричках, домоуправа в Клину, всех начальников – прямо чувствую себя преступником. Отвратительно всё это... И что происходит?! Раньше усадьбы громили, а теперь новые дворяне... Там, в Клину, у начальства такие особняки! На «Волгах» катаются, охотятся в заповедниках... Но те, прежние дворяне, были в высшей степени образованными людьми, были интеллигентами, а эти... Им главное – обогатиться... И как такие люди могут строить светлое будущее! Зло не делает добро...

Постоянная нервогрёпка, и боль за погибших друзей, память о которых с переездом в Подмоскowie всколыхнулась с новой силой, и тревога за дочь, которая осталась в казанской больнице, и раздражение от дурацких законов и несправедливости, с которыми они столкнулись в Московской области, – всё это неотвратимо подкашивало здоровье Анатолия. Настоящее он не понимал и не принимал, прошедшие годы считал сплошной борьбой за выживание с редкими мирными передышками и только недолгое довоенное время на Правде – по-настоящему светлым мигом, но давно похороненным под пеплом войны.

Ольга наскоро купила кое-какую мебель в Пушкино, привезла её на грузовике, через неделю пришёл контейнер с вещами из Казани, и комнаты приняли жилой вид.

Спустя месяц Ольга выхлопотала разрешение на перевод дочери из казанской клиники в районную больницу Лотошино под Волоколамском и послала деньги в Казань, чтобы Нину привезла медсестра.

Ольга встретила их на вокзале. Нина выглядела плохо – лицо жёлтое, руки мелко дрожат, она постоянно что-то бормотала и, точно слепая, всё трогала на ощупь.

– Такая спокойная девушка, – сказала о Нине медсестра. – Всё время смотрела в окно, никому не мешала.

В Ашукино Нина вяло поздоровалась с родными, села на стул и обхватила голову руками, как бы огораживаясь от всего мира. Дома она пробыла всего три дня: лежала на тахте, уставившись в потолок, или замкнуто сидела перед окном, вздыхала и что-то бессвязно бормотала. На все попытки Ольги вывести её из угнетённого состояния Нина недовольно морщилась:

– О, боже мой, мамочка, оставьте меня в покое! Разве вы не понимаете, что я тороплюсь на бал... меня давно там ждут, там уже играет музыка...

Её болезненное воображение уже далеко оторвалось от реальности.

В Лотошино Нину поместили в палату тяжелобольных. Врачебная комиссия предложила Ольге оформить инвалидность первой группы и пенсию – пятьдесят рублей, с условием, что больную время от времени будут брать домой. Но Ольга настояла, чтобы дали вторую группу, пусть и с меньшей пенсией, – она была уверена, что рано или поздно дочь будет работать, и вообще рассматривала инвалидность дочери как временную.

Узнав, что работникам железной дороги через три-четыре года дают жилплощадь в черте города, Ольга устроилась на курсы проводников и через месяц получила железнодорожную форму и стала ездить на скорых поездах до Буя и обратно; трое суток в пути, двое – дома. Половину недели младший сын, уже семиклассник, жил один, и Ольга постоянно тревожилась за него; то и дело звонила старшему сыну, просила в её отсутствие почаще приезжать в Ашукино. Леонид приезжал. Братья пилили и кололи дрова, топили печь, готовили еду. Леонид рассказывал о работе в театре, о новых постановках. Толя с завистью слушал брата, жаловался, что в школе нет драмкружка; его детское увлечение оказалось живучим – он мечтал стать актёром.

– Не думай, что в театре всё прекрасно, – говорил Леонид. – Здесь мало таланта, надо заявить о себе. Надо, чтобы тебя заметили, дали роль. Много зависит от знакомств, а то и от случая... Знаешь, сколько оканчивает театральные училища? Сотни! А в театры берут единицы.

– Всё равно буду актёром, – упрямо твердил Толя.

Несколько раз он приезжал в Москву и смотрел спектакли в театре брата, а по возвращении из поездки матери восторженно рассказывал ей обо всём увиденном.

– Я верю, из тебя выйдет хороший актёр, – говорила Ольга. – В искусстве главное – искренность. А уж это в моих детях есть. Вы все способные, слава богу. Вот только чрезмерно скромные. А кто хочет добиться успеха, должен обладать честолюбием, стремиться к признанию и славе.

...Проводницей-напарницей Ольги была Анна Станиславовна, бывшая учительница, которая пошла на железную дорогу, чтобы иметь «сносный заработок».

– Я проработала в школе семнадцать лет и получала сто рублей. Можно на них прожить? А у меня взрослая дочь, то одно надо, то другое. Не будет же девушка одеваться хуже всех...

Анна Станиславовна объяснила Ольге, каким образом в рейсах можно зарабатывать деньги: разглаживать под матрацем использованные простыни, экономить на сахаре, сдавать бутылки, оставшиеся от пассажиров.

– Ну и подарки, – говорила Анна Станиславовна. – Бывает, что-нибудь дарят. Но главное – левые пассажиры. Желающих сесть на поезд всегда много. Но у нас такая система: в кассах билетов нет, а в составе всегда есть свободные места – бронь не возьмут, или ещё что. Этих левых мы и сажаем. Ревизоры всё знают, заходят и спрашивают: «Сколько?» Я говорю: «Двое». А у меня четверо. Даю им десять рублей, и они не проверяют.

– Извините, Анна Станиславовна, но я этим заниматься не буду, – решительно заявила Ольга. – Вы – пожалуйста, а я нет. У меня есть определённые принципы. Знаете, мой муж всегда говорит: «Главное, Олечка, чистая совесть». Я пошла на железную дорогу только ради жилплощади. Как только получу, сразу уйду. Подарки – дело другое.

Закончив рейс, проводницы пылесосили вагон, сдавали бельё в прачечную и разъезжались «на отдых». Но у Ольги отдыха не было. С вокзала, позвонив Леониду и узнав, как у него дела, заезжала в Ашукино проведать младшего сына и тут же спешила в Лотошино к дочери.

Добиралась долго: два часа на электричке, потом ещё на попутных машинах; в дороге рассуждала: «Я всё время в пути, на ногах, на колёсах. Всё несусь в какой-то колеснице, вся издёргалась, и нет у меня ни дня покоя... И семью всю разбросало. Толя в Клину, Нинуся в Лотошино, один сын в Москве, другой в Ашукино. Господи, что ж это такое?! За что нам такие мытарства? И когда мы снова соберёмся вместе?.. А люди живут спокойно. Днём работают, вечера проводят в семье, у телевизора... Обещают квартиру через три года. Это ж целая вечность!.. Впрочем, главное мы сделали – выбрались из Казани. Главное – начать. И у нас есть собственное жильё... Толю всё равно пропишут. Никуда не денутся. Я добыю! Обязательно пропишут! Это чудовищная нелепость – лишать его возможности жить в семье! Какая-то дикость! Посмотреть бы в глаза тем бездушным людям, которые придумывают подобные дикие законы!»

Освоившись на новом месте, Ольга навестила родных. Москва сильно изменилась: появились новые станции метро и высотные здания, машин на улицах стало намного больше; Чудовку переименовали в Комсомольский проспект, в Лужниках построили стадион, а на месте храма Христа Спасителя – бассейн, но, как сообщила Ольге Ксения, «в нём люди тонут». Родные разочаровали Ольгу: как Леонид и сообщал, они действительно стали «ограниченными людьми», серыми личностями: только и жили от зарплаты до зарплаты и ссорились из-за пустяков между собой и с новыми жильцами. Ольга выслушивала их мелкие претензии друг к другу и думала: «Они остановились в своём развитии, и все их таланты заглохли. У них нет никаких интересов, и что особенно возмутительно – живут в столице, но ни в театры, ни в кино не ходят».

– Ты такая счастливая, – сказала сестра Ксения. – Бывает же: так человеку везёт!

– Ты, сестричка, мягкая, улыбчивая только внешне, для блезира, – усмехнулись братья, – а внутри-то, оказалось, твёрдая, у тебя железная воля. Надо же, не успела приехать – купила дом, прописалась, устроилась работать. Тебе явно кто-то помог.

Не обращая внимания на сарказм братьев, Ольга вздохнула с лёгким подобием улыбки.

– Слава богу, пока всё обошлось. Скоро Толю пропишут, и совсем будет хорошо, вот только бы Нинусю поставить на ноги... И никто мне не помогает. Глупости! Я всегда рассчитываю только на свои силы.

А по ночам Ольге снились сны – они всё ещё живут в Аметьево и никак не могут уехать в Москву. Ей снился посёлок, занесённый снегом, глубокие сугробы, морозы, ветры... Она просыпалась, закуривала, смотрела на спящего сына, думала о дочери и муже, её сердце щемило, покалывало... Наутро Ольга выбрасывала разные мелкие вещи, привезённые из Казани, – обрывала нити, связывающие с прошлым.

Весной Ольга посадила на участке две вишни и ромашки. Весной же поехала в Пушкино и добилась разрешения на временную прописку мужа, но паспортистка ашукинской милиции поставила штамп «постоянно».

– Что они там дурака валяют?! – недовольно сказала, заполняя бланки. – Ведь не ссыльные, да и за пятьдесят километров от Москвы. (О том, что отцу и мужу надо жить в семье, она не сказала).

Анатолий удивился неожиданной прописке и с неделю праздновал «маленькую победу».

– Надо же, от одного росчерка паспортистки зависит наша судьба! Но, Олечка, ты действительно везучая... Твоей энергии хватит не только на простую электростанцию, но и на атомную.

Это было точное определение, но опять-таки энергия «атомной станции» шла всего лишь на движение маленького парома, а Ольге, с её природным обаянием и даром убеждения, деловыми качествами и организаторскими способностями, вполне по силам были масштабные дела.

– Сейчас и надо быть пробивной, – продолжал Анатолий.

– Именно, а не слабовольным слюнтяем, как ты.

Ольга всё ещё считала пьянство мужа распущенностью, не верила, что это болезнь.

С пропиской Анатолия сразу взяли инженером на радиозавод на станции Зеленоградская. В первый же выходной он отправился в Москву, решил навестить родственников жены. По просьбе Ольги

его сопровождал Леонид, который по воскресеньям приезжал в Ашукино.

– Проследи, чтобы отец не выпил лишнего, – сказала Ольга сыну. – И привези его обратно, а то ещё зайдёт в пивную на станции.

По пути к родственникам Леонид сказал отцу:

– Только не разговаривай с дядькой Алексеем. Он негодяй. Я уже говорил: он сделал всё, чтобы меня не прописали у тётки. Боялся, буду претендовать на жилплощадь. Идиот! Из-за него мне приходилось ночевать чёрт-те где – на вокзалах, в подъездах... Теперь он мой враг, я с ним даже не здороваюсь. Если начнёшь с ним разговаривать, оскорбишь меня. Поздоровайся холодно – и всё, договорились?

– Ладно, – пообещал Анатолий, но не сдержал слово.

С Алексеем они встретились на лестничной клетке, когда подходили к квартире, а он из неё выходил.

– О, кого вижу! Толька, дорогой! – вскричал Алексей, бросаясь к Анатолию.

Они обнялись.

– Пойдём отметим встречу! – Алексей потянул Анатолия к выходу на улицу.

– Пап, пошли, – Леонид кивнул на дверь.

Анатолий шмыгнул носом, поправил очки.

– Иди, Лёнька, иди. Я подойду попозже...

Он вернулся через час, выпивши.

– Понимаешь, Лёнька, – начал оправдываться, – ведь мы были друзья в молодости... И столько лет не виделись... И он жалеет, что так поступал с тобой...

Леонид так и не понял, правда это или выдумка для оправдания своего поступка.

Вскоре Ольга привезла из больницы дочь, и в воскресенье, когда Леонид приехал в очередной раз, вся семья наконец была в сборе. Сходили в лес за грибами, искупались в озере близ Калистово.

– Знаете что! Всё наладится, вот увидите! – воодушевилась Ольга по пути домой. – Наш глава семьи перестанет увлекаться спиртным, Нинуся поправится, – она обняла дочь. – Мальчики поступят в институ-

ты. Это моё самое горячее желание... Всё устроится, вот увидите. Знаете, что такое счастье? Это любовь в семье, это прочность среди родных. Хорошая, дружная семья – лучшее, что может быть у человека.

Вечером за ужином Ольга вспомнила книгу, которую читала в поездке, и пересказала истории, где показывались только привлекательные, светлые стороны жизни.

– Конечно, можно изображать красоты, но главное – судьбы героев, – сказал Анатолий. – Только тревога за судьбу героя способна зацепить наше сердце, – вооружённый классикой, он привёл примеры из Бунина, Куприна.

Его поддержал Леонид:

– наших писателей, которых сейчас возносят, противно читать. Молодёжь читает тех, кто показывает подлинную жизнь, а не лакированные картинки. То же самое в театре: то, что хвалят, спокойно можно не смотреть – это фальшивое искусство.

– И всё же, я думаю, искусство должно вселять в нас уверенность, заражать оптимизмом, – не сдавалась Ольга. – Жизнь такая жестокая, и надо поддерживать людей... Возьмите довоенные комедии. Конечно, там много было надуманного, но они помогли нам жить. А песни! Какие замечательные были песни! – Ольга вполголоса запела.

Вздыхнув, Анатолий поправил очки и, смущённо улыбнувшись, стал подпевать. Потом и дочь, и сыновья присоединились. Снова пели всей семьёй, как когда-то в общежитии у буржуйки. Их соседи жили в добротных домах с мансардами, забивали комнаты современной мебелью, разводили в парниках овощи на продажу, а в полутёмных, пропитанных дымом комнатах «казанцев» (так прозвали семейство Ольги поселковые) стояла дешёвая мебель, на столе – скудный ужин, но их жильё было островком духовности в посёлке.

– Всё устроится, вот увидите, – в очередной раз повторяла Ольга. – Неужели мы, пятеро способных людей, не пробьёмся, не докажем ей, жизни, что мы чего-то стоим?! Правда, Челкаш?!

Пёс завертелся, выражая полное согласие с хозяйкой.

Но через две недели у Нины начались головные боли; подавленная, потерянная, она ходила по комнате из угла в угол, время от времени

издавала нервный смешок и плакала. А по ночам испуганно вздрагивала и вскрикивала. Её уже ничто не интересовало; на вопросы отвечала односложно, раздражённо – даже от родных она оберегала свой внутренний мир. Нину пришлось вернуть в больницу.

А потом погиб Челкаш. В то воскресенье Ольга была в поездке, Анатолий с утра направился в пристанционную пивную, а Толя пошёл с собакой в лес за грибами. На опушке леса Челкаш учуял суслика и помчался за ним, и вдруг из-за кустов выкатил грузовик. Там никогда не ездили машины, и дороги-то не было, но внезапно среди листвы возникла грохочущая трёхтонка и медленно покатила по цветам. Пёс ударился о бампер и отлетел в сторону... Толя пришёл в себя, только когда Челкаш затих. На его крик подошли какие-то грибники, отнесли собаку в тень, прикрыли ветвями.

Когда зарёванный подросток вернулся домой, Анатолий лежал на диване, от него разило вином.

– Погиб Челкашка?! – переспросил он, привстав с дивана. – Что ты говоришь?! Где погиб?.. Как же так?! Что ж это?! Столько с нами пережил, и вот на тебе! Так нелепо погибнуть!.. Вот чёртова жизнь!..

Толя съездил в Москву за братом, и они похоронили собаку на опушке леса среди берёз. Из рейса вернулась Ольга и, узнав о гибели «члена семьи», со стоном выдохнула:

– О господи! Бедный наш Челкашка! Мне ужасно жалко его. И надо же! Я в поездке почувствовала, что с ним что-то случилось, он приснился мне во сне больным... Ужасно жалко Челкашку! Он был такой верный, исполнительный! Преданный долгу и семье. Эти качества я ценю больше всего. Наверно, в прошлой жизни я была собакой, и не зря Евгения Петровна в Казани звала меня «собакой»... Не хотелось бы, чтобы Анатолий Владимирович выпивал, но ладно уж... Сходите, ребята, в магазин, купите вино, надо помянуть Челкашку.

Когда разлили вино, Ольга сказала:

– Челкашка был лучше нас всех. Никогда на нас не злился, всегда приветливо вилял хвостом, был таким ласковым! Он единственный, кто никогда меня не огорчал. Как говорится, пусть земля ему будет пухом!

Выпив вино, Ольга продолжила:

– Одно хоть немного успокаивает – что Челкашка прожил долгую жизнь. Если перевести его возраст на человеческий, он был старше нас всех... И мы его горячо любили, заботились о нём... И, конечно, мы всегда будем помнить о нём... Но что я хочу сказать. Теперь мы должны особенно сплотиться. В несчастьях надо держаться друг за друга, вместе легче всё пережить... И ни в коем случае нельзя раскисать, опускать руки. Жизнь продолжается, и надо идти вперёд.

В середине лета Анатолий поехал в Москву разыскивать мать своего друга Ивана; вернувшись, сказал жене:

– Знаешь, кого я застал в квартире? Кого бы ты думала?.. Ванюшкиного отца! Представляешь?! Его реабилитировали... Мать Ванюшки умерла, а отец, отсидев десять лет, вернулся. Он порассказал такое! На многое открыл мне глаза. С ним сидели учёные, генералы. Многие сидели по делу, но немало пострадало и невинных. Что говорить, если даже наш авиаконструктор Туполев сидел. Сталин был тираном, теперь это яснее ясного. Ванюшкин отец уверен, что Ленин, и особенно Троцкий, были ещё хуже. Они ненавидели русский народ, были просто палачами... В самом деле, они устроили гражданскую войну, натравили русских друг на друга, уничтожили миллионы людей. А кто такие были кулаки? Самые трудолюбивые крестьяне... Сталин хотя бы укреплял страну, а эти только всё разрушали. Не случайно столько лучших русских уехало после революции. Кто не успел уехать, тех посадили.

– Когда-нибудь их всех вспомнят, – твёрдо сказала Ольга, – и напишут о них, как о декабристах. Как ни замалчивай, а правда через всё пробьётся.

Отец Ивана предложил Анатолию перейти в ОКБ автоматике в пригороде Москвы; посоветовавшись с женой, Анатолий сменил работу... Его оформили старшим инженером и обещали в ближайшем будущем предоставить жильё в черте города.

Некоторое время Анатолий добросовестно относился к работе, но потом сорвался. Он уже был серьёзно болен – по утрам, если не опохмелялся, его руки дрожали, глаза слезились, а губы нервно подёргивались. Случалось, он опаздывал на работу, устраивал затяжные

перекуры, но, войдя в форму, за несколько дней выдавал чертежей больше, чем многие инженеры отдела, причём сослуживцев поража-ло его умение чертить некоторые детали без рейсшины, от руки. Его чертежи не раз брали на проверку, но всё оказывалось предельно точ-ным. «Мастерство от небольшого количества выпивки не теряется», – усмехался про себя Анатолий.

Но «небольшое количество» всё чаще переходило в большое, и то-гда уже «мастеру чертежей от руки» было не до работы. Раза два на-чальник отдела тактично, незаметно для всех приглашал Анатолия в свой кабинет и крайне вежливо просил поберечь своё здоровье, подумать «если не о себе, то хотя бы о коллективе», которому он «нужен решительно и безоговорочно». Но болезнь Анатолия уже зашла слишком далеко. В ОКБ он шёл, словно по принуждению, в отделе был замкнутым, ни с кем не общался, а во время собраний то и дело отпускал насмешливые, едкие словечки.

– Всё отвратительно, – говорил дома жене. – И на новой работе тоже. На собраниях сплошное единогласие. Люди забыли про честь, совесть. Слушают ложь и молчат. Ясно, молчат, потому что запуганы, ведь такая коса прошлась по стране. Мы обманутое поколение, вот что я скажу тебе, Олечка.

– Неправда! – возмущалась Ольга. – Мы не обманутые. От нас многое скрывали, но мы догадывались. И потом было много хоро-шего, ты забыл. Вспомни довоенное время и энтузиазм молодёжи. Как комсомольцы уезжали на стройки... А то, что сейчас все голосуют единогласно, так сами виноваты. Я, например, никогда не молчу пе-ред лицом несправедливости... Ты никогда мне не докажешь, что всё плохо. И я убеждена, что справедливость рано или поздно восторже-ствует.

– Это всё, Олечка, слова. Ты всегда смотрела на мир сквозь розовые очки. Конечно, это неплохо – во всём находить прекрасное, но реаль-ная жизнь далеко не прекрасна. Скорее, наоборот – жестока и неспра-ведлива. О каком братстве может идти речь, когда в электричках хам-ство, ругань. А здесь, в Ашукино, убожество. Смешно: двадцатый век, а мы живём, как в каменном. Топим печку, носим воду...

– Топить печку – одно удовольствие, – вставила Ольга. – Русская печка – самое надёжное отопление.

– И участки с курятник, – продолжал Анатолий. – В Аметьево хотя бы был простор, полно знакомых. Зря мы оттуда уехали.

– Нет, не зря, – упорствовала Ольга. – Об этом и говорить нечего. Там мы все зачали бы. И не забывай, Ашукино это всего лишь временное пристанище, в скором времени мы обязательно переедем в Москву.

– Вот и получается, что мы тратим лучшие годы на всякие переезды, поиски жилья, прописки... И работаем только ради денег... Да и вообще жизнь далеко не прекрасна, сплошная борьба за выживание.

– Нет, прекрасна! И ты это знаешь не хуже меня. Посмотри, сколько в электричках замечательных людей. И почти все читают... Студенты готовятся к лекциям, изучают языки... Разве не так?! Некоторые, конечно, ругаются. Но их можно понять – люди устают, и дорога утомительная... Знаешь, сколько людей живет в пригороде? Тысячи! А электричек мало. Но ведь это не вина людей... Это вина министерства железных дорог... И потом, хорошо, скажи мне, пожалуйста, а наше прошлое, а наши дети – разве это не прекрасно?! О чём ты говоришь?! И у нас ещё впереди будет много хорошего, я в этом абсолютно уверена. Просто сейчас мы ещё не устроились, поэтому у тебя такое настроение, но всё наладится, вот увидишь!

Ольгу назначили кондуктором поездов дальнего следования, затем перевели в проводники пассажирских поездов Москва – Владивосток. Неделю она ехала на Дальний Восток, неделю – обратно, неделю отдыхала. Пассажиры любили Ольгу, не раз писали ей благодарности, дарили подарки. За неделю дороги попутчики в купе становились друзьями, при расставании обменивались адресами, договаривались приехать друг к другу в гости, но, как правило, большинство таких знакомств продолжения не имели. Среди пассажиров случались и ссоры, и драки, но даже в самых безнадежных ситуациях Ольга всегда оставалась спокойной, со всеми находила общий язык, слова, которые гасили вспышки гнева. Часто возникали раздоры на национальной почве, но Ольга быстро всех примиряла всего лишь одним доводом:

–...Есть огромная разница в любви к своему народу и нелюбви к другим народам. Вот говорят, татары злые, а я долго жила в Татарии и знаю, какие это прекрасные люди... Или возьмите немцев. Я до войны была знакома с немцами, это были чудесные люди, я знала их только с лучшей стороны. А негодяи есть в каждом народе, но по ним нельзя судить обо всех...

Зимой работать стало намного тяжелее. В любую погоду – в мороз и метель – на глухих полустанках приходилось таскать уголь в мешках для отопления вагона и титана. Бывали и аварии, а однажды в вагоне ехали амнистированные уголовники и, после того как Ольга попросила их не сорить, они подкараулили её в тамбуре и пригрозили ножом.

Кто-то из пассажиров рассказал Ольге про китайскую медицину и иглоукалывание, которое вылечивает от всех болезней. Ольга решила перейти на поезд Москва – Пекин, чтобы свозить дочь в Китай, но в управлении сказали:

– На международные рейсы оформляют только проводников с большим стажем.

Ольга ездила по всей Сибири до Дальнего Востока и позднее с улыбкой рассказывала, что во время стоянок купалась во всех сибирских реках, и в Байкале, и в Японском море. Несколько раз, останавливаясь в Омске, Ольга пыталась разыскать сестру Анну, но это ей не удалось. «Поразительно, – думала Ольга. – Похоже, Анна забыла, что у неё есть родня. Всё оттого, что ей, как младшей в семье, досталось больше всех внимания, и вот результат – она стала законченной эгоисткой».

По две недели дом оставался без хозяйки, на пятнадцатый день Анатолий с сыном подходили к железнодорожному полотну, по расписанию проносился поезд, и Ольга кидала тюк со своими вещами и продуктами. С конечной станции состав отгоняли на запасные пути, и ещё сутки проводники наводили порядок в купе, сдавали вагоны техническому персоналу и только потом разъезжались по домам.

По возвращении Ольга первым делом бегала по магазинам, покупала фрукты для дочери и спешила в больницу. Затем несколько дней стирала, убиралась, встречала Анатолия с работы и отводила домой... Неделя пролетала быстро; так и не отдохнув толком, Ольга уезжала

снова, а со следующего дня после её отъезда Анатолий начинал пить и по утрам еле вставал на работу; опухший, с красными веками, разыскивал в палисаднике запрятанную накануне четвертинку водки или бутылку вина и, опохмелившись, немного придя в себя, нехотя брёл к электричке.

Как-то утром приехал Леонид и, застав отца за поисками заначки спиртного, грубо осадил его:

– Перестань! Лучше иди на работу!

– Неужели ты не понимаешь... Я не могу, – пробормотал Анатолий. – Знаю, что мешаю вам, тяну семью назад, но ничего не могу с собой поделать, пойми это. Да и всё надоело, я устал ото всего.

Однажды во время запоя Анатолий отдал соседям за бутылку водки настенные часы, в другой раз – свой костюм... Толя съездил в Пушкино и позвонил старшему брату...

Когда Леонид приехал, Анатолий лежал на диване, прикрытый одеялом; заметив сына, что-то спрятал под подушку. Леонид откинул край одеяла и увидел у отца в руке... бритву, рядом лежал пустой флакон из-под одеколona.

– Ты что, совсем сошёл с ума?! – содрогнувшись, крикнул Леонид, отнял у отца бритву, спрятал его очки, убрал из дома всё острое. Потом подумал, что оставлять отца одного в таком состоянии нельзя, и сказал:

– Давай отвезём тебя в абрамцевскую больницу.

– Давай... поедем, – покорно согласился Анатолий и как предпрощанье добавил: – Прости меня за всё.

Дорога от станции к больнице шла через сосновый лес. Стоял жаркий августовский день, в листве не смолкая кричали птицы, пахло земляникой, клевером, смолой. По дороге Леонид говорил с отцом запальчиво и резко. Анатолий угрюмо молчал, только изредка, безнадёжно усмехаясь, оправдывался:

– Понимаешь, у меня нет воли, я не могу бросить пить.

На мгновение Леониду стало жаль отца.

– Завязал бы ты с выпивками, снова ездили бы рыбачить, попутешествовали бы. Сколько мест, где хочется побывать...

– Может, и правда попробовать? Последний раз, – тусклый взгляд Анатолия потеплел, на губах появилась робкая улыбка. – В самом деле, мы давно не рыбачили... Так не хочется в больницу.

– Ну уж, раз решили, надо. С недельку полежи, мама придет – заберём тебя. Пока подлечишься.

– Ладно, – обречённо кивнул Анатолий.

– Сам ты не можешь бросить. Ты слабак.

Леонид хотел подхлестнуть самолюбие отца, напомнить ему про великий удел главы семьи. Выпивки отца ему казались какими-то затянувшимися помрачениями, идиотской привычкой, которую отец вполне может, но не хочет бросать; парень не мог поверить, что отец серьёзно болен, утратил веру в себя и вообще во всё хорошее и стал уязвимым, обидчивым, слабонервным.

Вернувшись из поездки, Ольга забрала мужа из больницы и обошла соседей, которым Анатолий продал часы и костюм. Заплатив за бутылки водки, Ольга потребовала вернуть вещи.

– Как вам не стыдно так гнусно поступать?! – бросала она презрительный укор. – Где ваше сострадание к больному человеку?! У вас есть совесть, или вы не знаете, что это такое?!

А дома на мужа разразилась уничижительными упрёками:

– Ты опускаешься на глазах! Это последняя степень падения – отдавать за водку вещи! Где твоя гордость, интеллигентность?! Как можно так себя не уважать! И ставить меня, свою жену, в унижительное положение. Чтобы это было в первый и последний раз! Только этого ещё не хватало! Вот ещё!.. И возьми себя в руки. Сколько можно?! Мы наконец перебрались совсем близко к родине, и всё уже налаживается... Да, пока ещё у нас трудный период, но надо его пережить достойно, не раскисать и уж тем более не опускаться. Были у нас периоды и похуже – ничего, пережили. И этот переживём, я уверена.

Недели две Анатолий ходил на работу мрачный, сосредоточенный, дома после ужина смиренно лежал на диване и читал. Временами в него вселялась беспричинная тревога, страх, и он, шмыгая носом, жаловался жене:

– Скучно мне здесь, Олечка.

– Возьми себя в руки, что за беспомощность?! – внятно и ровно повторяла Ольга. – Ну не нанимать же тебе нянюку. Очень надо с тобой нянчиться! Сейчас, в переломный момент, когда у нас появилась возможность получить квартиру в Москве, ты должен, просто обязан ради семьи набраться терпения, мужества.

Ольга пришла в станционную столовую, где Анатолий выпивал, и пригрозила буфетчику:

– Знаете что! Не смейте продавать вино моему мужу! Вы подталкиваете человека в пропасть!

Ненадолго в семье восстановились порядок и спокойствие.

...Однажды Анатолий неожиданно пришёл домой раньше времени, взял ключ от пристройки к сараю, сказал, что устал и поспит на воздухе. Утром Ольга пошла будить его на работу, но дверь оказалась запертой изнутри, и на стук Анатолий не отозвался. У Ольги тревожно забилось сердце – в ней росло предчувствие беды. Еле сдерживая волнение, она позвала сына, и Толя, выставив раму, влез в сруб через окно.

Анатолий лежал на кровати в одежде, запрокинув голову назад, на полу темнела лужа крови и валялась бритва.

– Мама! – услышала Ольга ужасающий крик. – У папы из горла кровь идёт!

Ольга побежала в медпункт, Толя остался с отцом, сидел рядом на табурете и ревел.

– У меня больше нет сил... бороться, – бормотал Анатолий. – Хорошо, что умираю... Всё равно только мешаю, тяну вниз...

В медпункте Ольга застала одну медсестру, оба врача были выходными и уехали в Москву.

– Дикость! – вскричала Ольга. – На огромный посёлок нет врача! И это называется государственное учреждение!

Прихватив бинты и вату, медсестра пошла с Ольгой и, осмотрев Анатолия, заключила:

– Большая потеря крови. Нужно доставить в Пушкино.

– Ничего не нужно, доктор, – безжизненно прохрипел Анатолий. – Я не хочу жить... Прости меня, Олечка. Я только мешаю вам... А ты сильная... Ты всего добьёшься...

– У нас в медпункте только одна лошадь, и на той уехали за дровами, – сказала медсестра, обращаясь к Ольге. – Попробуйте дозвониться до Пушкино с почты, может, пришлют скорую или везите на электричке.

По расписанию ближайший электропоезд на Пушкино шёл только через час, и Ольга побежала на почту; минут двадцать телефонистка пробивалась до райцентра, а когда наконец дозвонилась, прибежал Толя и, задыхаясь, проговорил:

– Папа умер...

...Анатолия похоронили на окраине сельского кладбища при деревне Рахманово. После похорон Ольга никогда не навещала могилу мужа, так же как никогда не ходила на Даниловское кладбище, где под двумя дубами лежали её отец и мать.

– Ценить и любить людей надо при жизни, – непоколебимо говорила она. – Теперь им наши слёзы не нужны. Я не хочу думать о близких, будто они мёртвые. Они для меня живы и всегда со мной. Жизнь продолжается, и надо находить в себе силы жить дальше...

И на поминках мужа Ольга держалась стойко, никто не увидел её слёз, и только потом, проводив родственников, она почувствовала – сразу исчез воздух, ей стало трудно дышать – казалось, она очутилась в разряженном пространстве. Вбежав в сарай, она впервые за всю свою жизнь беззвучно разрыдалась.

Смерть мужа потрясла Ольгу, обожгла долгой, непроходящей болью... От Анатолия остались чертёжная доска, готовальня, очки с перевязанной дужкой и старый прибор для бритья. Ему было сорок четыре года.

Оставшись наедине с собой, Ольга бормотала:

– Зачем, Толя, ты это сделал?! Как мог оставить меня одну в таком тяжёлом положении? С тремя детьми?! Мы вместе столько пережили! И хорошего, и плохого, но я никогда даже не представляла свою жизнь без тебя... Ужасно горько... Считал меня сильной! Какая я сильная? Да и чем сильнее человек, тем в большей поддержке нуждается. Как раз жалеть надо не слабых, а сильных. Слабые не способны на большие дела, а сильные способны. И не только на большие дела, но и на подвиги. У сильных и чувства сильные, а у слабых – так себе...

Позднее Ольга сказала сыновьям:

– Помогать надо тем, кто идёт к цели, а не бездельникам разным. Поддерживать надо бесстрашных, нетерпеливых, первооткрывателей, идущих впереди. Им уготованы удары судьбы, и зависть, и непонимание...

Почему-то теперь, после смерти мужа, Ольга видела его совсем не таким, каким он был последние годы, – не беспомощным, апатичным, подавленным, а энергичным, весёлым, совершенно непьющим... Он являлся на фоне ненастной погоды: то в дождь – спешил домой и издали махал ей рукой, как когда-то в давние годы, то одиноко стоял под снегопадом, и улыбался, и звал её, и внимательно выслушивал, когда она подходила, и жалел, и приободрял – не она его, как было всегда, а он её!

В середине зимы Ольга перевелась со скорых поездов в проводники пригородных электричек, добилась перевода дочери в больницу на соседней станции Абрамцево и решила обменять жилплощадь на меньшую, но ближе к городу; два месяца давала объявления, но Ашукино не считалось дачным местом, и забираться в полупосёлок-полудеревню никто не хотел. Однажды Ольга даже нашла пожилую пару, которая была не прочь обменяться, но, когда уже приготовили документы, в нотариальной конторе сказали:

– Вам не разрешат, не утвердят обмен. Из пригорода выезжают два человека, а въезжают из области четыре.

– Так ведь меняются семьи! – возмутилась Ольга. – И обе семьи устраивает обмен. Что вы выдумываете разные трудности людям, делаете всё, чтобы они помучились, треплете им нервы?! Что это за закон такой?! Безобразия!

Летом Ольга просто продала комнаты за полцены от той суммы, за которую купила, но предварительно сняла комнату в Ховрино – пригороде Москвы, четвёртой станции от Ленинградского вокзала.

От платформы к Ховрино дорога шла по низине среди тополей, по деревянному мосту через заросшую речушку и дальше в гору вдоль построек и заборов. В Ховрино можно было приехать и с другой стороны, от конечной станции метро «Сокол» на троллейбусе до конца

и дальше пешком через поле, где пролегла узкоколейка, по которой кукушка возила вагонетки с глиной от карьера к кирпичному заводу. Опять железные дороги, кирпичные заводы, деревянный дом, печь, дрова, колодец, но близость города чувствовалась – вдоль заборов тянулись асфальтированные тропы. Чтобы совсем ощущать себя москвичкой, теперь в город Ольга ездила не на электричке, а на троллейбусе.

Снова Ольга занялась пропиской, ездила в областную милицию, доказывала начальнику управления, что они «коренные москвичи», но в ответ слышала:

– Вы давно потеряли право на проживание в столице.

– Что значит «потеряла право на проживание»?! – негодовала Ольга. – Что за довод?! Это я-то, коренная москвичка?! Да я уверена: сейчас в Москве больше половины приезжих. Разных изворотливых, которые первыми успели приехать. Но как быть эвакуированным?! Им так и остаться на чужбине до конца своих дней?! Что за чушь!

– В Москву въезд ограничен, – твердил начальник. – И скажите спасибо, что вас ещё прописали в Подмоскowie.

– Как вы смеете так со мной говорить?! Я коренная москвичка! Мои предки лежат на московских кладбищах, и меня вы обязаны прописать! А в таком тоне разговаривайте со своей женой, если она у вас есть!

– Разговор окончен, – начальник махнул рукой. – Попросите следующего!

– Я буду на вас жаловаться! Такое впечатление, что вы здесь сидите только для того, чтобы отравлять людям жизнь! – Ольга хлопнула дверь.

«Говорят-то со мной – прямо отмахиваются, как от назойливой мухи! Говорят пренебрежительно, казённо, ни одного живого человеческого слова, любезной улыбки. И прямо упиваются властью. У них ни жалости, ни сострадания. Да и откуда? Сострадание есть у тех, кто знает, что такое страдание. А эти живут припеваючи... И почему вообще: как начальник, так невежественный, полуграмотный?! И надо же, от росчерка такой тупой рожи зависит моя судьба! – впервые несвойственная ей

злость охватила Ольгу. – У власти должны стоять самые талантливые, самые честные и добрые люди. А то, что всякие бездушные типы занимают ответственные посты, – это против природы... Даже у животных вожаки самые умные и сильные... Прав был мой муж: какой-то нелепый у нас строй. Но я не отступлюсь!»

Ольга пришла в приёмную к министру внутренних дел и добилась своего – её с сыном прописали.

Хозяин, у которого Ольга сняла комнату, был старый холостяк, крохобор и скряга: весь день торчал на крыльце и осматривал сад – как бы кто не влез, не сорвал цветы. Ему всюду мерещились грабители, он постоянно озирался, на знакомых и незнакомых посматривал с подозрительным прищуром; он напоминал камбалу, которая сверху тёмная от одних врагов, а снизу белая – от других. Круглый год хозяин продавал цветы: зимой – в горшках, ранней весной – выращенные в теплице, летом и осенью – садовые. Он неплохо зарабатывал на цветах и квартирантах, но ему не давала покоя мечта о доме на Кавказе.

– Весной один тюльпанчик стоит рубль, – доверительно сообщил он Ольге. – Представляешь, сколько можно заработать, если продать миллион тюльпанов?

Этот зануда каждый вечер заходил к Ольге и изводил её болтовнёй о своих прикидках и выкладках, вкрадчиво говорил о том, что сидит на диете, пьёт соки, дышит по системе индийских врачей... «Удивительно, – думала Ольга, – о своём здоровье особенно печётся тот, кто живёт только для себя, разные посредственности, которые никому не приносят пользы, чья жизнь не представляет никакой ценности для общества. Ведь у него ни жены, ни детей нет. И даже никакого живого существа. Хотя бы кошку завёл... И зачем ему много денег?! Взять с собой в гроб? И вот такие, как правило, долго живут. А тот, кто живет для других, быстро сгорает. Как всё-таки это несправедливо!..»

Несмотря на возраст, Ольга была еще довольно красивой женщиной, но ни в то время, ни позднее ее не посещали мысли о новом замужестве.

– Всё равно я никогда не встречу такого человека, как мой муж, – говорила она сестре Ксении. – Сейчас меня окружают интересные люди,

начальники поездов, управлений, они ухаживают за мной, но я никого из них не могу даже рядом поставить со своим мужем. Он был необыкновенным человеком. Немного слабым... Ведь в нашей жизни нужно быть сильным, упорным, а он не умел пробиваться, расталкивая других локтями, как это делают многие. Он был застенчивым, интеллигентным... И таким умным, порядочным... Он не сумел одолеть несправедливость, тяготы жизни и отчаялся. Ему не хватило последнего усилия, ведь мы уже почти выкарабкались из тяжёлого положения, остался последний шаг... Ужасно обидно!.. Ну да бог с ним!.. И я, конечно, кое в чём виновата. Хотела, чтобы он изменился, стал настойчивым, пробивным, но ведь это невозможно, нельзя идти против природы... Мне бы бросить к чёрту эту железную дорогу, помочь ему, быть с ним рядом... Но, с другой стороны, я хотела получить квартиру в Москве, и у меня на руках были большая дочь и младший сын, не могла же я разорваться?

– Анатолий не хотел уезжать из Казани, – говорила Ксения. – Переезд для него стал стрессом... Там, на заводе, у него были старые знакомые, общество. И у вас был собственный дом, налаженный быт – чего ещё надо? А здесь вы скитаетесь по чужим домам, и неизвестно, когда ты получишь комнату. Может, и вообще не получишь, здесь за жильё люди дерутся.

– Получу, вот посмотришь!.. Хм, остаться в Казани! Что ты говоришь?! Там мы все постепенно зачахли бы от тоски и безысходности. Этого я не простила бы себе никогда. Тебе здесь хорошо рассуждать, ты не представляешь, каково жить в захолустье, быть оторванным от родины, от культуры. А теперь хотя бы мои дети будут жить достойной жизнью. Именно там, в Казани, Толя и сломался и сюда приехал уже больным. Я абсолютно уверена: если бы мы жили здесь, этого не произошло бы.

Ольга работала на электропоездах то проводницей, то кондуктором, часто ночевала в Пушкино, Мытищах – первые составы выходили на линию в четыре утра... Больше всего она любила работу кондуктора – на перегонах было время помечтать. Дав сигнал отправления, она закуривала и представляла семью в уютной квартире где-нибудь

у Чистых прудов; представляла Анатолия трезвого, улыбающегося; он приходил усталый с работы, ужинал, перелистывал вечерку и журнал «Техника – молодёжи», потом работал за чертёжной доской, а перед сном читал книги из заводской библиотеки... «Бог с ним, с Толей, пусть выпивал бы, лишь бы был жив», – бормотала Ольга... Она видела здоровую дочь; девчушка прибежала из школы, кидала на диван портфель, объявляла об очередной пятёрке, снимала школьную форму, обедала, рассказывала о занятиях в вокальном кружке... Видела старшего сына с дипломом художника, а младшего – с аттестатом зрелости... Каждому из родных Ольга уготавливала счастливую судьбу, и каждую из них проживала отдельно, неторопливо, придумывая множество подробностей, и, только когда уже ничего не могла добавить к тому или иному эпизоду, бережно откладывала его в тайник памяти. С каждым днём эти мечты всё больше распаляли воображение Ольги, она уже мечтала по пути на работу, в магазин и во время поездок к дочери; с ней случилась великолепная несуразность – такая жизнелюбивая, она вдруг стала жить вне реальности, в мире иллюзий и была от этого счастлива, только её улыбка, когда-то широкая и лучезарная, уступила место горькой полуулыбке, и она всё больше становилась рассеянной. Житейские заботы то и дело возвращали Ольгу в реальность, но в дальнейшем она так и не смогла отказаться от этих представлений и до конца своих дней жила на грани фантазий и реальностей, как бы двойной жизнью, и та, вторая – её настоящая жизнь, – была чем-то вроде хорошо отснятой цветной плёнки, которую отдали проявить неумелому мастеру, и потому на ней всё вышло мрачным, черно-белым, а местами и вовсе не вышло ничего.

Случалось, Леонид ехал в Ховрино и внезапно во встречной электричке замечал мать – она стояла с зелёным флажком в руке у двери последнего вагона, стояла и задумчиво смотрела на рельсы. Не раз в электричке он неожиданно слышал её голос – она объявляла остановки, – и сразу направлялся в хвостовой вагон, и они встречались: мать и сын. Ольга выспрашивала у Леонида, как он живёт с женой, думает ли иметь детей, собирается ли поступать в институт... О своей семейной жизни Леонид говорил с неохотой, и Ольга догадывалась,

что в том браке что-то не ладится. К тому же она только однажды видела невестку – красивую самоуверенную блондинку, работавшую манекенщицей; всего с полчаса поговорила с ней и поняла: для такой женщины главное не семья, а интересное времяпрепровождение. Да и встретились они в сквере, поскольку невестка не захотела ехать «куда-то в деревню». И всё же, при знакомстве, Ольга сказала ей:

– Конечно, вы обрекли себя на сложную жизнь. У моего сына неважный характер. Он способный, но вспыльчивый, невыдержанный. Постарайтесь быть снисходительной. Ведь вы такая красивая! Что вам стоит?! Красивая женщина должна быть великодушной, ведь всё у ее ног... А с годами Леонид станет помягче, вот увидите.

Несмотря на раздоры в семье, Леонид продолжал готовиться к экзаменам в институт, и Ольга поддерживала его устремления.

– Я в тебя верю, – говорила она. – Ты своего добьёшься, ты в меня. Меня жизнь постоянно сгибала, но я не согнулась... А ваш отец был слишком слабым для нашего жестокого времени. Ну да бог с ним!

Толе исполнилось шестнадцать лет, он подружился с ребятами, работающими учениками на заводах; они увлекались техникой и мотогонками и этим отличались от многих сверстников, одни из которых сколачивали картёжные компании, играли в тотализатор на ипподроме, другие становились стилистами. Новые друзья уговорили Толю бросить школу и устроиться на завод учеником токаря, чтобы «иметь собственные деньги и купить мотоцикл». Ольга была не против работы сына, но с условием, что он окончит десятилетку в вечерней школе.

– Не забывай, твой отец хотел, чтобы вы имели высшее образование, – сказала она сыну. – Не для того мы столько мучились, чтобы и вы жили кое-как. Без высшего образования далеко не пойдёшь... Мы не смогли его получить, помешала война. А вы должны... Дети должны идти дальше родителей.

В первую полчку Толя прибежал домой радостный, отдал матери деньги и сообщил, что в конце месяца ещё получит премиальные.

– Вы, мои сыновья, молодцы, – улыбнулась Ольга. – Но мне очень хотелось бы, чтобы вы получили высшее образование, окончили институты. Это ваша главная цель. Вы должны, просто обязаны напере-

кор всему её достичь. Хотя бы ради нас, родителей, за всё рассчитаться с судьбой.

Через год Толя резко изменился – вытянулся, повзрослел, и в нём вновь вспыхнуло увлечение сценой; деньги, отложенные на мотоцикл, он поделил на две части – одну часть отдал матери, вторую потратил на театральные билеты. А потом, уволившись с завода, устроился в театр «Современник» писать афиши. Вскоре он поступил в драматическую студию при театре; благодаря способностям быстро выделился среди сокурсников, и его ввели в спектакли. Ольга присутствовала на всех его премьерах – сидела в первых рядах и гордилась сыном.

...В отпуск Ольга взяла дочь из больницы (её отдали под расписку, снабдив большим пакетом таблеток), хотела поехать с ней на юг, к морю, но на второй день Нина убежала из дома. Ольга пошла в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела на столе записку: «Мамочка, не ищи меня!». Обежав ближайшие улицы, Ольга с троллейбусной остановки позвонила Леониду – он примчался на такси. Вернулся из студии Толя, и втроём они всю ночь ходили по Ховрино, выспрашивали о Нине у прохожих... Под утро Ольга заявила в милицию.

Несколько дней Нину разыскивала областная милиция, затем в поиск включилась и городская. Её обнаружили через несколько дней на станции Правда, где она бродила «среди красивых деревьев». Милиционер отвёл Нину в дежурную часть – её приняли за пьяную девицу лёгкого поведения и грубо втолкнули в комнату, где находились задержанные карманники.

– Что же вы делаете?! – сказал один из парней. – Она же больная, не видите, что ли?

Нину хотели отправить в Белые Столбы, но она назвала своих врачей, и её водворили в прежнюю больницу.

Ольга была в отчаянии: болезнь дочери всё явственнее переходила в хроническую форму. От лекарств и постоянной неподвижности из тонкой восприимчивой девушки Нина превратилась в расплывшуюся, безучастную ко всему женщину с одутловатым лицом и отсутствующим тусклым взглядом.

– Но я всё равно поставлю Нинусю на ноги, – твердила Ольга. – Как только получу квартиру, возьму её домой навсегда. И непременно куплю пианино – девочка так давно мечтает заниматься музыкой. Я окружу её вниманием, заботой, и она поправится, я уверена.

– Вряд ли Нина поправится, – сказал однажды Леонид. – И брать её из больницы не стоит. Она опять убежит и ещё может попасть под машину. А там, в больнице, у неё свой мир, свои подруги. В больнице ей лучше, чем дома.

– Замолчи! – резко бросила Ольга. – Тебя бы туда упечь на полгодика, я посмотрела бы, как ты запел!..

...Через два года давали жилплощадь работникам Ярославской железной дороги; квартиры и комнаты получили члены профкома и те, кто имел стаж работы пятнадцать лет. Ольга стояла в списке остро нуждающихся как не имеющая жилплощади вообще, но ей заявили, что она проработала всего четыре года, а этого слишком мало.

– Знаете что! – заявила Ольга членам жилкомиссии. – Вы-то наверняка все неплохо устроены, и вам не понять, что такое снимать комнату с двумя детьми, один из которых тяжело болен. Люди, которые решают судьбу других, должны знать, что это такое. Вы этого не знаете и знать не хотите. Я больше не буду у вас работать ни минуты, – она вышла в соседнюю комнату и написала заявление об уходе.

...Был тёплый мартовский день, Ольга шла по лужам в старых ботах, в железнодорожной шинели, с потёртой сумкой, шла по Каланчёвке и читала объявления об устройстве на работу. На одной доске заметила: «Требуется инспекторы в отдел социального обеспечения. Образование не ниже среднего. Оклад – шестьдесят четыре рубля». Выбирать не приходилось, и Ольга направилась в собес Ленинградского района... Её оформили сразу – корпеть над бумагами за небольшой оклад желающих не находилось.

Она приходила на работу раньше всех, распахивала окно и, облокотившись на подоконник, рассматривала окна соседних домов. «Сколько окон, – думала Ольга, – и за каждым своя жизнь, свой мир, любимые вещи, привязанности... Только у меня нет своего угла... Если бы у меня была своя комната! Пусть самая маленькая, какая-никакая, хоть

полуподвальная или под чердаком в большой коммуналке. Я сделала бы её уютной, оклеила бы красивыми обоями, сшила бы красивые занавески...».

Ольге исполнилось сорок семь лет, но ни несчастья в семье, ни годы лишений не сломили её дух. Её мужество не имело предела; казалось, она наделена неиссякаемым запасом прочности, особыми защитными свойствами от любых ударов судьбы. На людях у неё всегда было прекрасное настроение, и никто не видел её в унынии, не услышал от неё ни одной жалобы, только пристальный взгляд замечал угрюмо сжатые губы. А про себя Ольга твердила: «Ничего, я ещё многое могу сделать и ни перед чем не отступлю».

Что удивительно – никакие несправедливости, никакое зло, с которыми Ольга столкнулась в Москве, не убили в ней доброту; потому, как и всюду прежде, на новой работе у неё появилось много друзей, и среди них – Женя и Цилия, тоже инспекторы по назначению пенсий, которые работали в собесе исключительно ради жилья.

Женя была женщиной с броской внешностью – с огромными глазами, большим ртом и светлой копной волос. Ей было тридцать четыре года. Муж её бросил, как только у них родился ребёнок. Женя приехала из деревни, жила за городом и вначале работала официанткой в ресторане.

– Это был кошмар, а не жизнь, – делилась она с Ольгой. – Утром бежала на электричку, на работе все орут, мужики пристают... Всё хотела выйти замуж за москвича и вышла, дура, за негодяя.

Женя жила в десятиметровой комнате с ребёнком и разведённым мужем. В собесе она работала вначале курьером, потом секретарём и, наконец, инспектором.

– Женька выросла в семье, где не было любви, – поясняла Цилия Ольге. – Она нуждается в теплоте и свою накопившуюся нежность изливает первому попавшемуся мужчине... Всё хочет в себя влюбить, но делает это чересчур неумело и откровенно... С ней знакомятся многие мужчины, но через две-три встречи её бросают. Известное дело, мужчины не ценят доступных женщин.

– Господи! Иметь бы свою комнату! – говорила Женя подругам. – Надоело видеть эту рожу. Здоровый мужик не может снять комнату!

Не мне же с ребёнком уходить?! А десять метров не разменяешь... Не знаю, куда податься... Хоть бы заболеть туберкулёзом. Говорят, туберкулёзникам сразу дают жильё.

Цилия приехала из Воронежа, где окончила педагогический институт и проработала несколько лет в школе. Её не устраивала жизнь в провинции, она считала, что там «неумные, невоспитанные мужики», недостойные её, тонкой женщины. Она была уверена, что оценить её может только столичный мужчина. Из-за прописки Цилия пыталась устроиться в жэк дворником или техником-смотрителем, но с высшим образованием на эти должности не брали... Два года Цилия работала по лимиту маляром на стройке, жила в общежитии, потом перешла в райсобес и поселилась на окраине у дальней родственницы. Цилия покупала дорогие платья для своей будущей жизни (ей помогали родители), но никогда не наряжалась в них и даже на праздники приходила в скромном костюме, чтобы не выделяться и не ставить бедных подруг в неловкое положение. Цилии было тридцать два года, но она всё ещё мечтала о принце.

– Раньше я хотела встретить порядочного и доброго мужчину без вредных привычек, – откровенно говорила подругам. – Чтобы он был увлечён работой, любил домашний уют, ценил искренность и дружбу и имел бы широкий круг интересов. Но там, в провинции, меня окружали дураки и бабники... А другим везёт. Посмотришь: и внешности у неё нет, и делать ничего не умеет – а мужчину отхватила отличного. Столько женщин пользуется незаслуженным счастьем! Так обидно!.. Конечно, я не очень современная, но внешне привлекательная, стройная, умею шить, вязать, вести домашнее хозяйство...

Цилии всё время казалось, что у них в собесе мужчины «слишком циничные», а женщины – «рискованного поведения» и это «создаёт нездоровую атмосферу». Грубоватая Женя не раз говорила Ольге:

– Цилька бесится, готова стол съесть, оттого что у неё нет мужика.

Цилия мечтала иметь своё жильё ещё и потому, что «с собственностью проще найти мужа».

Новые подруги привязались к Ольге, и она к ним: втроём они ходили обедать в столовую соседнего завода, после обеда некоторое вре-

мя покуривали в сквере, после работы вместе шли к метро. Прощаясь, Женя говорила:

– Позвоните мне в воскресенье. Куда-нибудь сходим или просто погуляем.

– Почему мы тебе, а не ты нам? – как-то спросила Цилия.

– Потому что я люблю вас больше, чем вы меня, – просто и откровенно объяснила Женя.

Зимой хозяин Ольги топил мало – экономил дрова; в комнате появлялся пар от дыхания, на стенах проступала изморозь, а на окне намерзал такой толстый слой льда, что еле проникал дневной свет.

В собесе Ольга работала как одержимая, открыто и безбоязненно отстаивала справедливость, защищала тех, кто не мог постоять за себя, писала за них жалобы, прошения, требования. Она никого не боялась и, выступая на собраниях, говорила то, что думала, говорила о вещах, выходящих за рамки будничных дел собеса, точно стремилась исправить весь мир, сделать его лучше.

Случалось, в отдел приходила заплаканная старуха:

– Дочка, милая, помоги! Дети мне не платят, а я всего-то и работала пять лет, больше не могла, болела.

Ольга делала запрос во врачебную комиссию, добивалась назначения старухе инвалидности третьей группы и пенсии. Каждый вечер после работы Ольгу поджидала какая-нибудь старуха.

– Милая, спасибо тебе. И не думала, что на старости лет получу такую пенсию. Пойду в церковь, помолюсь за тебя.

Вскоре по всему району пронёсся слух о «доброй, участливой женщине», и к Ольге потянулись пожилые люди. Она никому не отказывала: уставшая, оставалась в собесе после рабочего дня и всё пересчитывала, писала. Начальник собеса Юрий Алексеевич не раз говорил:

– Ольга Фёдоровна – скромный и прекрасный работник. До неё на участке был кавардак, она за короткий срок всё разобрала, навела порядок. Я ей безмерно благодарен. Инспектор, так инспектор, работает с душой, всегда уходит с цветами.

Юрий Алексеевич, тучный, розовощёкий, с большими, вечно потными ладонями, имел немалый жизненный опыт – прошёл войну, но был

застенчив, как мальчишка, говорил тихим, робким голосом и вечно не знал, куда деть свои ручищи, то прятал их в карманы, то под стол и, точно орхидея, увядал от каждого неосторожного слова сотрудниц. Шутки ради женщины позволяли себе нарочитую вольность – отпускали смелые словечки, и великан краснел, терял дар речи, склонялся к столу или вообще выходил «проветриться».

Юрий Алексеевич с первых дней оказывал Ольге повышенное внимание, а когда она взяла дочь из больницы, разрешил уходить с работы пораньше.

– Мир не без добрых людей, – говорила Ольга подругам. – Юрий Алексеевич такой добросердечный, отзывчивый человек, очень похож на моего мужа.

Когда Юрий Алексеевич узнал, что Ольга снимает комнату за городом, а две другие сотрудницы живут на птичьих правах, он посоветовал женщинам обратиться в райисполком, попросить опекунов над какими-нибудь старухами и в конце концов остаться с жилплощадью.

– Или выходите замуж, – заключил он, – за мужчин любимых и богатых.

– Где ж их взять? – отшучивались женщины. – Сейчас ведь мужчины не спешат жениться. Зачем взваливать обузу? А безотказных девчонок и так полно.

Председатель райисполкома выслушал женщин:

– Ну что ж, работницы вы наши. Поможем. Я дам команду.

Жене подыскали девяностолетнюю старуху. Старуха занимала две комнаты на первом этаже деревянного особняка, который до революции принадлежал ей целиком. Женя готовила старухе завтрак, а по вечерам писала под диктовку письма её родственникам во Францию. Через полгода старуха умерла, и Женя стала владелицей двух комнат. Она щедро отметила событие, пригласив всех сотрудников собеса, а позднее перетащила на эту площадь чуть ли не половину своей деревни.

Цилии нашли больную женщину, но в тот момент, когда оформляли опекунов, женщину положили в больницу, и вскоре она умерла. Цилия только и успела к ней сходить в больницу два раза; передачу

приняли, а в палату не пустили; так и не увидела Цилия свою опекаемую, а комнату получила – исполком оформил задним числом. Соседи заворчали:

– Ишь, ни разу старуху не видела, теперь заимела площадь! Мы всю жизнь на жильё положили, а ей, свистушке, просто даром дали!

Где им было знать, сколько Цилия натерпелась до этого.

Ольге досталась семидесятивосьмилетняя Елена Глебовна, проживающая в маленькой комнате коммунальной квартиры, заставленной ящиками и коробками. Квартира находилась на первом этаже, в ней кроме старухи проживали ещё две семьи; в квартире не было ни горячей воды, ни телефона, но всё-таки имелся водопровод и туалет, а Ольга уже забыла, что это такое, – и в Аметьево, и в Ашукино, и в Ховрино за водой ходили на колонку, а туалетом служила пристройка за сараем. Елена Глебовна была частично парализованной и большую часть времени лежала на кровати, нередко ходила под себя, случались с ней и припадки.

Прописавшись у опекаемой, Ольга привезла свои вещи, купила две раскладушки для себя и сына и поставила их у окна. Наконец, через двадцать с лишним лет, она снова оказалась в Москве.

Елена Глебовна встретила Ольгу приветливо:

– Вот теперь у меня есть дочка и внук. Тебе много хлопотать обо мне не придётся. Я скоро Богу душу отдам, комната тебе останется. Всю жизнь будешь меня благодарить...

Теперь во время обеденного перерыва Ольга прибегала с работы и кормила Елену Глебовну из ложки, меняла ей простыни, выводила на улицу, усаживала на стул перед окном и пела её любимую украинскую песню.

– Молодец, заботится о Глебовне, работающая, всё умеет, – шептали старухи из соседних подъездов.

– Ольга душевная, – бормотала Елена Глебовна. – Ничего не скажу, ухаживает за мной лучше родной дочери.

По вечерам Ольга спешила домой готовить старухе ужин, выводить её на прогулку, менять простыни из-под больной и стирать их, нагревая воду в баке.

Зимой Елене Глебовне стало хуже: то «чёрные птицы клевали её руки», то «на груди росли грибы»; по ночам ей мерещилась «нечистая сила», она кричала на всю квартиру, «отгоняла от кровати Смерть». Ольга пыталась её успокоить, развеять бредовые кошмары, давала таблетки, приносила воды, повязывала голову старухи полотенцем.

– Ты ненавидишь меня! – кричала старуха. – Я знаю, только и ждётся моей смерти. Отравить меня хочешь, подсыпала что-то в воду! Ну-ка, глотни сама! Хочешь завладеть моей комнатой. Вот тебе, видишь?! – она обнажала ягодицы. – Я назло тебе не умру. Всех вас переживу!

Ольга терялась, в отчаянии, едва справляясь с собой, начинала собирать вещи.

– Всё брошу, – бормотала, – ничего мне не надо, никаких комнат. Лучше буду снимать, как раньше.

Толя одевался и уезжал ночевать к приятелям... В комнату в ночной рубашке врывалась соседка Кира и, размахивая кулаком перед лицом старухи, цедила сквозь зубы:

– Замолчи, ведьма!

Эти слова действовали магически: конечности старухи начинали двигаться, она затихала, съживалась и становилась маленькой. И Ольге сразу становилось жалко её. Она уже относилась к ней почти как к родной и стыдилась мысли, что ждёт её смерти. Ольга искренне жалела старуху, испытывала привязанность к ней и отвращение и от этих чувств чуть не сходила с ума.

В комнате стояли жуткие запахи – Ольга не успевала убирать постель больной. Каждое утро из поликлиники приходила медсестра, делала старухе уколы, но они помогали мало.

– Я совершенно измучена, – говорила Ольга подругам в себе. – Сил больше нет. Настоящая домашняя каторга. Чего только не приходится терпеть! Это бесчеловечно, унижительно. Я откажусь от опекунства. Лучше снова снимать комнату за городом, но спать спокойно... И что у меня за жизнь?! Все какие-то устроенные, а у меня... Сын уже несколько дней не приходит ночевать, говорит, будет жить у приятеля...

Женя с Цилией подбадривали Ольгу, приводили к себе, оставляли на ночь «отдохнуть от старухи», а утром, забыв о вчерашней слабо-

сти, Ольга снова спешила к опекаемой, и всё начиналось сначала. Но в один весенний день Елена Глебовна умерла. Всё то утро по радио передавали украинские песни, точно специально для умирающей; под любимые песни она и испустила дух. И сразу Ольга стала вспоминать только хорошее: как по вечерам вслух читала Елене Глебовне, как однажды вывела гулять, усадила на стул перед домом, а сама пошла готовить на кухне обед и время от времени посматривала в окно и спрашивала:

– Елена Глебовна, вам не холодно?

И как старуха мотала головой и по-детски счастливо улыбалась. Вспомнила, как Елена Глебовна радовалась, когда она вывела ей повышенную пенсию, предварительно разыскав людей, подтвердивших её стаж. И вспомнила, что у Елены Глебовны были сын и дочь, но за последние десять лет ни разу не навестили мать. Ольге стало по-настоящему жаль старуху. Удручённая, она пришла на работу, и, не слыша своих слов, объявила подругам о случившемся, и искренне всплакнула.

– Ура! – закричали подруги.

– Перестаньте! – взмолилась Ольга. – Я сама не знаю, чего во мне больше: радости или горечи. Получается, что мы строим счастье на несчастье других.

– Брось говорить глупости! – махнула рукой Женя. – Они своё отжили. Дай бог нам столько прожить. Наше поколение ещё раньше загнётся, вон мы все какие издёрганные.

После похорон Ольга несколько дней наводила в комнате чистоту, отбивала зловонный запах, потом купила краску для полов, новые обои, посадила перед окном ромашки. Обновив комнату, уставшая, бросилась на раскладушку и выдохнула:

– Господи, неужели я снова москвичка?! Даже не верится!

Настрадавшись, изведав всего, Ольга думала, что теперь её ожидает покой, но неожиданно по вечерам её стали мучить кошмары: всё мерещилась умирающая старуха, и страх, и жалость к старому беспомощному человеку овладевали ею. По ночам ей снились безлюдные улицы без солнца и ветра, непроточные водоёмы, деревья без листь-

ев, комнаты за глухими стенами с забитыми окнами, где было нечем дышать...

Из трёх подруг больше всего повезло Жене – она стала не только хозяйкой двух комнат в особняке, но и собственницей антиквариата (картин, статуэток); у неё появился очередной поклонник, но она по-прежнему крепко дружила с Ольгой и Цилией и каждую субботу устраивала у себя «девичники-посиделки».

Получив постоянную прописку, Цилия обставила свою комнату модной мебелью, купила «стильную» посуду. Потом уволилась из собеса и устроилась преподавателем в медицинское училище и там неожиданно влюбилась в преподавателя физкультуры. Они расписались, но Цилия сразу обрушила на мужа такую страсть и ревность, что он испугался; она так безрассудно любила своего мужа – даже забыла подруг, – что в конце концов стала его раздражать. Тогда Цилия попыталась стать нетребовательной, покорной, но у неё ничего не получилось.

После развода Цилия снова потянулась к подругам: по вечерам приходила к Жене, жаловалась на судьбу, оставалась с ребёнком Жени, когда та встречалась со своим ухажёром. С Ольгой Цилия гуляла в скверах, посещала кинотеатры; несколько раз они заглядывали в кафе «на рюмку ликёра».

– Видимо, у меня никогда не будет семьи, – говорила Цилия подругам. – Конечно, я наделала массу ошибок, но ведь я его любила. Сейчас мужчины ценят в женщинах самостоятельность, современные взгляды, рискованное поведение... Да и не надо мне никакого мужа, и одна проживу. Комната теперь у меня есть, и есть всё для душевного комфорта. Жаль, ребёнка не успела завести. Но ничего, возьму малыша из приюта.

– Надо же, – усмехалась Женя, – заимели жильё, вроде обеспеченные стали; как говорится, имеем условия для совместного проживания, а бабьего счастья нет. Этот мой новый ухажёр ходит, ходит, а как я намекну про загс, сразу в кусты. Сейчас мужики нерешительные, безответственные, их устраивают временные отношения. Но я всё равно за своего держусь. На меня ведь мужики не бросаются.

– Знаете что! По-настоящему счастливых семей вообще мало, – говорила Ольга. – Это дело случая, чтобы встретились два человека, во всём подходящие друг другу. И вообще хорошего человека встретить нелегко. Раньше было проще, люди были куда приличнее. Вот мой муж, например, был необыкновенным человеком. Он был необыкновенен во всём: в словах, во взглядах... И такой талантливый был... Рядом с ним и я проявляла свои лучшие качества, ведь талант заразителен. Общаясь с посредственностями, мы чахнем, а с талантливыми расцветаем. А я жила с очень талантливым человеком. Он был лучшим инженером на заводе и в высшей степени порядочным, примерным семьянином. Таких, как мой муж, сейчас нет...

На минуту Ольга впадала в задумчивость, потом вспоминала станцию Правда; эти воспоминания согревали её душу, и она уже говорила в умиленно-размягчённом тоне, рассказывала о довоенном времени, своих детях... но потом снова брала себя в руки и, встряхнувшись, повышала голос:

– Что я, в самом деле! Вот ещё! Воспоминания делают людей слабыми и несчастливыми. А мне нельзя расслабляться. Мне ещё есть, чем жить... Надо ещё поставить на ноги дочь, помочь сыновьям добиться успеха... Главное, мы теперь владельцы собственных комнат. Ведь такое счастье – жить в Москве, ходить в кино, в театры...

Ольга говорила о том, что теперь они могут пожить в своё удовольствие, что впереди их ожидает много хорошего, говорила убеждённо, но с угасающим запалом, точно уже не очень верила в это и просто уговаривала подруг. Оставаясь наедине с собой, она понимала, что комната не принесла ей счастья, что заплатила за неё слишком дорогую цену.

## 5.

Квартира находилась на Светлом проезде, в трёх трамвайных остановках от станции метро «Сокол». Проезд представлял собой несколько четырёхэтажных домов, стоящих среди железнодорожных

путей. От грохота поездов дребезжали стёкла, двигалась мебель, дрожали стены, и казалось, дома вот-вот развалятся. Заслышав гул приближающегося поезда, Ольга вздрагивала, точно этот гул был предвестником новых несчастий. «Как всё зыбко, ненадёжно в моей жизни, – думала она. – И никуда не деться от этих железных дорог. Прямо опоясали, заковали мою жизнь. И этот гул, и запахи мазута и жжёного железа постоянно преследуют меня!» К домам вела только одна дорога, перегороженная шлагбаумом; она охранялась стрелочницей, сидящей в зелёной избушке, перед которой толчёным кирпичом были выложены слова: «Счастливого пути!». Кому они предназначались, никто не знал – по окружной дороге ходили одни товарняки.

За железнодорожной насыпью начинались озёра и лесопарк, тянувшийся до канала Москва – Волга. «Здесь есть, где гулять с Нинусей», – подумала Ольга. До отпуска ещё было несколько месяцев, но она давно не брала дочь из больницы и решила попросить на работе две недели за свой счёт.

Когда Ольга привезла Нину, соседи заворчали:

– Вот ещё и дочь объявилась, не хватало ещё здесь сумасшедшей.

– Знаете что! Это моя дочь, и она будет жить со мной, – повысив голос, сказала Ольга. – Да, она немного больна, но это ничего не значит, она умнее и душевно чище многих здоровых.

Ольга прописала Нину, но по настоянию врачей оформила ей инвалидность первой группы. «Ничего страшного, – рассудила она. – Какая разница: первая или вторая группа?! Да и лишние деньги не помешают. А когда Нина сможет работать, я всё переоформлю. Я ещё поборюсь с её болезнью».

Получив справку об инвалидности дочери, Ольга встала на учёт в райжилотделе, где ей пообещали через три года предоставить отдельную квартиру. Потом по объявлению купила старый кабинетный рояль и хотела нанять дочери учителя музыки, но больше нескольких минут Нина за инструментом не сидела – начинались головные боли. И в кинотеатре она не могла досмотреть ни один фильм – ей трудно было сосредоточить внимание на чём-то одном. Вялая, апатичная, она

оживала, только когда вспоминала свою больницу – там ей нравилось больше, чем дома. Она уже отвыкла жить в семье, все вещи ей казались «некрасивыми», братья «слишком взрослыми», а мать «слишком старой». Она так и осталась в девичьем возрасте и жила в прошлом времени.

В конце концов Нина вновь убежала из дома. Снова Ольга заявила в милицию, снова объявили розыск, но нашли больную только в конце второй недели. Где всё это время находилась она, никто не знал. Стояла середина мая, всюду были топкие лужи, земля ещё не прогрелась, а Нина могла спокойно полдня просидеть на какой-нибудь лужайке (с её больными почками!). Все те дни Ольгу не покидало чувство тревоги. «А каково сейчас Нинусе?! – думала она. – И куда она убегает? Неужели ищет прошлый век, тургеневские времена?!»

Нину нашёл дворник в Коломенском, на окраине Москвы. Ночью выбежал на крик, увидел, какие-то парни отбегают от женщины, подошёл – она без платья, в одной туфле, вся трясётся от холода.

– Небось хотели изнасиловать, – заявил дворник в милиции.

Нина ничего о себе не сказала, и её как «неопознанную» отправили в больницу на Матросской Тишине... Ольга ежедневно обзванивала все больницы, обещали сообщить, если придут «неопознанные», но о Нине сообщили только через пять дней: «Привезли здесь одну больную, но вряд ли это ваша дочь».

Ольга добилась разрешения перевести дочь в городскую больницу имени Кащенко и стала к ней ездить не только по воскресеньям, но иногда и в будние дни после работы – давала врачам и нянкам деньги «на цветы», и те разрешали свидание «в виде исключения».

Всю неделю Ольга копила продукты: закупала печенье, пирожные, конфитюры; кто бы чем ни угостил, сама не ела – всё несла в больницу. И каждое воскресенье поднималась в гору к больничным корпусам, шла в цепочке людей с коробками и сумками, мимо старух, продающих цветы, шитьё и карамели; старухи непрестанно крестились и всем проходящим желали «божьей помощи».

При больнице имелись мастерские, где больные делали бумажные цветы; некоторые из легкобольных помогали обслуге в котельной и на

кухне – работали все, кроме шизофреников-хроников из двенадцатого отделения, где лежала Нина. Их только выводили на прогулку.

– Бедная наша Нинуся, – говорила Ольга сыновьям. – Мечтательница, романтичная девушка. Она тянулась к возвышенному, хотела, чтобы всё было, как в романах Тургенева, но, столкнувшись с жестокой реальностью, не выдержала напряжения и сломалась... Конечно, всё у неё началось во время войны, но теперь я думаю, дело не только в войне. Ведь Нинусе хотелось ходить в театры, заниматься музыкой, а что мы видели в Аметьево?! В этом затерянном мирке?! Невежество и убожество, которые отупляли. Мы были лишены элементарной культуры, изолированы от внешнего мира, не имели духовного общения. И непонятно, во имя чего мы там находились. А несчастья, как правило, выбирают самых незащитных. В нашей семье они выбрали Нинусю. Чувствительная, ранимая, она быстро истлела... И почему Бог, если он есть, посылает трудности тем, кто с ними не может справиться?.. Конечно, я очень надеюсь, что Нина поправится. Говорят, в Германии изобрели какое-то лекарство...

Раз в месяц приезжал Леонид, привозил матери деньги. О жене он уже не говорил, только отмахивался:

– О чём говорить? Из-за неё отложил поступление в вуз, набрал левой работы, а она завалила квартиру шмотками. Я называю её «баракхольщицей», она меня «непризнанным художником», «маляром».

– Подумаешь, непризнанный! – возмущалась Ольга. – Да ты ещё только жить начинаешь. Признание придёт, ведь ты способный и трудолюбивый... И вообще к успеху идут постепенно. Это только в кино в одночасье становятся знаменитыми... И не слушай её. Глупости она говорит... Жена должна быть помощницей мужу, а она тебя унижает. Это никуда не годится. Я вашему отцу всегда помогала, ставила форматы на чертежах...

– Не хочу о ней говорить, – морщился Леонид. – Нам давно пора разводиться.

– Как разводиться?! Что ты говоришь?! Это не выход. Несмотря ни на что надо сохранить семью. Это святое... Ты должен объяснить ей, убедить, ведь ты же сильный... Мужчина сам себе делает жену...

– Никто никого не переделает. Да и ребёнка она не хочет, а какая семья без детей?!

Сын уезжал, а Ольга всё мучительно переживала. «Что ж это за браки такие?! – думала. – И у Жени с Цилией всё как-то не складывается... Что ж получается, мне просто необычайно повезло, что я встретила своего мужа? Такого необыкновенного человека. И мы были, как две половинки ореха?.. А может быть, люди стали менее терпимыми друг к другу и отступают при первых же трудностях?»

...Окончив студию, Толя поступил в театральный институт на режиссёрский факультет и там на своём курсе ставил лучшие учебные спектакли; ему пророчили завидное будущее. Он приходил из института в остром возбуждении, подробно рассказывал матери о спектаклях, сокурсниках, театральных новостях... Ольге было приятно сознавать, что она остаётся для сына другом, что он спрашивает её мнение, советуется с ней. Они во многом были единомышленниками, вот только о Нине ни Толя, ни Леонид не заговаривали никогда, и Ольга делала грустный вывод, что для них сестра безвозвратно потеряна.

Толя получал стипендию, половину которой отдавал матери. Ольга в собесе имела маленький оклад, но вместе с пенсией дочери и деньгами сыновей кое-как перебивалась. «Ничего, – рассуждала она. – Как только получу квартиру, сразу устроюсь работать стенографисткой, и у нас будет достаточно денег». Для осуществления своего плана Ольга устроилась на вечерние трёхмесячные курсы машинописи, а в свободное время, чтобы поупражняться, вновь, как в Аметьево, начала стенографировать радиопередачи.

Однажды Толя пришёл из института и увидел, что рояля в комнате нет.

– Я подарила его, – объявила Ольга. – У нас на работе такой хороший начальник. У него две дочки, очень музыкальные. Да и рояль был расстроенный и места много занимал. А завтра я возьму пианино в кредит. И мы все будем играть.

На следующий день привезли новый инструмент, и Ольга целый год выплачивала треть зарплаты, но зато каждый вечер подбирала мелодии по слуху. Временами Толя тоже загорался, «осваивал инструмент»,

но через месяц-другой забрасывал музыкальные занятия. Ольга ничего не бросала на полпути, купила ноты и разучила пьесы Шопена и Чайковского. Одновременно записалась в районную библиотеку и читала современную литературу; позднее попросила Толю принести учебник немецкого языка и восстановила полузабытый запас слов «для самообразования».

Через два года Леонид разошёлся с женой и переехал к матери. Ольга встретила его тревожно, на мгновение её охватила растерянность, замешательство, но, поразмыслив, она согласилась, что в семье должна быть любовь и дружба, а если этого нет, то нет и семьи. И всё же она сделала попытку примирить супругов. Втайне от Леонида встретилась с невесткой и только после того, как та заявила, что «мы с Леонидом не подходим по созвездиям, и он жаворонок, а я сова, и вообще у нас абсолютно разные взгляды на жизнь», окончательно смирилась с разводом.

Теперь они жили втроем в тринадцатиметровой комнате. Леонид с Толей поочерёдно спали то на раскладушке, то на полу. Из-за тесноты постоянно испытывали неудобства, много курили, случалось, и ссорились. Ольга ложилась спать рано, и по вечерам сыновья говорили шёпотом, телевизор смотрели без звука. По ночам у Ольги болело сердце, она стонала; сыновья просыпались от сбивчивых причитаний, будили мать, успокаивали. Рано утром Ольга ходила в магазин, готовила завтрак, потом оставляла сыновьям деньги на разъезды и сигареты и спешила в собес.

...Однажды летом Леонид, подработав деньги в нескольких театрах, повёз родных к морю, в Крым. Впервые за свою жизнь, не считая далёкого детства, Ольга ехала отдыхать и, рассматривая пейзажи за окном, радовалась, как ребёнок:

– Как жаль, – говорила она, – что ваш отец не дожил до этих дней, не побывал у моря! И жаль, что Нинуся больна. Вот было бы замечательно пожить всем вместе у моря. Давайте купим шампанское и отметим начало нашего отдыха. И давайте выпьем вот за что! За то, что цветок тянется к цветку, птица к птице, все животные друг к другу, а человек к человеку! Давайте выпьем за любовь, ведь в жизни всё

построено на любви... Мы с вашим отцом очень сильно любили друг друга. Я восхищалась им. А любовь женщины – это восхищение. Восхищение личностью... Ваш отец был настоящей личностью, только немного слабый духом...

Они сняли комнату в Судаке на улочке, заросшей шелковицей. Дни стояли жаркие, но в их постройке из пористого туфа всегда было прохладно. По утрам покупали молоко, помидоры, фрукты и сразу же после завтрака отправлялись на пляж. Полдня проводили у моря, плавали к буйкам, загорали... Обедали в «лягушатнике» – круглой столовой, где выдавались комплексные обеды, по вечерам ходили в кино или братья играли в волейбол на площадке санатория, а Ольга закуривала и садилась на скамейку к зрителям. Домой возвращались поздно, когда вершины гор золотило заходящее солнце, а с ложбин на посёлок наползала дымка.

– Какое здесь благолепие! – восклицала Ольга, пронизанная восторгом. – Настоящий рай! На будущий год непременно Нинусю привезу сюда!

В свои пятьдесят два года Ольга отлично плавала, вместе с местными мальчишками ныряла с камней, делала в воде стойки; только когда она читала и курила на террасе, была заметна сетка морщин на её красивом лице, потускневший взгляд и усталость в движениях. Раньше она не знала, что такое усталость, а теперь днём часто ложилась отдыхать, но по утрам, как и раньше, пела – правда, уже вполголоса. В Москве в полосу разных напастей, безденежья и плохого состояния дочери, случалось, Ольга думала, что в жизни много несправедливости и чёрствых людей; измученная от вечного поиска приюта и спокойствия, она украдкой вытирала набегающие слёзы, но на отдыхе у моря вновь проявился её несломленный дух; казалось, она черпает силы из какого-то запредельного запаса.

– Я добыю своего, у меня будет квартира, – говорила она сыновьям. – И куплю «москвич», чтобы ездить к вам в гости, и напишу книгу о своей жизни. Правдивую. Она будет трогать людей, потому что в жизни всех людей много общего. Я опишу не только свою жизнь, но и жизнь знакомых... Странно и смешно, но сейчас, на шестом десятке, я чувств-

вую себя девчонкой! Этого никто не видит, кроме меня... Вот смотрю на отдыхающих здесь стариков и вижу что-то жалкое в старости, вижу, что в сущности они дети. Да-да, не смейтесь. Когда мне было двадцать лет, а подруге двадцать пять, я думала: «Она уже совсем взрослая, мне до этого далеко». Потом мне становилось двадцать пять, и тех, кому перевалило за тридцать, я считала пожилыми. «У меня-то вся жизнь впереди», – рассуждала я. В тридцать лет сорокалетних я считала стариками, а вот теперь приглядываюсь к людям своего возраста и вижу в них больших мальчишек и девчонок. Особенно когда эти старички чем-нибудь увлекаются – ну прямо как дети! Говорят, они впали в детство, а по-моему, они и не выходили из него.

Как-то в полдень Ольга зашла в пустынный зал дома отдыха, увидела на сцене рояль, села за инструмент и, незаметно увлѣвшись, переиграла весь свой репертуар, а когда закончила, услышала аплодисменты – в зале появились слушатели. После этого «концерта» на улицах посёлка к ней не раз подходили незнакомые люди и просили «поиграть еще раз».

Но временами Ольга начинала грустить, мысли о дочери не давали ей покоя.

– Я мать-преступница, – бормотала она. – Отдыхаю здесь, а она, бедняжка, там мучается.

После отдыха с деньгами стало туго, и Ольге пришлось заложить некоторые вещи в ломбард. Несмотря на жизненный опыт, Ольга так и не стала практичной в быту. В семейных делах она руководствовалась эмоциями и интуицией, а не трезвым расчётом. Она не распределяла деньги до получки: закупит сыновьям нужных и не совсем нужных вещей, потом занимает деньги у знакомых. А иногда и в магазине брала продукты в долг, благо одна из продавщиц узнала о «доброй работнице собеса». Эти «покупки» Ольга долгое время скрывала от сыновей, а когда тайна открылась, сказала:

– Это не унизительно. Берут же на Западе в долг в частных магазинах, и ничего. Я всегда вовремя отдаю долг и ещё покупаю продавщицам шоколадки, – но тут же перевела разговор: – Я поражаюсь нашим женщинам. Стоят в очереди за яйцами по девяносто копеек, а рядом

никакой очереди – по рублю. Стоят за дешёвым мылом. Даже на себе экономят. Вот ещё! Я всегда беру самое дорогое мыло, импортное, душистое... И в очередях толкаются, ругаются. Увидят какого-нибудь начальника – подобострастно здороваются, заискивают; слышат иностранную речь – трепещут. А тем, кто ниже их – дворникам, уборщицам, – грубят. Какое плебейство! Не могут вести себя с достоинством. Все от отсутствия внутренней культуры. Говорят, в наших домах живут те, чьи деревни снесли, когда расширяли Москву. Чего же от них ожидать?! И ещё ноют – жизнь плохая. Да они и не достойны лучшей жизни. Ваш отец был прав, когда говорил, что в нашей стране уничтожено много интеллигенции. А чтобы сделать этих дикарей культурными, надо ещё сто лет, два-три поколения, не меньше.

Часто во многих семейных бедах Леонид обвинял мать, обвинял её за непрактичность, неэкономность, необдуманные поступки. Переполненная горечью, Ольга защищалась:

– Неужели ты не понимаешь, что всё невысказанно дорого. Смотри, мы трое взрослых людей, работаем, и нам не хватает денег. Постоянно считаем их от полочки до полочки... Конечно, ты много пережил, и это безденежье кого угодно выведет из себя, но разве можно так ругать мать?! Жизнь такая тяжёлая, надо беречь друг друга, а мы уничтожаем.

С соседями по квартире жили более-менее дружно, но, когда Ольга объявила, что снова возьмёт дочь из больницы, те сразу насупились.

– Вот ещё! Почему я у всех должна спрашивать разрешения, жить мне с дочерью или не жить?! – негодовала Ольга. – Почему я постоянно должна унижаться?! Соседей упрашивать, чтобы не возражали... таксиста, чтобы довёз больную! Каждый год подтверждать инвалидность дочери! Как будто за год она может поправиться, после стольких лет болезни! Хватит с меня! Я уже поунижалась ради того, чтобы вернуться на родину. И ради прописки и работы поунижалась. Но больше никто не увидит моих унижений! Моё право – жить так, как я хочу, и с кем хочу!

Однажды соседка Кира сказала Ольге:

– В одной строительной конторе требуется секретарь-машинистка, переходите туда. Строителям дают квартиру в первую очередь, а в со-

бесе вам больше ничего не светит. Что вы теряете? Оклад тот же самый.

Ольга долго не раздумывала и перешла на новую работу.

Управление находилось на улице Герцена, и теперь Ольга по утрам доезжала до площади Маяковского, а дальше добиралась пешком. Она любила ходить по улицам – пока шла, мечтала об отдельной квартире и о прекрасной семье, которая могла бы у неё быть, какой она хотела её видеть... С каждым днём она всё больше отрывалась от земли. Её, много выстрадавшую, не досыпавшую ночами, потерявшую многие надежды и ожидания, эти мечты согревали, как светлый радостный сон... В конторе было много работы, и днём Ольге было не до мечтаний, но после работы, по пути к дому, она снова переходила незримый рубеж, только уже не вызывала мечты – они преследовали её сами.

В конторе, как и всюду, Ольгу полюбили и рядовые сотрудники, и главный инженер, который однажды сказал:

– Ольга Фёдоровна – гордость нашей конторы, и это нечестно, что самый усердный, трудолюбивый сотрудник получает шестьдесят четыре рубля. По штату мне положена машинистка, но её работу выполняет Ольга Фёдоровна. Предлагаю к её окладу прибавить хотя бы половину оклада машинистки.

Половину не половину, а десять рублей прибавили.

В строительной конторе получить жильё оказалось так же трудно, как и всюду, – обещали только через семь лет.

– Видимо, от райисполкома получу квартиру быстрее, – сказала Ольга сыновьям. – Я в очереди первая, у меня больная дочь. И работать в конторе за мизерный оклад не имеет смысла. Вот ещё! Устроюсь куда-нибудь зарабатывать побольше.

Она попыталась устроиться стенографисткой в НИИ, но предложили только работу по вызову. В отделе кадров НИИ Ольге подсказали, что в соседней театральной кассе требуются кассиры и что там заработки не меньше ста рублей в месяц.

...В театральных кассах сидели искушённые люди: они продавали ценные билеты «с нагрузкой», заводили знакомых среди культургов

предприятий, и те устраивали коллективные просмотры; заработок кассира зависел от количества проданных билетов. Но Ольга не умела ловчить и в первый месяц работы получила около семидесяти рублей, во второй – ещё меньше.

Ольга металась от одной работы к другой, все хотела устроиться по специальности – стенографисткой, или найти другое интересное дело, или хотя бы иметь побольше оклад. Наконец однажды прочитала объявление: «На завод нестандартного оборудования требуется стенографистка». Предприятие находилось в получасе езды от Светлого проезда, что устраивало Ольгу вдвойне. Она пришла к директору завода и сказала, что стенографирует около ста слов в минуту. Директор продиктовал текст и, когда Ольга записала и расшифровала его, улыбнулся:

– Буду рад, если вы оформитесь к нам на работу.

Теперь Ольга сидела в большой приёмной за столом с телефоном и имела просто «астрономический» оклад – сто двадцать рублей. По совместительству (бесплатно) она стала работать диктором – во время обеденного перерыва перед микрофоном читала новости о делах в отделах и цехах.

– У вас, Ольга Фёдоровна, приятный голос, – ежедневно повторяли работники завода. – Чувствуется, говорит душевный человек.

И снова Ольгу все полюбили, снова она всем стремилась помочь, ходатайствовала перед директором – кому об отпуске, кому о премиальных. Как-то директор сказал:

– Ольга Фёдоровна, вы добрая фея, так спешите всех облагодетельствовать. Я вообще восхищаюсь вами. Знаю о вашей трудной жизни... но как вам удаётся сохранить молодость, оптимизм?

– А мне кажется, у большинства русских это в крови – не вешать нос от неудач, – улыбнулась Ольга. – Ну и ещё дружелюбие помогает. Когда всё плохо, я думаю, какие все неотзывчивые, каждый сам по себе, всем наплевать на мою судьбу. А потом вспоминаю тех добросердечных людей, которых встречала в жизни, и думаю – нет, всё-таки много замечательных людей! Несравненно больше, чем плохих.

– Ну раз вы – добрая фея, выручайте и меня. Для звонков – я поехал в министерство, а на самом деле, извините... на футбольный матч.

Однажды Ольга сказала сыновьям:

– Давайте-ка вот что сделаем – купим лыжи и по воскресеньям будем устраивать на пустыре за домами лыжные прогулки. Лыжи – самое лучшее, что может вытащить человека из душной квартиры на свежий воздух. Вспомните Аметьево! Ведь мы все были отличными лыжниками...

В получку купили три пары лыж и ботинки, Ольга сшила себе спортивный костюм и по воскресеньям, перед тем как идти в больницу к дочери, бегала на лыжах за домом вдоль железной дороги. Вначале сыновья редко надевали лыжи, но в конце концов Ольга всё же заразила их своей одержимостью, и они стали ходить на лыжах не только по воскресеньям, но и в будни, и не за домом, а вокруг озёр и по лесопарку.

Через год Леонид заработал приличную сумму денег и решил купить комиссионный «москвич». Ольга сразу поддержала сына, поехала в магазин на Бакунинскую, записалась в очередь на машины и каждое воскресенье, после больницы, в течение двух месяцев, ездила отмечаться. Машины «на ходу» стоили дорого, и Ольга выкраивала деньги из зарплаты, экономила на питании и к моменту, когда очередь подошла, добавила сыну триста рублей... Чуть позднее она взяла в кредит у сослуживца разборный гараж, привезла его на грузовике, поставила за домом около железной дороги и добилась разрешения на его установку. С тех пор Леонид по воскресеньям подвозил Ольгу к больнице Кашенко на собственной машине.

Толя защитил диплом, и ему дали постановку в театре имени Маяковского. Когда отмечали это событие, Ольга сказала:

– Я горжусь вами, своими сыновьями. Вы пробились, вышли в люди. Жаль, отец не дожил до этих дней... Но не забывайте, что в вашем успехе есть и его, и моя частицы. Это наши гены передались вам. Я ведь тоже могла бы быть и художницей, и актрисой, но жизнь так сложилась, да и война помешала... Но что я хочу вам сказать – вы работаете в театрах, среди культурных людей, а одеваетесь, как бося-

ки. Знаете что? Давайте завтра же купим вам по хорошему костюму в кредит.

Сыновья запротестовали, но Ольга настояла на своём.

В театре у Толи появилась возлюбленная, помощник режиссёра; когда он привел её в дом, Ольга взяла девушку за руки, усадила рядом с собой и полушутя-полусерьёзно сказала:

– А вы знаете, дорогая, что мой сын – ужасный эгоист? Он младший в семье и больше всех получал внимания. Так что крепко подумайте, прежде чем связать свою жизнь с ним... Мои сыновья способные, но характеры у них – хуже нельзя придумать. Это я вам как мать говорю. Им далеко до их отца. Вот был человек!

За чаепитием Толя затеял выяснение отношений с возлюбленной, но Ольга сразу встала на сторону девушки, а сына отчитала:

– Как тебе не стыдно на неё кричать?! Ты же мужчина! Ты должен во всём уступать женщине!

Она любила своих сыновей, но родственные чувства никогда не ослепляли её: в своих суждениях и поступках она руководствовалась высшей справедливостью, некими неписаными правилами, обязательными для всех. Она умела видеть мир глазами других людей, в любой ситуации ставила себя на место другого человека и размышляла, как поступила бы на его месте. Ольга прекрасно понимала состояние девушки, оказавшейся в новой обстановке, и всячески давала ей понять, что здесь она найдёт понимание и поддержку.

Спустя некоторое время Толя с девушкой расписались и сняли комнату недалеко от театра, но часто приезжали к Ольге «на обеды». Молодожёнам постоянно не хватало денег, и Ольга помогала им по мере возможности, а с наступлением холодов отдала невестке свою козью шубу.

– Я же спортсменка, мне и в демисезонном пальто жарко, – сказала.

Вскоре Леонид купил матери швейную машинку, и в свободное время Ольга шила сыновьям рубашки, невестке платья и юбки, но всё чаще она чувствовала усталость; к тому же от постоянного писания и расшифровок у неё появились боли в руках, ухудшилось зрение –

теперь она работала в очках... Она всегда жила на износ, на пределе возможностей, и её организм, от природы невероятно крепкий, не выдержав перегрузок, стал разрушаться.

– Не знаю, как дотянуть до пенсии, – говорила она сыновьям. – Выйду на пенсию – ни дня больше работать не стану. Хватит с меня! Куплю пишущую машинку, буду брать работу на дом... И вы хороши! Подкидываете мне домашнюю работу, думаете, мне скучно, пытаетесь меня чем-то занять. Ошибаетесь, если думаете, что у меня нет других интересов. Но приходится шить на вас, стоять у плиты. Я как прислуга, вы совсем закабалили меня. И главное, этой работы никогда не видно.

Бывало, в полосу неудач на работе и безденежья Леонид вымещал своё раздражение на матери. Несдержанный, вспыльчивый, он обвинял её в легкомыслии и непрактичности, в том, что она половину жизни потратила на жилплощадь – то, чего можно было вполне избежать, если б она не уехала в свое время из Москвы. Ольга видела причину неустроенности и семейных несчастий в войне; поджимая губы, она защищалась твёрдым голосом:

– Посмотрела бы я на тебя на моём месте. Война, у меня трое детей, живу у матери впроголодь, а муж один в Казани. А ведь я его любила. Разве тебе это понять! Может, во мне есть доля легкомыслия, но я делала в жизни смелые шаги, пыталась изменить наше существование и не раскаивалась в своих поступках. Уж такой я родилась, со страстью к переменам, к новой обстановке, новой работе, новым людям. Однообразие угнетает меня, разнообразие доставляет радость. Это мой способ жить... Конечно, я ошибалась, но кто не совершает ошибок? Без ошибок нет опыта. Пока не обожжёшь руку, не разобьёшь носа, всего не поймёшь... И кстати, как бы человек ни ошибся, у него должна быть возможность исправить ошибку. Я свои исправила. Мы живём в Москве, имеем свою жилплощадь... И ты за многое хватался, пока не нашел себя... И не осуждай мать. Этого ещё не хватало! Уж в чём в чём, а в этом ваш отец был намного выше вас – никогда меня ни в чём не обвинял и никогда не повышал на меня голос.

– Отец был слишком мягкий, да и мучился с тобой, взбалмошной. А твой оптимизм – от незнания жизни. Вот ухлопала годы и здоровье

на какие-то прописки, а не знаешь, что есть страны, где люди вообще живут без паспортов, и живут, где хотят. И за работу, которую ты выполняешь, получают в десять раз больше. Ты счастлива оттого, что не знаешь, как несчастна, как человек может и должен жить.

– Неправда! – вскричала Ольга. – Не такая я дура, как ты думаешь! Я умнее вас обоих. А счастье для меня – это когда живёшь для других, другим доставляешь радость. Ты это поймёшь, когда станешь постарше. Думаешь, ты уже всё знаешь. Ошибаешься! И вообще, обвинять легче всего. Пережил бы с моё, у тебя бы волосы встали дыбом!

– Безумная семья, – говорили соседи. – Все чудаковатые.

Весна следующего года началась счастливо, как никогда. Одни из соседей получили квартиру в Тушино, и Ольга сразу заняла их комнату. В райисполкоме не возражали, но с учёта сняли.

– Ну и пусть, – усмехнулась Ольга. – Лучше держать синицу в руках, чем журавля в небе.

В новую комнату переехали Толя с женой, Ольга с Леонидом остались в старой... Сыновья купили в комиссионном магазине мебель, Ольга сшила занавески – в комнатах стало уютней.

– Ну вот, теперь у нас попросторней, – с улыбкой вздохнула Ольга. – Но это ещё не всё, наша конечная цель – занять отдельную квартиру. Я непременно её добьюсь. Я ещё сохранила немного сил, мне их хватит для победы.

Ольге исполнилось пятьдесят пять лет, дирекция завода и сослуживцы уговаривали её не уходить на пенсию, но она миролюбиво всё объяснила:

– Поверьте, мне тоже очень не хотелось бы расставаться с вами, но честное слово, возраст даёт о себе знать. Время ведь летит с ужасающей, беспощадной быстротой. Я сама чувствую, что уже устаю.

Ольге назначили пенсию чуть ниже средней – шестьдесят семь рублей.

– Ты такая счастливая, – сказали родственники.

– В самом деле, счастливая, – согласилась Ольга. – У меня есть всё: комнаты, мебель, пианино, телевизор, швейная машинка, я вполне прилично одета, и мне не так уж много лет.

А дома она задумалась: «Как же несправедливо получается. Я вырастила троих детей, заработала двадцать лет стажа, а у меня не пенсия, а гроши. Работая в собесе, я оформляла женщинам пенсии по сто двадцать рублей, женщинам из всяких райкомов, которые только отдавали распоряжения. И как можно на мою пенсию прожить, если почти половина уходит на квартплату?! Хорошо, у меня сыновья, а если бы их не было?! И неужели то, что говорит сын, правда – есть страны, где люди живут без прописок и получают за свой труд гораздо больше, чем мы? В это трудно поверить... Хотелось бы совершить путешествие за границу, посмотреть, как там люди живут...»

В очередной раз Ольга взяла из больницы дочь, купила ей новое платье, туфли, но Нина и не взглянула на покупки, а потом не захотела идти в кино и ехать в гости к родным; даже от фруктов, которые ей Ольга покупала на рынке, отказывалась. Нина находилась в глубокой депрессии, часами неподвижно сидела, уставившись в одну точку остекленным взглядом, изредка усмехалась своим тайным мыслям. Единственно, что ей доставляло удовольствие, – это прогулки в парке, где они с Ольгой кормили бездомных собак и кошек, но вскоре она сказала, что у них в парке «более славно», и сама попросилась в больницу.

– Соседи виноваты, – сказала Ольга сыновьям, когда Нину снова увезли в больницу. – Нинуся почувствовала их неприязнь и сразу сникла. Я уверена: когда у меня будет отдельная квартира, она оживёт. Я окружу её заботой и вниманием, а хорошее отношение чудеса творит... И не такая уж она больная, как все думают. Вон по улицам ходят в десятки раз более больные, чем она, и ничего, – Ольга закуривала и продолжала сникшим голосом. – Как ужасно, уже столько лет Нинуся в больницах! Лучшие годы. Так и не стала она пианисткой, не искупалась в море, не испытала любви... Так и осталась прекрасной старой девой с нерастраченными, заглохшими чувствами... И главное, я для неё всегда была опорой, она думала, что я всё могу, и вот, оказывается... я бессильна.

– Неужели ты не понимаешь, что Нина стала невменяемой?! – убеждал Леонид мать. – Пойми, есть непоправимые вещи. Она не контро-

лирует свои поступки, не соображает, что делает. Она может натворить что угодно...

– Не убивай мою мечту! – взмолилась Ольга. – Столько лет я не теряю надежды поставить её на ноги... Старший сын, надежда матери называется!.. И учти – после моей смерти к Нинусе будешь ходить ты, так и знай! Это твой долг. У тебя должно быть чувство долга...

На следующий день Ольга надела лучшее платье, сделала новую причёску и объявила сыновьям:

– Когда мне особенно плохо, когда на меня обрушиваются всякие удары, я привожу себя в порядок, бросаю вызов судьбе. «Мы ещё поборемся, – говорю ей. – Ты меня так, а я не сдаюсь, я ещё держусь». Вот увидите, я поставлю Нину на ноги. Только обидно – в вас не вижу поддержки, для вас сестра умерла. Эх, вы! Братья называется!

Леонид купил пишущую машинку, и Ольга стала брать работу на дом, но печатала мало – последние годы болели руки и беспокоили бронхи и ревматизм. Она скрывала недомогания, по утрам делала гимнастику, обливалась холодной водой, но тут же натошак курила папиросу и задыхалась от кашля, а по ночам стонала от болей в сердце.

Со стороны Ольга выглядела беспокойной пожилой женщиной, которая не жаловалась на болезни и не ходила по поликлиникам, не судачила в очередях, не осуждала молодёжь и оскорблялась, когда в транспорте ей уступали место. По утрам она делала «спортивные пробежки» вокруг дома, вызывая недоумение и ухмылки соседей; днём играла на пианино, читала книги, которые брала в районной библиотеке, несколько раз ходила в бассейн.

– Старая чудачка, всё молодится, у неё не все дома, – говорили соседи, но Ольга только пожимала плечами:

– Вот ещё! Мне всё равно, что они болтают. У каждого есть завистники. Просто они не могут жить так, как живу я. Вот и злорадствуют.

И на пенсии Ольга не сидела без дела: перевозимая боль в руках, подшивала одежду сыновей и невестки, убиралась в обеих комнатах и в квартире, когда наступала её очередь, ходила по магазинам и готовила обед, печатала пьесы Толи – он с друзьями написал несколько «разговоров в диалогах». Перепечатывая «диалоги», Ольга изменяла

концовки и что-то добавляла от себя: «...и она прожила долгую счастливую жизнь и об одном только жалела, что у неё было мало детей» – о положительной героине. Или об отрицательном герое: «...но его наказала жизнь. От него все отвернулись, и он так и не был счастливым».

Работой Ольга пыталась заглушить боль о дочери, но у неё это плохо получалось. Временами она себя бичевала: «Может быть, я виновата, что Нинуся такая? Может, я окружала её чрезмерным вниманием, излишней заботой, нежностью?.. Нет, всё-таки нет! Нинуся не парниковый цветок, мы с мужем никому из детей не создавали тепличных условий. Все работали в огороде, пилили дрова, носили воду, ходили в магазины... Нинуся всегда помогала мне... Здесь другое: и болезнь во время войны, и условия жизни в Аметьево. Но я всё делала, чтобы Нина не заболела. Сколько раз, заметив, что она уткнулась в радиоприёмник, прогоняла во двор, на жизненный сквозняк... Пыталась увлечь спортом, играла с ней в волейбол, ходила на каток – делала всё, чтобы она не отрывалась от реальности...»

Теперь у Ольги появилось свободное время, и она уже могла мечтать не урывками, как раньше, а целыми часами. Случалось, по вечерам сыновья задерживались, и распалённое воображение уводило Ольгу так далеко за пределы реальности, что время в её видениях смещалось и перед ней вставали совершенно невозможные, взаимоисключающие картины, где прошлое встречалось с настоящим. Вначале что-то из воспоминаний детства наслаивалось на проезд, где они теперь жили, и она, уже пожилая Ольга, играла с маленькой Ольгой, светловолосой, голубоглазой девчонкой из далёких двадцатых годов. Потом она переносилась в дом на Крымской набережной и заставляла живыми своих родителей и все вещи в квартире на тех же местах, где они когда-то стояли. Ольга выбегала во двор, встречалась со своими погибшими на войне друзьями юности, и эти запоздалые встречи были не чем иным, как продолжением того прекрасного довоенного общения, только каждый испытывал некоторую неловкость за столь долгое отсутствие, за превратности судьбы, которые их разлучили... Здесь время растекалось, и Ольга видела дочь весёлой, красивой девушкой, видела

её жениха – скромного, трудолюбивого парня, чем-то напоминавшего Анатолия; взявшись за руки, молодые люди шли по улице и беззаботно смеялись, раскачиваясь в такт шагам, – совсем как когда-то шли они с Анатолием по бульвару, и так же, как те далёкие влюблённые, эти ничего не видели вокруг, даже не замечали её, Ольгу... Потом являлся Анатолий, и они уже жили вдвоём в отдельной уютной квартире. Ольга представляла их новую, пахучую мебель вишнёвого цвета, кобальтовую посуду, которую они продали в эвакуации во время голода; она с такой любовью обставляла деталями этот маленький огороженный мирок, что несуществующая квартира принимала совершенно зримые очертания, вполне осязаемые вещи. Дом на небе становился конкретной, чем коммунальная квартира на земле. Но главное, внутри тот дом был озарён светом счастья, и Анатолий по-прежнему сильно любил её, Ольгу, несмотря на то что между ними пролегли уже многие годы, несмотря на то, что она уже стала старой, а он, умерший в сорок четыре года, навсегда остался молодым... Ольга представляла себе, как по воскресеньям к ним приезжают сыновья с жёнами, молодыми, приветливыми женщинами, своих внуков...

– Я самая счастливая женщина на свете, – бормотала она, и слёзы бежали по её щекам...

Всего три месяца Ольга пробыла на пенсии, затем устроилась контролёром в сберкассе – она уже привыкла работать, привыкла иметь упорядоченный рабочий день, быть в коллективе. На работе Ольге подсказали, что с учёта на жилплощадь её сняли незаконно (инвалиды первой группы имеют право на отдельное жильё), и она добилась восстановления в списках, но квартиры ждала ещё несколько лет... Только к шестидесяти годам она получила маленькую квартиру около «Речного вокзала».

Дом стоял в низине, после дождя от парадного до дороги приходилось идти по кирпичам, зато прямо в окна лезли ветви рябины. Квартира была на третьем этаже: комната семнадцать метров, крохотная кухня, совмещённый санузел, но квартира своя, без соседей! И главное – горячая вода и даже маленький балкон, а вскоре поставили и телефон, который полагался Нине как инвалиду. Ольга ходила по квартире, гла-

дила обои, переставляла, протирала мебель... Теперь она просыпалась не от грохота поездов, а от гомона птиц и голосов мальчишек, которые трясли рябины. Иногда ей не верилось, что она живёт в отдельной квартире; казалось, она получила её случайно, в результате чьей-то ошибки, что её вот-вот отнимут. Она даже вносила квартплату заранее, все боялась – не будет денег, и её выселят за неуплату... Ольга посадила перед домом сирень и ромашки, сыновья купили ей холодильник... Наконец-то Ольга получила всё и сыновьям оставила по комнате в Светлом проезде.

– Я добилась своего, я победила, – похвасталась она сыновьям. – Правда, заплатила дорогую цену за победу. Конечно, у меня здоровье не то, и сил осталось немного, но лет пять-семь наверняка проживу. Может, и больше. Я ещё поставлю на ноги Нинусю, вот увидите! И напишу книгу для молодёжи, чтобы они, молодые люди, никогда не падали духом, не сдавались, не поднимали руки кверху, а упорно шли к цели... Теперь у вас есть жилплощадь, и у меня есть всё, и этого я добилась сама, без всяких знакомств и связей.

– Стоило ли ради этого жить? – горько вставил Толя.

– А по-твоему, не стоило? Ты хочешь сказать, что я прожила жизнь зря? – с дрожью в голосе спросила Ольга.

– Зря ничего не бывает, – поправил дело Леонид. – Конечно, всё надо получать вовремя, а не так поздно...

– Хм, зря! – усмехнулась Ольга. – Сказанул тоже! Я вырастила вас, сделала всё от меня зависящее, чтобы вы стали настоящими людьми... И пусть я сама никаких высот не добилась, пусть ничего такого не создала, но я всю жизнь делала людям добро и была счастлива от этого... Когда я умру, кое-кому будет грустновато, вот увидите. А вы так просто будете плакать.

Как большинство творческих натур, сыновья Ольги были неуравновешенными молодыми людьми; их настроение часто зависело от успехов или неудач в работе. Толя, когда у него случались неприятности, начинал сильно нервничать, много курить и, к большому огорчению жены и Ольги, выпивать. Приезжая к матери, он жаловался, что в театре всё делается по благу, что его «зажимают».

Ольга, как могла, ободряла сына:

– Не отчаивайся! Всё это не стоит, чтобы так переживать. Ты расклеился, как кисейная барышня. Что за слабохарактерность?! Мне стыдно за тебя. Пройдёт немного времени, и тебе самому будет смешно, что всё так близко принял к сердцу, поверь мне. И потом у тебя было столько прекрасных постановок и ролей. И ещё будут, я уверена...

Леонид в полосу неприятностей становился раздражительным и грубым, но Ольга быстро гасила его настрой:

– Что за невыдержанность?! Возьми себя в руки!.. Не забывай, ты мужчина! На тебя равняется твой брат, какой пример ты ему подаёшь?! В злости, прежде чем сказать что-то, сосчитай про себя до десяти и тогда, может, и не захочешь говорить грубость. И потом не будешь терзаться, что наговорил всякого, не подумав, в пылу. Я всегда так поступаю... А неприятности... Они у всех есть. У кого это дорога усыпана розами? Только у каких-нибудь сынков членов правительства да знаменитостей. Но из них, как правило, и получается неизвестно кто... Не настоящие люди, не мужественные герои Джека Лондона... Сам знаешь, неприятности приходят и уходят, и их надо встречать достойно... Не забывай, у тебя ещё всё впереди, тебе всего-то каких-то сорок лет. Ты только жить начинаешь, ты ещё можешь горы свернуть!..

Ольгиными соседями по дому были в основном иногородние, обосновавшиеся в Москве по лимиту. Они забивали квартиры коврами и хрусталём, говорили о сбережениях и парниках на дачах, насмехались над молодёжью за современные одежды и «так называемую музыку», вызывали собаколовов, чтобы те отлавливали бездомных собак... Новая жиличка сразу вызвала у них неприязнь. Услышав стук машинки и звуки фортепьяно, они свербели:

– В квартире ничего нет, не мебель, а срам один, а она веселится, на инструменте играет, книжки почитывает...

Ольга, казалось, не замечала косых взглядов, со всеми приветливо здоровалась, но дружбу заводить ни с кем не собиралась – по опыту знала, как встретят её больную дочь. «Низкие, желчные людишки, – думала Ольга о соседях. – И лица у них тупые... В наше время вообще редкость встретить одухотворённое лицо, интеллигентного человека.

И дело не в образовании. Можно иметь высшее образование и быть неинтеллигентным. Интеллигентность – это внутренняя культура... Это не только духовные интересы, но и гуманное отношение к другим, сочувственность... и умение выслушивать чужое мнение и понять других, и умение не доставлять другим неудобств, и не быть завистниками, не травить тех, кто выше тебя... И уж конечно, не измываться над животными, над теми, чей разум слабее нашего...»

Как только установилась тёплая погода, Ольга взяла дочь из больницы с твёрдой решимостью больше её туда не возвращать.

Нина выглядела плохо: стала тучной и рыхлой, её глаза помутнели, она на всё смотрела отстранённо, как на что-то далёкое и нереальное; обойдя вдоль стен комнату, она заглянула в ванную, потрогала полотенце, вышла на балкон, безразлично осмотрела деревья и кусты, вернулась в комнату и замерла, уставившись на обои. Обедала она нехотя, всё время вздыхала и разговаривала с какими-то невидимыми собеседниками.

Первое время, как обычно, Ольга с Ниной ходили в магазин, готовили еду, гуляли. Иногда Нина садилась за пианино, пыталась вспомнить пьесы, которые когда-то разучивала с Чигариной, или рисовала принцесс и клеила бумажные замки...

Леонид и Толя звонили каждый день. Случалось, к телефону подходила Нина, и тогда в трубке слышалось невнятное бормотание и вздохи, потом раздавался голос Ольги:

– У нас всё хорошо. Нинуся немного нервничает, но это у неё пройдет, я в этом абсолютно уверена. Просто она ещё не освоилась в новой обстановке. Ещё бы! Столько времени прожить вне дома. Всё будет хорошо.

Но однажды поздно вечером Ольга позвонила Леониду сама:

– Приезжай! Нинуся хочет убежать.

Машина Леонида была не на ходу, но он поймал такси. Когда подъезжал к дому, Нина босиком, в ночной рубашке перебежала Ленинградское шоссе. Машины резко тормозили, шарахались в стороны. За Ниной семенила Ольга, стонала и кричала:

– Нинуся, вернись!

Перебежав шоссе, Нина повернула к водохранилищу. Леонид догнал её у самой воды. Она была невменяемой – глаза вытаращены, рот открыт, дышит тяжело, хриловато. Он схватил её за руки, она начала вырываться, вцепилась зубами в его локоть. Леонид знал, что в такие минуты такие больные становятся очень сильными, и, схватив сестру за плечи, тряхнул её, но это не помогло, она продолжала кусать его руку. И тогда он ударил её по щеке. Нина сморщилась от боли и сразу обмякла.

– Поедем в больницу! – громко сказал Леонид. – Слышишь, что я говорю?! Поедем в больницу!

– Поедем... в больницу, – сдалась Нина, в уголке её рта показалась тонкая струйка крови.

Запыхавшись, подбежала Ольга, стала ловить такси. Двое таксистов наотрез отказались везти «сумасшедшую». Третий за двойную плату согласился.

В машине, успокоившись, Нина стиснула руку Ольги и зашептала:

– Ты знаешь, в моём созвездии упала звезда... Наверное, я скоро умру.

– Что ты говоришь?! – Ольга обняла дочь. – Что ты говоришь, Нинуся?! Что за чепуха!.. Нельзя быть такой безвольной. Надо перебороть своё состояние... Ведь если человек сам не хочет поправиться, ему никто не поможет.

...Около года Ольга не брала дочь; чтобы отвлечься, постоянно не думать о ней, некоторое время работала на почте в Речном порту, а на лето устроилась киоскёром – продавала газеты, журналы. Ей было тяжело работать, она уставала, и зрение ухудшалось с каждым месяцем, и с переменой погоды ломило суставы и мучил радикулит; с одной работы она уходила на другую, всё хотела найти что-нибудь полегче.

Теперь, когда к ней приезжали сыновья, она спешила выговориться, пыталась поделиться своей тревогой за здоровье Нины, а если сыновья слушали невнимательно, обидчиво поджимала губы:

– Конечно, вы мать не слушаете. Вы умней, всё знаете лучше. Только скажите, в кого же вы такие умники, как не в отца и мать?! К тому

же на моей стороне опыт, я знаю жизнь... Мы, старики, обидчивые. Конечно, есть что-то жалкое в старости, но что бы вы делали без нас? Вот до сих пор приезжаете, то подшить вам нужно, то перепечатать, до сих пор нуждаетесь в моей помощи...

У Ольги всё сильнее болело сердце, дыхание стало прерывистым, сбивчивым; потом началась бессонница: просыпаясь среди ночи, Ольга закуривала, яростно, раздирающе кашляла, собирала в пучок седые волосы, подходила к окну и смотрела в ночную темноту. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, раскручивала назад прожитые годы, делила их на отдельные вехи.

– Как же так получилось? – вслух размышляла она. – Ведь я всю жизнь делала людям добро... Я способная, не какая-нибудь безголовая чурка, и в моей порядочности никто не сомневался, но почему же столько бед на меня свалилось? Почему жизнь ко мне так немилосердна? Что за ужасная участь?.. Похоже, нашу семью всё время преследовал какой-то рок, какое-то ненасытное пламя, в котором сгорали все наши стремления. Похоже, кто-то сурово и безжалостно мстил нам... Какой-то жестокий, незримый враг, но за что?

Раньше она об этом не задумывалась, все её мысли были направлены на то, как бы устроить быт, наладить достаток в семье. А теперь ей некуда было спешить, и наконец она могла посмотреть на свою жизнь со стороны. Перед ней проходили все люди, с которыми свела жизнь. Одни из них, проходя мимо, приветливо махали рукой, другие только смутно улыбались. Но были в этом молчаливом шествии и те, кто смотрел на неё завистливо и злобно. «И как я раньше их не замечала?» – с горечью думала Ольга и с расстояния многих лет, через огромное временное пространство, видела всю трагичность своей судьбы. Она вспоминала, что многие, очень многие ей всю жизнь завидовали. В юности – за красоту и лёгкий характер, в довоенное время – за счастливую семью, в войну – за то, что не ныла, не опускала руки, позднее – за то, что вернулась на родину и добилась комнаты, под старость – за то, что занималась спортом, играла на фортепьяно, ходила в библиотеку...

– И сейчас соседи меня ненавидят, – бормотала Ольга. – Слепо ненавидят за то, что у меня другие интересы. У них какая-то врождённая

ненависть к интеллигенции. Их злость от неполноценности, ущербности. Они несчастные люди – у них нет доброты, а доброта – особый дар. Ведь чтобы самому быть счастливым, надо любить других. А они не могут, потому и мучаются, злопыхают. Если бы к другим относились лучше, им и самим жилось бы легче.

Это было прозрение. Перед Ольгой отчётливо вырисовывалось всё то, что раньше выглядело расплывчатым. Раньше она точно блуждала на ощупь в потёмках, только чувствовала – вокруг что-то не то, а теперь поняла, что именно. Получалось, что опыт – это не только шрамы в душе, но и умение проникать в суть происходящего или вот такое внезапное прозрение. На лице Ольги появлялась гримаса душевного страдания, из груди вырывался отчаянный стон. Тяжёлая, гнетущая тоска, словно река, разлившаяся в половодье, заполняла всё её существо. Ольга вытирала слезящиеся глаза и некоторое время сидела в глубокой задумчивости, но даже тогда её лицо, со следами страданий, выражало несгибаемость и выдержку, силу духа, стойкость особого рода. И бывшее величие. Это было лицо человека с внутренней свободой и чувством собственного достоинства, который всё выдержал, всё преодолел и сохранил свою совесть чистой.

– Они думают, я белоручка, – снова вслух рассуждала Ольга. – Ещё чего! Я труженица. Всю жизнь работала не покладая рук, потому и добилась многого... Они же ждали, когда всё свалится с неба. Посредственные люди всегда ленивы. И у нас много этих самых посредственностей. Потому и позорно быть интеллигенткой. У нас интеллигенты – белые вороны...

Внезапно лицо Ольги озарялось тёплым светом; казалось, в тягучей стоячей воде появились донные живительные ключи, и разлившаяся река вновь вошла в своё русло, обнажив светлую равнину.

– Но я всё равно не сдамся... Ещё поборюсь, – неумолимо взбодрировала себя Ольга. – Мне ещё рано умирать... Мне ещё нужно кое-что сделать и прежде всего поставить дочь на ноги, мою Нинусю... В прошлый раз я слишком быстро сдалась, проявила минутную слабость. Но ничего... ещё немного поработаю, подкоплю денег, дождусь тёплых весенних дней и возьму её. И больше никогда не верну её в боль-

ницу, как бы она себя ни чувствовала. Теперь-то она будет со мной всегда.

...Ей не удалось осуществить свою мечту. Весной Нина прожила у неё всего два дня, а на третий решила взлететь, а может быть, потянулась за цветами с балкона... Она разбилась насмерть. После этого у Ольги случился инсульт, она потеряла зрение и чувствительность левой стороны тела... Временами ей казалось, что жизнь потеряла всякий смысл, что теперь она на земле не имеет опоры, и вот-вот шагнёт за край пропасти, и с неимоверной высоты сорвётся в бездонную тьму, но она тут же отгоняла мрачные мысли, через силу заставляла себя подняться, пыталась что-то делать по дому – в ней, беспомощной, но несломленной, проявлялась всегдашняя жажда деятельности, и, когда что-либо не получалось, она злилась на себя:

– Чёрт возьми! Надо же, в кого я превратилась!.. Но я поборюсь... ещё сделаю что-то полезное.

Леонид переехал к матери, Толя приезжал по несколько раз в неделю. Как и прежде, Ольга встречала их с улыбкой, уже угасающей улыбкой, и, обращаясь к сыновьям, говорила слабеющим голосом:

– Вы уж извините, что вам приходится возиться со мной... что доставляю вам столько хлопот... Но я ещё поправлюсь... выкарабкаюсь из своего состояния, вот увидите... Я уверена в этом... Уверена...

Слепая, парализованная, скрученная болезнью Ольга не сдавалась и перед лицом смерти особенно горячо ощущала жизнь, особенно сильно радовалась жизни:

– Я слышу, как замечательно поют птицы... Сегодня чудесный день... Я чувствую тепло солнца на лице... Какая досада, что не могу встать и выйти на улицу... Вот старое чучело!.. Это надо ж стать такой развалиной!.. Но, может быть, я ещё поправлюсь... Я почти уверена в этом.

Иногда Ольга заговаривалась:

– Я слышу голос Анны... Ходит около дома и не зайдёт... Неужели так трудно навестить сестру?.. Неблагодарная!..

В такие минуты Леонид не выдерживал, кричал на мать, грубил ей. Эти окрики возвращали Ольгу в реальность, и она оправдывалась:

– Прости меня... Я ведь не всегда была такой... И много хорошего сделала в жизни... Ради этого не злись на меня... Не дай бог, но вдруг и ты будешь таким... и тебе будут говорить такое же...

И Леониду сразу становилось не по себе. Он вспоминал, как всего два-три года назад мать была жизнедеятельной, с живым, острым умом. Чтобы загладить свою грубость, он покупал матери цветы, апельсиновый сок, пирожные. И Ольга искренне радовалась этим проявлениям внимания:

– Какие мягкие, пахучие цветы! Это ромашки, да? И сок прелесть! И где ты такой купил? Никогда такого не пила! Какой ты хороший, сын мой!

...Она не осуществила своей основной мечты, и многое другое не осуществила: не дождалась внуков, не попутешествовала, не написала книгу для молодёжи... Но её жизненная энергия и после неё продолжала жить в её сыновьях и тех людях, которые общались с ней. Как святое наследство она передала им свой язык – свойственные только ей выражения, свои песни, свой щедрый, открытый характер. Они учились у неё стойкости и самообладанию, ведь она доказала, что даже среди невзгод и лишений бесценен сам дар жизни.

Она стоит особняком ото всех, в силу особой симпатии к ней, в силу её человеческих достоинств – таланта доброты, благородства и жертвенности. И её дерзкой мятежности – борьбы за справедливость. Она никогда не отрекалась от своих убеждений и даже во времена всеобщего страха поднимала голос за правду.

Она ушла из жизни тихо, незаметно, без цветов и прощальных речей, но тем, кто её любил, стало не просто грустно, для них потускнел окружающий мир...

*1986 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Оглянись.....	3
Вперёд, безумцы! .....	87
Самая счастливая, или Дом на небе .....	185

СЕРГЕЕВ

Леонид Анатольевич

**САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ,  
или  
ДОМ НА НЕБЕ  
повести**

Редактор В. Яр

Компьютерный набор автора

Компьютерная вёрстка С. Шацкая

Корректор С. Машевич

ISBN 978-5-91366-294-1



Подписано в печать 18.05.2011 г. Формат 60x84<sup>1/16</sup>. Гарнитура «Calibri».  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22. Тираж 200 экз.

ИПО «У Никитских ворот». 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5,  
тел.: 690-67-19, [www.uniki.ru](http://www.uniki.ru)